

A close-up, black and white photograph of a man and a woman. The man is on the left, with a mustache and a serious expression, wearing a light-colored collared shirt. The woman is on the right, with dark, wavy hair and a serious expression, wearing a dark, high-collared jacket. The background is a plain, light color.

ЛУЧШИЙ
ПОСТСОВЕТСКИЙ
ДЕТЕКТИВ

Премия «Инспектор НОС»

МАРГАРИТА ХЕМЛИН

ДОЗНА ВАТЕЛЪ

МАРГАРИТА ХЕМЛИН

ДОЗНАВАТЕЛЬ

Роман

ЕШ
РЕДАКЦИЯ
ЕЛЕНА
ШУВИНОЙ

Москва
АСТ

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос = Рус)6
Х37

Художник *Ирина Сальникова*

Издательство благодарит за содействие в издании книги
Всероссийскую государственную библиотеку иностранной
литературы им. М.И. Рудомино

Хемлин, Маргарита Михайловна

Х37 Дознаватель : роман / Маргарита Хемлин. –
Москва : АСТ, Редакция Елены Шубиной, 2014. –
413, [3] с.

ISBN 978-5-17-086986-2

Маргарита Хемлин – автор романов «Клоцвог», «Крайний», сборника рассказов и повестей «Живая очередь», финалист премии «Большая книга», «Русский Букер».

В романе «Дознаватель», как и во всех ее книгах, за авантюрным сюжетом скрывается жесткая картина советского быта тридцатых – пятидесятых годов XX века. В провинциальном украинском городе убита молодая женщина. Что это – уголовное преступление или часть политического заговора? Подозреваются все. И во всем.

«Дознаватель» – это неповторимый язык эпохи и места, особая манера мышления, это судьбы, рожденные фантазмагорическими обстоятельствами реальной жизни, и характеры, никем в литературе не описанные.

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос = Рус)6

Подписано в печать 14.07.14. Формат 84х108/32.

Усл. печ. л. 21,84. Доп. тираж 2000 экз. Заказ № 1207.

Общероссийский классификатор продукции ОК-005-93, том 2;
953000 – книги, брошюры

ISBN 978-5-17-086986-2

© Хемлин М.М.
© ООО «Издательство АСТ»

Будем откровенны. Жизнь людей, с которыми я имел дело в своей профессии, сложилась таким образом, что она не сложилась. Судьба строится на основе отсебятины. А отсебятина — тяжелая вещь. И не каждому под силу соотнести.

Расскажу один случай из широкой практики времени. События относятся к началу пятидесятих годов, как теперь принято выражаться, XX века.

Речь о деле некоей Воробейчик Лилии.

Тогда я работал в органах милиции в городе Чернигове Украинской ССР. В чудесном краю, где всякий человек мог слушать соловьев и шум тополей на старинных улицах. Любоваться календарем из цветов на центральной площади. Гулять по достопримечательностям седых столетий.

На таком фоне дело Воробейчик казалось необычным. О чем я и подумал, когда мне его поручили.

Надо отметить, что после войны многие резко получали новую специальность мирной жизни.

В армии я служил в разведке. Неоднократно ходил за языками и приводил или притаскивал их для дальнейшего использования. У меня боевые награды, в том числе боевого Красного Знамени и Красной Звезды. Я своей кровью впитал уважение к общему делу.

Как демобилизованный офицер-разведчик, я пошел в милицию. Закончил курсы и в качестве дознавателя трудился на своем посту. Если происходили убийства или другие тяжкие преступления, тут же подключался следователь из нашего следственного отдела или из прокуратуры. Но в тот конкретный раз получилось по-другому.

Мне наш начальник Свириденко Максим Прокопович сделал уступку и трохи нарушил. Таким образом именно мне, дознавателю, выпало на долю разбираться в убийстве как оно есть.

Женщину Воробейчик убили ножом. Снизу, ударом в сердце, под лопатку. Поэтому крови почти не было.

В силу того, что я имел небольшой возраст, я хотел подойти к делу с огромной тщательностью, чтоб стало видно по всему: поручение будет выполнено с честью.

Я не вел подробнейшие записи, и потому теперь мне спокойно. Не надо рыться в бумажках

Дознаватель

и сверяться. По опыту жизни уверен: сверка материалов ни к чему хорошему не приведет.

Воробейчик лежала посреди своего двора на ул. Клары Цеткин, дом 23, где проживала в одиночку, 18 мая 1952 года. Потому лежала в легком платье в горошек по моде. Женщина-медик определила, что сшито оно хорошей портнихой. Это навело меня на мысль, что надо б узнать пошивальщицу.

Соседка потерпевшей мне указала на некую Лаевскую Полину Львовну как на портниху и подругу. Средних лет, внешности неприятной — глаза навывкате и губы намазаны острым сердечком. Известную своим мастерством. Кроме мастерства у нее имелась способность к мышлению.

Женщина непростая. Одинокая после всех бед, которые никого не миновали, но ее, по ее расчетам, больше других. И за это ей все должны внимание и уважение. Но это как примечание.

Через знание Лаевской я вышел на некоего Моисеенко Романа Николаевича, состоявшего в любовных отношениях с убитой жертвой.

В связи со спецификой того года еврейская фамилия пострадавшей сразу внушила мне опасение — не приплетается ли тут политика страны. Хоть все равно все нации у нас равны. Особенно в результате Великой Отечественной войны.

В быту евреев убивали редко — нация тихая, непьющая в абсолютном большинстве. А так как ничто на грабеж не указывало, дело обещало

быть мирным. То есть из-за любви и ревности, например.

На Моисеенко падало главное подозрение. Это вообще принято. Первый — любовник. Если нет мужа, конечно. К тому же он работал в драмтеатре артистом и, по отзывам, крепко употреблял алкоголь. Но в тот период употребляли практически все. Предстояло выяснить личную характеристику подозреваемого под этим углом.

В день первой встречи с Моисеенко Романом Николаевичем получился мой трудовой успех.

Я застал его в растерянном виде во время репетиции народной оперы Гулака-Артемовского «Запорожец за Дунаем», где Моисеенко не участвовал, но сидел в первом ряду и говорил за отсутствовавшую по болезни артистку. Я определил, что он сидит в зале, а не находится на сцене, так как сильно шатается телом и может свалиться в почему-то открытый технический люк для рабочих сцены или в оркестровую яму.

По моей вежливой просьбе Моисеенко проследовал за мной в одну из гримуборных для беседы. Причем мне пришлось держать его под руку, а он громко указывал направление.

Я прямо спросил, знает ли он про убийство Воробейчик Лилии и что по этому поводу думает. Тем более что женщина еще не похоронена и ее труп ждет возмездия.

Я не сторонник протоколов, хоть эта суровая необходимость всегда остается. Сначала я предло-

Дознаватель

читаю встречаться по месту жительства или работы интересующего меня человека. В милиции сама обстановка располагает, чтоб мобилизоваться. Я же считал и считаю, что мобилизация организма вредит следствию. Нужна свобода и впечатление, что вот этот дядька сейчас уйдет, и все вернется в свой круг. Через несколько дней я вызываю гражданина повесткой, и тогда никакая мобилизация не действует. Мобилизация не терпит предварительного расслабления. А я это расслабление как раз и даю, соблюдая свою заднюю мысль.

Тогда я больше предпочитал действовать смелкой, чем образованием. Пришел в милицию после демобилизации из армии по партийному набору кадров. И видел в себе прежде всего человека, а не соблюдателя законов. Мне было на тот момент тридцать два года.

Моисеенко Роман являлся красивым человеком, значительно моложе Воробейчик Лилии. Ей на момент внезапной гибели исполнилось тридцать восемь, ему — двадцать семь лет.

Казалось, самой природой Моисеенко был предназначен для работы на сцене. Чернобрый, кареглазый, темные волосы волной, фигура, рост и так далее. С Воробейчик он представлял полную противоположность. Она до своей гибели была с яркой рыжиной, и глаза у нее голубые. Что касается роста, так она была высокая с чуточкой излишнего веса.

Некоторые любят показывать фотографии с места происшествия, потому что рассчитывают

поразить подозреваемого. Я не рассчитывал. После войны видом смерти никого не приведешь в чувство. К тому же человек в голове всегда представит страшнее, чем на самом деле. Знаю по себе.

Моисеенко смотрел на меня спокойно и прямо. Запах от него шел нехороший. За несколько дней пьяного перегара.

Он сказал:

— А что тут разговаривать. Я убил Лильку.

Такое быстрое признание меня не обрадовало. Тем более учитывая личность Моисеенко.

Я со всей строгостью сказал:

— Вы обманываете следствие.

Он опустил взгляд и еще раз настоял на своем.

Против факта добровольного признания не попрешь. Тут надо начинать протокол и так далее.

Главное, орудие преступления обнаружено не было. В доме потерпевшей нашлось два ножа подходящих обмеров. Причем одинаковые, точеные и почти новые. Ножи других фасонов тоже были: но сильно маленькие и с заметной тупизной. Все ножи чистые, насколько могут быть чистые ножи, которыми пользуются каждый день.

Ближайшая соседка показала, что был еще и третий нож. По виду вроде такой же, но лезвие, как утверждала покойная Лилия при жизни, изготовлено из особой стали. Чем она и хвасталась,

когда демонстрировала его остроту на собственном ноге. Это позволяло предположить, что орудие убийства послужил именно тот, пропавший в неизвестном направлении, нож.

Искали хорошо. Но без должного результата. Между прочим, сокрытие орудия убийства свидетельствовало о трезвости мысли преступника. В состоянии сильного душевного волнения злоумышленник чаще всего в панике бросает оружие на месте своего преступления, не всегда по раскаянию, а вроде потому что удивляется содеянному собственными руками.

Против Моисеенко говорило то, что соседи видели его на дворе незадолго до обнаружения мертвой Воробейчик.

На словах Моисеенко хорошо описал, куда именно ударил ножом. Но это ничего не значило, так как слухи про убийство распространились быстро. До приезда сотрудников органов на двор на крик соседки, которая заскочила к Воробейчик за чем-то, сбежались окрестные бабы и моментально разнесли дальше описание трупа и так далее.

В морге Моисеенко вел себя достойно и смотрел на Воробейчик честно открытыми глазами.

Начальство меня сильно похвалило за быстрые действия. Но за день до судебного рассмотрения Моисеенко Роман Николаевич покончил с собой путем самоповешения. Записки не оставил, потому что ручки или карандаша у него при себе не было, а так как он изначально не писатель и не

революционер в царских застенках, ничего пишущего он заранее не попросил.

Факт его личного признания перевешивал все доводы к продолжению следствия. Другой работы хватало. Время стояло горячее.

Дела оттеснили произошедшее на отдаленный план.

Одним июльским вечером я проходил в сумерках по улице Клары Цеткин. Гулял перед сном. Почему-то выбрал новый маршрут: от своего жилья — к реке Стрижню. Возможно, потянуло посмотреть на военный госпиталь, в котором долгое время лежал, залечивая ранения фронта после победы, и где судьба счастливо свела меня с моей женой Любочкой. Она работала там санитаркой в хирургическом отделении.

И вдруг у калитки дома двадцать три мелькнула ясно видная тень. Тень напомнила мне гражданку Воробейчик. Я ни на минуту не засомневался, что это именно она закрыла калитку, именно она оглянулась и посмотрела на меня взглядом.

Калитка захлопнулась, изнутри грянула щелчка.

Я двинулся дальше своим путем. И, конечно, понял, когда преодолел неожиданность, что передо мной предстала какая-то родственница, приехавшая на место по наследству. Событие, как говорится, не стоило и выеденного яйца.

Но сходство так меня поразило, что интерес во мне поднялся значительный.

Дознаватель

Следующим утром я пришел к дому на улице Клары Цеткин. Калитка была приоткрыта, так что на двор я проник законно.

Постучал в дверь. Открыла старуха еврейского вида. Настолько еврейского, что даже платок был у нее заправлен по-еврейски за уши и уже потом завязан, как у людей, под подбородком.

В доме стоял хороший дух — наподобие хлеба или печива. Так как кухня находилась прямо у входа, на столе я сразу отметил большие круглые тонюсенькие коржи, вроде прошитые насквозь дырочками. Колесико на деревянной ручке для такого равномерного прокалывания находилось там же. Старухин передник весь в муке, мука на полу.

Я не мальчик и знал, что это называется «маца». Специальная пища для ихней Пасхи. По жизненному опыту, а также по роду своей деятельности я знал, что подобная Пасха прошла. К тому же изготовление мацы не то что не приветствовалось советскими органами правопорядка, а осуждалось на примерах, дорого стоивших нарушителям. Вплоть до тюремного заключения на длительные сроки.

Еврейский национализм есть еврейский национализм. Ничего не поделаешь.

Показал удостоверение, назвался.

Старуха что-то буркнула и позвала внутрь дома:

— Евка, иди! До тебя пришли!

Из-за занавески-ришелье на меня стала надвигаться вроде мертвая гражданка Воробейчик Ли-

лия. Но ясно ж: та самая женщина, которую я вчера разглядел в темноте, между прочим, живая. Она была в комбинации, я таких много наблюдал в Германии в сорок пятом году.

Она подошла ко мне без стеснения, хоть находилась совершенно непричесанной и босой.

Спросила:

— Что надо?

Я повторил свое имя и должность, предъявил удостоверение.

Она внимательно прочитала, тогда еще разрешилось давать документ в чужие руки:

— Цупкой Михаил Иванович. Капитан милиции, — читала вслух, нарочно каждую букву отдельно.

Женщина обсмотрела меня взглядом с головы до ног и что-то хотела добавить ~~от~~ себя к тому, что увидела в документе.

Но я не позволил. Попросил ее паспорт.

Она принесла. И опять не оделась и не пригласила рыжие волосы.

Когда она протягивала паспорт, я отметил, что и под мышками у нее волосы тоже светлые. Да. Густые и светлые. Мне стало за нее стыдно. Что она так.

Установочные данные: Воробейчик Ева Соломоновна. Прописана в городе Остре, Козелецкого района Черниговской области.

Я спросил, что она делает в доме покойной Воробейчик Лилии и кем ей приходится по степени родства.

Она ответила:

— Мы сестры. Близняшки. Я тут буду ждать срока получения наследства. Когда вступлю в законные права, намерена тут и остаться. А может, продам дом. Пока не решила.

Возразить было нечего. Но имелась еще маца.

Я сказал:

— Гражданка Воробейчик, вы зачем делаете мацу, тем более без Пасхи? Это вообще нехорошо. Я вас серьезно предупреждаю. К тому же с привлечением наемного труда.

Ева обратилась с громкими словами к старухе:

— Он хочет, чтоб ты показала ему свой паспорт. Покажи. И скажи, что ты не наемная, а тетка мне и Лильке.

Старуха принесла из комнаты паспорт — затрепанный и тоже в муке, раскрыла, протянула на ладони.

Фамилия у нее была другая — Цвинтар, имя чисто еврейское, старое, как и положено по возрасту, — Малка.

Я спросил, с какой стороны она тетка.

Пока старуха осознавала вопрос, Ева выдохнула:

— С еврейской, с еврейской. — И при таких нелицеприятных словах даже голоса не снизила, как обычно люди делают. Бесстыжая, гадость. — А мацу мы сейчас быстренько раскрошим курям. Куры покушают от души. У нас куры, там, за хатой, мы им отдадим. Мы так. Чтоб чем-то заняться. От скуки и печали. Лилечки нету. А она любила с тестом повозиться. Маца — это ж самое про-

стое. Вода и мука. И больше ничего. Вода и мука. Что тут плохого? Ни дрожжей, ни маслица, ничего, ничего, ничего...

Она наступала на меня со словами «ничего», и под комбинацией противного розового цвета у нее все колыхалось прямо мне в лицо. Хоть по росту она находилась ниже.

Я вышел.

Вдруг подумал, что у Лилии Воробейчик курей не водилось. За хатой располагался подсобный сарайчик с барахлом. К тому же я проявил небрежность в изучении документов. Не посмотрел — или замужем Ева, в то время многие после замужества оставляли девичью фамилию. Непонятно, чем занимается, на какие средства живет.

Уточнение наметил на послезавтра. Чтоб дать Еве Воробейчик и ее так называемой тетке расслабиться.

Явился в форме.

Калитка оказалась запертая. На громкий стук открыли скоро.

Портниха Полина Львовна Лаевская, бывшая в настоящую минуту в доме, меня узнала в лицо и обрадованно сказала:

— Все-таки советская власть людей в обиду не отдаст! Ни за что не отдаст! Я сейчас так Еве и объясняла. Нет на всей земле такого, что б советские органы не обнаружили. Правда, товарищ капитан? Вы про Лилю явились рассказать? Если что тяжелое, так вы сначала мне расскажите,

а я мягенько потом Евочке донесу. Прямо на подносе донесу. Осторожненько. Я умею. Вы меня знаете.

Она говорила лишние слова и не торопилась вести меня в хату. Я сделал замечание, что нахожусь при исполнении и ненужного слушать не желаю.

Пошел впереди и сам толкнул дверь.

На кухне царил порядок и блеск.

Лаевская протиснулась через меня в дверь. Причем нарочно задела объемной ногой.

— Извиняюсь, товарищ капитан. Я вас смутила. Вот вы при исполнении, а покраснели. Это с моей стороны нехорошо. Евочка выбежала в магазин. А Малка спит. Там, за занавесочкой и спит. Как младенец. Правильно говорят: что старый, что малый.

На столе — небольшом и круглом, с вязаной белой скатеркой, стояли две рюмочки-наперсточки, графинчик с вишневой наливкой. Наливка, сразу видно, прошлогодняя, потому что, во-первых, нового урожая еще надо дождаться, а во-вторых, сильно загустевшая. Аж на стекле внутри прилип темно-бордовый слой. Вроде кровь.

Лаевская распоряжалась как у себя, достала еще одну рюмку.

Покрутила ее перед своими глазами и вопросительно протянула мне:

— Вы, конечно, выпивать наливочку не будете, а я для порядка на стол поставлю. Чтоб по-человечески.

Я не хотел создавать конфликт на пустом месте и утвердительно кивнул.

Лаевская села.

Сел и я.

Она не выдержала тишины первая:

— Ну, что про Лилечку расскажете?

— Я по другому поводу. И вам бы сейчас лучше уйти, Полина Львовна. Хоть я вас целиком уважаю.

— Ой, конечно, я уйду. Раз так надо для пользы. Вы мне только одно словечко скажите — что случилось, что вы сюда по другому делу?

Я повел себя правильно и сразу отдал себе должное без бахвальства и самолюбования. Я заинтересовал Лаевскую и теперь через некоторое время смогу из нее вытянуть много полезной, важной информации. Она в расчете на получение взамен информации с моей стороны выложит все, что знает. Не придумала б лишнего, вот в чем вопрос.

Со значением произнес:

— Это служебное дело. Прошу удалиться.

Она посмотрела за занавеску и прошептала, моргая глазами в ту сторону:

— Если у вас секретно, так вы при Малке не говорите, хоть она спит или как. Она делает из себя сильно глухую, но ей палец в рот не ложи.

И громко, в сторону той же занавески, сказала:

— Как вы советуете, так я делаю. Ухожу. А вы ждите Евочку, ждите. Она вот-вот придет. Пока

Дознаватель

наливочки выпейте Лилечкиной, никто ж не увидит, так ничего страшенького. Сладкая наливочка. Лилечка сладкое любила.

Когда я зашел в дом на улице Клары Цеткин, часы показывали ровно два часа дня. Ушел в половину четвертого. Читал газеты с этажерки, слушал тихонько радиотарелку.

Малка из-за занавески носа не высунула. При этом я отметил, что она отправляла малые естественные надобности в горшок или что-то подобное.

Ева не появилась.

Рюмку выпил. Назло себе. Такую слабость я проявил впервые. Устав есть устав. А я проявил. Перед самым своим уходом. И не напрасно. Наливка прогоркла, и я сделал вывод, что женщины ее пить не пили. Только делали вид, на случай, если кто заглянет.

Потом обошел хату со всех сторон. На заднем дворе действительно находились куры. Сарай очистили от барахла и переоборудовали в курятник. На земле обнаружил крошки светлого цвета и обломки коржей. Крупно наломано, вроде с целью показать, что именно маца.

Участок огорожен не слишком высоким, но плотным забором. Через тонкие просветы между досками взрослый не пролезет. Значит, вход в дом один — через пресловутую калитку. Я опять проверил — хоть еще при деле Лилии Воробейчик удостоверился. Я тогда и дом выучил на пять.

И задний двор, и передний. А вот многое за два месяца переменялось. Хоть бы взять курей.

Следил за калиткой с разных точек наблюдения. В дом никто не заходил и не выходил тоже.

В семнадцать часов я бросил и плюнул.

Меня ждала настоящая работа. И я не вправе был отвлекаться на личное. А что личное, уже тогда подсказала моя совесть.

Ночью приснился маленький круглый стол из дома Воробейчик.

На стол хотели водрузить в гробу тело убитой женщины, чтоб начать прощание. Гроб не помещался. Терялось равновесие, и он хотел упасть.

Гроб сняли.

На стол улеглась другая женщина, такая же, как в гробу, только голая, со словами при этом:

— Надо не так, а вот так.

Она свернулась калачиком, вроде утробные младенцы. И хорошо получилось.

Ей сказали:

— Раз ты так хорошо тут поместилась, так мы с тобой и будем навек прощаться. А Лилия пускай цветет и пахнет дальше.

Возможно, последние слова я додумал. Но суть точная.

Не буду скрывать. Я сразу лично на себя много взял. Не поделился с товарищами и друзьями по работе впечатлениями. И в результате варил все в себе самом.

Дознаватель

Налицо, по сути дела, ничего и не было. Но к дому на улице Клары Цеткин я стал не на шутку присматриваться. Конечно, в свободное от тревожной службы время.

Так, я установил, что в дом постоянно (за два дня несколько раз) ходила портниха Лаевская.

Несколько раз туда-сюда шнырял преклонный старик еврей с торбой.

Обнаружился лай собаки. Раньше, у погибшей Лилии Воробейчик, двор на цепи не сторожился.

Цвинтарша наружу не появлялась.

И главное — Евы Воробейчик не наблюдалось никак.

Свет в окнах со стороны улицы, где заборчик пониже, горел допоздна. Часов до одиннадцати вечера.

Факты — упрямая вещь. И факты говорили, что их надо осмысливать. Осмысливать не получалось.

Во всю свою ясность вставал единственный факт — Ева Воробейчик. Как таковая.

Между прочим, моя семейная жизнь в то время представляла семью из трех человек: я, моя жена Любовь Герасимовна и дочка Анечка четырех лет.

Мы снимали комнату у стариков по фамилии Щупак и о лучшем не мечтали, так как вскоре нам обещали собственную площадь в новеньком бараке на Войкова. А если бы мы родили наскоро еще ребеночка, так можно было надеяться и на квартиру в ведомственном строении на улице Коцю-

бинского. Но со вторым ребенком у нас не получилось. Тем более по заказу.

И вот лично от себя, в гражданских брюках и белой рубашке, я отправился к Лаевской Полине Львовне.

Она не удивилась. Встретила как родного.

— Михаил Иванович, наконец вы пришли! В городе такое говорят, такое надумывают... На вас надумывают именно. Я вам про сплетни на разные темы не говорю. Вам это по работе и без меня известно. Я вам, если хотите, что касается вас, расскажу. А вы меры примете. Потому что оставлять нельзя. Не то сейчас время, чтоб оставлять.

Я спросил, что конкретно имеется в виду.

Лаевская показным манером засмушалась и стала рассказывать.

А рассказала она следующее.

В городе циркулируют слухи о деле Воробейчик. В вину покойного ныне артиста Моисеенко никто из народа не верит. Меня обвиняют в предвзятом отношении к еврейской нации и в замятии следствия. Словом, констатируют, что дело темное. А когда Малка Цвинтар поделилась с соседями насчет моего прихода и знакомства с Евой Воробейчик, Малке Цвинтар заметили, что от меня никто другого и не ждал, потому что я лично начатое следствие искусственно прикончил и теперь намерен заткнуть рот именно Еве Воробейчик как ближайшей наследнице Лилии.

Дознаватель

Тут я Лаевскую буквально поймал за язык.

Говорю:

— И когда ж это старуха Цвинтарша разносила дурницы по людям, в какой день? Вчера, позавчера? Или когда? Вы подумайте, Полина Львовна. На слухи время надо. Слухи — не малые дети, в секунду не нарождаются.

Лаевская выпалила:

— Не знаю, но Малка делилась с людьми. А люди с ней. Рот не зашьешь.

А с кем Малка могла делиться в больших масштабах? Она ж в городе новая. Другое дело — Лаевская.

— Я вам ответственно заявляю, Полина Львовна. Авторша этих слухов — вы и есть. И не к вам Цвинтарша ходила туда-сюда. А вы к ней сами прибегали по сто раз за один день. И уже потом от себя растаскивали разные глупости по городу. Смотрите мне в глаза своими глазами! В полу ничего нету. И на потолке нету. В глаза мне смотрите, пожалуйста, пока я по-хорошему прошу!

Лаевская злобно посмотрела на меня в общих чертах, не в глаза, конечно, на глаза у нее смелости не хватило:

— Знаете что, Михаил Иванович... Вы ко мне в белой рубашечке пожаловали. И без пистолета. Так я вам потому скажу, что вы не все знаете и можете вывести не все на чистую воду.

— Ну и какая там у вас вода, Полина Львовна? Покажите! Ну, покажите!

Я терял терпение. Не потому что какая-то белькастая молодящаяся баба ко мне жирными ляжками прижималась, а потому что мне стало обидно. Я не щадил своей жизни. А она вроде смотрела сверху и видела.

— Михаил Иванович, дело ж Лилечкино закрыто на замочек, правильно?

— Ну.

— Ну и. А ключик у кого?

— Ваши еврейские загадки я открывать не намерен. Не за то я кровь проливал. И сейчас ради вас рискую.

Тут Полина Львовна меня схватила за руку и прямо в глаза прошипела, и дух от ее шипения шел похожий на духи «Красная Москва», но сильно прогорклые:

— Вы в городе сколько? Ну, пять лет. Самое ж большое. А дело не в сроках. Я тут тоже недавно. Только вы, Михаил Иванович, только когда вас работа заставляет, с людьми разговариваете. А я по собственной воле все знаю, всех знаю. И это не вы мне одолжение делаете, что за руку хватаете. Это я вам могу одолжение сделать, а могу и нет. Неважно, кто и что разговаривает, важно, что про вас лично. И личная картина у вас плохая. Можно и в партком сообщить. И дальше пойти.

Я ничего не понял. Может, она духов тех напилась и стала от них пьяная. После их прогорклой вишневки всего ждать можно. Нет. Трезвая. Если б наша баба, я б еще сомневался. Я евреев знаю! Мужик еще так-сяк. А бабы тем более не пьют.

В дверь постучали.

Пришла клиентка с материей.

Полина Львовна красиво разложила отрез на столе, потрясла крепдешином перед моими глазами — пустила волной.

Говорит:

— А ваша жена, Любовь Герасимовна, не собирается еще платьице себе пошить? Так если соберется, прошу ко мне. У меня все ее мерочки записанные. Она говорила, вам сильно нравится, что я ей пошила. Зимнее, шерстяное, терракот. Она у вас бледненькая, а терракот поддурманивает. Я ей посоветовала. Спасибо, что зашли должок передать. Привет супруге. И дочечке. Дочечку поцелуйте за меня, лялечку золотую вашу. Ага.

И затараторила с той, что явилась обшиваться.

Я и не знал, что моя Люба шьет у Лаевской. Я ее платьев не считаю. Их и считать нечего. Одно — терракотовое, на выход, второе, коричневое, — всегда на ней. Это из зимнего. А летом сарафанчик. Или что-то подобное.

Конспираторша Лаевская сейчас наверняка обсуждает меня со своей клиенткой. Что она наворотит, неизвестно. А к ней в день приходит сколько женщин? Ну, две — точно. А те две еще двум. Те — дальше. И никакая Цвинтарша не нужна.

И все на пустом месте. Абсолютно на никчемном.

Но если б я задерживался на подобных личных глупостях, я б не работал в органах. И вся б наша

милиция не работала. И в войне мы б не победили. Личного не то чтоб не должно быть. У человека все должно быть прекрасно в меру: и личное, и общественное. Но личного все-таки должно быть как можно меньше и тише.

Меня особенно обидело, что Лаевская намекала на мое халатное отношение к делу Воробейчик. А между тем все было сделано в соответствии с социалистической законностью. Протоколы и так далее. Никто не виноват, что Моисеенко трагически ушел из собственной жизни.

Повторю его слова:

— Лилька была дурная. Верила в цыган. Ей цыганка нагадала когда-то, еще до войны, что у нее будет муж на «рэ». Лилька и цыганку копировала как две капли воды: «Против на “рэ” не устоишь, сразу поддашься. И замуж выйдешь». И подлом своим трясла. И плечами. И чем только меня не брала... Я отбивался. Я весь в творчестве! Я всю поэму Александра Твардовского «Василий Теркин» выучил, чтоб выступить с шефством по районам. А она меня своей любовью сбила. Я, когда на первое выступление ехать в Носовку, напился. Пьяный и поехал. Думал, протрезвею. Не протрезвел. Выговор мне дали под зад. Можете считать, что я ее за это и убил.

Я попробовал загнать его в угол невинным вопросом:

— За Василия Теркина убил? — И в глаза посмотрел твердо.

Моисеенко — мне в самые зрачки, тоже твердо.

Отвечает:

— Да. И за Теркина. И за то, что она мне всю голову задурила, что я не могу себе даже представить, что на войне бывает. И, например, что с ней было. Я ей роль новую читаю, наизусть шпарю, а она рукой машет на мой талант. А что с ней самой было, что она знает и понимает, что никто не понимает? Не говорила. Морочила назло.

— А что, например, было? Есть предположения?

— Вам надо, вы и копайте. А меня хоть закопайте, я на бывшую любимую женщину говорить не буду. Пускай и правду, а не буду. Я, может, совесть свою пропил, а искусство не пропил. А у нас в искусстве так — про любовь не смей!

Но я быстро сбил спесь с хлопца:

— Ты к искусству ни при чем. Сам понимаешь. Допустим, ты убил. А кто еще мог Лилию зарезать? Кроме тебя — кто?

Тут Моисеенко вроде опомнился от рисовки. Помолчал.

Заявил однозначно:

— Кроме меня — никто! Никто.

И я склонился внутренне на его сторону. Плюс косвенные доказательства. Я уже говорил. В Носовку он пьяный приехал. Лилию убили в тот день, когда Моисеенко вернулся из района. А вернулся он не сразу, через два дня после намеченного выступления — застрял у знакомого, заведующего библиотекой Шостака Ивана Несторовича. С ним пил с горя. Шостак показал, что Моисеенко

говорил плохие выражения на Воробейчик, грозился убить. Получается, убил.

И вот такие слухи по городу. «Жизнь моя хоть вся в заплатках, но чистая», — говорила моя мать. И я за ней всегда повторял при неблагоприятных обстоятельствах. При различных потерях, например. Но никогда мне еще не угрожала потеря доброго имени.

Я решил зайти с другого конца.

Старый еврей, который ходил к Воробейчик и Цвинтарше, как свой. Я видел, что он ни на секунду не задерживался возле калитки, а с ходу толкал. Чужие на секундочку, а задержатся. А выходил из дома старик медленно, оглядывался на окна, обсматривал взглядом забор. Так чужие не уходят. Чужие не оглядываются.

Чернигов — город небольшой. От Красного моста до Троицкой горы. От Вала до Пяти Углов. Вот и весь город. Найти человека просто. Тем более еврея. Они все друг друга знают. Так исторически получилось.

Я пошел к Штадлеру Вениамину Яковлевичу. Человек знаменитый: изначально из раввинской семьи, но горячо принял революцию и Гражданскую войну. Воевал в Красной армии. Имел ряд наград, вступил в ВКП(б). Потом его, ясно, вычислили, но не посадили. А не посадили потому, что он на первом допросе каким-то образом откусил часть языка. То ли об стол следовательский треснул подбородком, то ли еще что. Всякое бывает.

Сделали заключение, что он сошел с ума. Так как он самостоятельно предпринял членовредительство.

Возили в Киев на обследование, там сделали окончательный приговор: полная невменяемость.

Штадлер в результате полученных самотравм лишился возможности говорить. Самое обидное, что вызвали его тогда как свидетеля. Хотели поговорить. И следователь был его родственник, дальний. Что-то он у Штадлера нетактично спросил, видно, и тот от возмущения сделал такой трюк. А родственника, между прочим, скоро посадили.

К Штадлеру ум вернулся как раз в сорок первом году. Героическое прошлое проснулось в нем со страшной силой, и он оказался в партизанском отряде Цегельника Янкеля. Там заделался кем-то вроде раввина. Рассказывали, молился методом мычания, но потом получил ряд тяжелых ранений и был отправлен на Большую землю залечиваться.

После войны опять появился в Чернигове. Немножко опять того, но в целом — в сохранности. К нему обращалась милиция — в случаях, когда надо было что-то узнать из еврейской среды. Сотрудником он не состоял, но в помощи не отказывал. Ему задавали вопросы — он на листочке отвечал. Почерк у него был некрасивый, косой. Я знаю, что евреи по природе своей должны писать справа налево, а не слева направо, как остальные люди. Такой у евреев язык и вообще

грамота. Вот от переучивания у него почерк и не устоялся.

Я описал старика Штадлеру и установил при его помощи, что имеется в виду некий Зусель Табачник. Временно живет в наемном углу на Лисковице. Под Троицкой горой.

Надо специально отметить, что под Троицкой горой скопилось немало еврейского населения. Они там проживали испокон веков, мне рассказывали знающие люди. После войны их не уменьшилось, как надеялись некоторые, а только прибавилось. На место убитых приехали из других направлений. У кого нигде никого не уцелело.

Человек, вопреки расхожему мнению, держится не за место, а за имущество. Если нету имущества — человек свободный. Разве что родственники еще для опоры. Но со временем такая инстанция, как родственники, перестала иметь значение. А у евреев на то время подобное сохранилось. Вот и ехали прислониться в углу хоть бы к седьмой воде на киселе. Особенно из маленьких местечек вокруг, также и из отдельных сел. Где в войну они были как кость в горле и почти все уничтожены, которые не уехали в эвакуацию и не на фронте. Но на фронте кто? Мужчины. А женщины, дети, старики — ясное дело.

Товарищ Сталин в ответ иностранным журналистам на их каверзный вопрос: «Почему евреев не всех эвакуировали?» — сказал: «Мои евреи все уехали».

Может, и так.

Прав был Ломоносов Михаил Васильевич, русский гений: ничего не исчезает в природе. В одном месте убывает, в другом прибывает. Вот и в Чернигове прибыло.

Со мной служил в милиции один товарищ. Можно сказать, друг. Ничего плохого про него сказать не могу. И совесть, и честь — все на месте. Фронтовик. Еврей. Гутин Евсей. Коренной черниговский. Все в городе — знакомые и видные ему насквозь.

Я решил посоветоваться с ним в непринужденной обстановке. Причем не в лоб, а по правилам, окольными путями. Для чего купил бутылку водки и явился к нему домой в ближайшую субботу.

Визит мой получился несвоевременный. Жена Евсея купала детей, которых насчитывалось трое. От двух до почти восьми лет. И что интересно, все мальчики. Старший Гришка, потом Вовка, потом Иосиф.

Евсей демобилизовался по ранению в момент, когда освободили Украину и разрешили всем возвращаться. Он и вернулся в родной дом. Хатка у него была такая, что в войну никто на нее не позарился. Так что заселился обратно и встретил свою жену и ее отца из эвакуации. Евсеевых отца, мать и трех сестер, понятно, расстреляли по обстоятельствам военного времени.

До войны Евсей был женат лет пять. Жена — Бэлка. Они считались бездетные. Не получалось у жены вынашивать. А потом пошли дети.

И вот Бэлка их купала.

Дело радостное, хлопотное. Семейное дело, конечно. А я детей тогда сильно любил, в первую очередь из-за своей Анечки-Ганнуси, дочечки, и стал помогать Бэлке и Евсею. Подносил воды, горячие ведра снимал с плиты. Плита топилась дровами, так я дров подрубил трохи.

Вытирали детей все вместе, чтоб им не простыть на всякий случай. Бэлка — самого маленького, осторожненько, а мы с Евсеем — по-солдатски двух других.

Все хлопчики обрезанные. Я специально заметил. Но по-хорошему.

Пошутил:

— Чего ж ты их, Евсей, всех пометил! Эх ты, не говоря, что коммунист, а как ответственный за своих сынов, как ты мог их обрезать — дать такой козырь возможному врагу распознать засланного разведчика?

Тут вошел в хату отец Бэлки Довид Срулевич. Или Сергеевич, как он сам себя называть не желал, но Бэлка и Евсей его представляли под таким отчеством.

Я как-то намекнул Евсею, что ему, коммунисту, не стоит стесняться никаких имен и тем более отчеств. Он по паспорту — Абрамович. А представляется Аркадьевичем. И тесть у него — Срулевич. А он его Сергеевичем переделал. Нехоро-

шо. Недостойно звания человека, который отрекается.

— Сейчас уже не война, нечего прятаться, — примерно так я ему сказал.

Евсей со всегдашней своей открытой, но кривой улыбочкой ответил:

— Я только из-за красоты.

— Наплюй на красоту. Ты ж не виноват, что ваши имена для русского языка мало пригодны. Они, если честно, ни для какого не пригодны. Так что, клички себе собачьи принимать?

Евсей даже улыбаться перестал:

— При чем здесь клички, да еще и собачьи? Я ж русское имя подставил.

Я захотел свернуть тему, вижу, задел за болючее:

— Я в том смысле, что для вас наши имена все равно что клички. Так вы лучше свои оставляйте.

Конечно, я выразил свое мнение не сильно складно. Но Евсей не обиделся, а наоборот, стал ко мне ближе.

А сейчас Евсей засмеялся и кивнул в сторону Довида:

— Вот кто пометил. Я за каждым следил, чтоб подобного не случилось. И каждого Довид с-под носа крал. Кто именно резал Гришку и Вовку — не знаю. Довид не признается. А Иосифа — Зусель его поганый и резал. Ёську в честь товарища Сталина назвали. И Довид прекрасно это знал. Я специально сказал ему, чтоб не вздумал младшенького трогать с еврейскими мыслями. Нет, гад, и Ёську спортил. Без Бэлки не обошлось. Она

целиком под его влиянием. Ну ладно. Резаные-нерезаные, лишь бы были здоровые. Немцы, думаю, не полезут. А больше я никого не боюсь. И немцев не боюсь. Бил я их, Мишка, ты ж знаешь, как бил! И в честь того, что побил-таки, я своих хлопцев и заделал. И еще заделаю. Мы с Бэлкой решили не останавливаться. А за Довидом следить надо крепче. И Бэлке пистон вставить, чтоб не разводила религию. Ну, теперь что ж?

Но я видел, что и сам Евсей всерьез не против довидовской мракобесной процедуры. Да, из людей трудно что-то выбить, особенно обычаи и предрассудки, если они процветали в народе веками. Хоть национализм, хоть что другое. Люди воспитуются трудно и не враз.

В такой мягкой обстановке приблизились к ужину.

Сели за стол. Дети кругом бегают, куски похватали, играют, шумят.

Ужинаем.

Разливаю по чарке, по второй.

Евсей пьет наравне со мной.

Довид — ни капли. Руководит детьми, чтоб как-то усмирить потихоньку.

Потом не выдержал, говорит с вилкой в руке, на полдороги застрял кусок, видно, мысль подперла:

— При царизме еврей не пил. Он был Еврей с большой буквы. На еврея смотрели в сто раз больше. Он только тем и мог выделиться, что не пил. Всегда трезвый. Это ему плюс ставили. За все

другое — конечно, минус. А как же. Ми-и-и-нус. Для еврея специально законы делали. Туда не пускать, сюда не ставить. А при советской власти все стали с маленькой — и русские, и евреи. И при советской власти он стал как все. И туда, и сюда. Вот еврей и пьет. А что — как все. Так и он. И плюса у него не осталось ни одного. Ни однисинького. Сплошные минусы.

Евсей в ту минуту наливал, и рука его дрогнула. Он украдкой посмотрел на детей. Те замерли — прислушивались.

Евсей рюмку налитую взял, выпил нарочито и говорит тестю:

— Вы б детей постеснялись, Довид Сергеевич. Такие слова произносить при них.

Бэлка замахала руками на обоих — и на старика, и на мужа:

— Ну вы расходились! Кушайте спокойненько. Сейчас детей надо спать укладывать, а вы раскричались. — Шикнула на хлопцев: — А ну, гешвинд шлафн*, паршивцы! Раскладайте матрасы!

Для детей же игра — раскатывать матрасы на полу, стелиться, местами меняться до посинения. Мать. Какие объяснения нужны? Мать знает, как утешить свое дитя.

Довид Срулевич тоже подключился, таскает подушки, перекладывает. Участвует.

Бэлка потихоньку сунула нам недопитую бутылку, кое-что со стола.

* Исчезните спать (*идиш*).

Шепнула:

– Идите, идите на двор. На колодках допьете. На воздухе.

Короче, я приступил.

Оказалось, Евсею фамилия Табачник знакомая. Я к тому же спрашивал не по фамилии, а между прочим описал старика. Точно описал. Если знаешь, не спутаешь. Евсей мне фамилию сходу назвал.

– Тот еще типчик. Его место за решеткой. Или в больнице – еще лучше. Темный человек.

– А что в нем темного? Придурок, безобидный.

– В том-то и дело. Он пропагандирует ерунду. Вот агитаторы по домам ходят перед выборами в Верховный наш Совет, понимаешь? Явочным порядком. Стучатся в дверь и заходят. И приглашения не надо. Всем понятно – пришли по делу государственной важности. И этот вроде агитатора. Только не за нерушимый блок, а черт знает за что.

– За контрреволюцию? Против Сталина и советской власти?

– Ну, так круто он не берет. Он исключительно к еврейской национальности ходит. У него списки написаны. Так балакают наши. То есть евреи. Он ходит и ходит. Его прогоняют, а он опять ходит. Как заведенный.

– И что, никто не написал куда надо?

– Видишь, кантуется. Выходит, никто не написал. А надо б.

– Так ты и напиши. Вызовут, пропесочат, про-работают. А что он агитирует?

Дознаватель

— Глупости всякие. Нету, говорит, вас больше, дорогие евреи. Думаете, что вы есть, а вас нету. Скажет такое и пойдет себе. Ему деньги дают понемногу. Одежду старую. Из еды. Откупаются вроде.

— А, так он побирается. На жалость бьет. Люди — дураки. Нищему один раз дай — и ты ему вроде должен. Так и Табачник твой.

— Он не мой! — Евсей аж побагровел.

Я невозмутимо продолжал мысль:

— Агитатор — это для него слишком жирно будет. Агитатор — за будущее. А Табачник — за ничего.

Евсей неопределенно кивнул.

— И что, хаты у него своей нету? По людям живет?

— Есть у него хата. Говорят, в Остре. И не хата, а землянка. Он кому-то заявлял, что в Чернигове будет обретаться по погоде, до зимы. А потом в Остер. Носит таких земля...

Я перевел на другое.

— За Довидом Сергеевичем смотри. Говорит он много.

Я нарочно Сергеевичем назвал, чтоб Евсей понял серьезность предупреждения.

Нужно ехать в Остер. И Воробейчик оттуда, и Табачник.

Заходить надо издалека. Первый закон следствия. Я хоть и без специального образования, но понимал суть. Война и разведка научили.

Но конец июля, время жаркое. Поздние гулянья молодежи, танцы на Кордовке, а вокруг там кусты непролазные, располагающая темнота. Случались недоразумения определенного порядка.

Потом — люди стали жить лучше. Выпьют сверх меры, поспорят, подерутся. Чаще всего внутри семьи, родственников и друзей, но это все равно. Чуть что — милиция. Причем плачут, чтоб никого не забирали. А работникам органов надо и в отпуск, и так далее.

Разворачивалось следующее.

Временами я негласно наведывался на улицу Клары Цеткин и заставал там закрытые ставни днем и ночью.

Систематически гулять в том месте не представлялось возможным из-за оперативной осторожности. Расспрашивать соседей — нецелесообразно по той же причине. Выяснить в паспортном столе, по домово́й книге? Что выяснять, если полгода со дня смерти Лилии Воробейчик не прошло и в наследство никто вступить не мог по закону? Не про кого выяснять. Есть что. А не про кого. Формально, конечно. По сути — я б выяснил. Если б официально. Но тут — дело моей тайной совести и чести.

По невольным рассказам Евсея я находился в курсе деятельности Табачника.

Дурковатый старик как-то зашел ближе к осени к Гутиным. И мало что зашел, так прямо под ручку с Довидом.

Дознаватель

Евсея сразу отсекли, позвали Бэлку за собой в сарайчик на дворе и там шептались.

Евсей хотел проследить-послушать, но дети удержали своими приставаниями.

В конце августа Любочка, ввиду приближения холодов, выразила желание пошить себе новое платье.

Для наглядности примерила старое — то, что я по памяти считал вполне хорошим, — и говорит:

— Я тут случайно Лаевскую Полину Львовну встретила на базаре. То-сё, в общем, она мне сказала, что за полцены пошьет. Я, конечно, наотрез отказалась, но она заверила, что только из-за уважения к тебе. Мол, Лилечка Воробейчик была ей подруга и даже как сестра, а раз ты убийцу обнаружил, так она тебе по гроб благодарна и в знак признательности даст мне скидку. Прямо слезы у нее в глазах стояли, умоляла меня ей сделать одолжение. Представляешь, одолжение! Я! Ей!

Я не торопился с приговором ситуации.

— Ну? И что дальше.

— Так дальше я с тобой советуюсь. Про Лаевскую говорят, что она слишком жадная, а она вот как может. Ты считаешь, Миша, от чистого сердца? — Ответа моего Люба не дождалась, сама пришла к заключению: — От чистого, ясно. Со смертью не шутят.

Я сказал:

— При чем смерть?

Люба ответила:

— Ну, я для сравнения. Если просто, так человек может и неискренность проявить. А если в смерть, тогда язык не повернется. Может, согласиться? На скидку? Шить толком не у кого.

Я пожал плечами. Хоть имел в виду совсем другое. Не надо тебе, Любочка, видаться с Лаевской. Ни шить, ни скидать цену, ничего тебе с ней иметь не надо.

Но сказал:

— Шей. Жизнь налаживается. Нечего жидиться. — Выскочило плохое слово. Ну, не плохое — не советское, а так, слово как слово, но я запнулся. — Нечего экономить на копейках. Надо, чтоб не стыдно было перед людьми. Ты красавица. Это уродине еще можно в обносках. А тебе — нельзя.

Люба просияла. Кинулась к шифоньеру, выдернула с-под простыней отрезик бутылочного цвета.

Показывает мне в нос:

— Смотри. Я давно купила. — Развернула, покрутила туда-сюда шиворот-навыворот. — Шерсть. На базаре. Материя довоенная. Или трофейная. Недорого. А если еще скидка — тогда совсем почти даром.

Я для ее удовольствия пощупал материю. Хотел даже погладить, но понял, что не надо. Руки дрожали.

— Хорошая. Ноская. И не маркая.

Люба пошла к Лаевской и принесла оттуда следующее.

Полина Львовна спрашивала, как у меня дела на работе. Или не переводят меня куда-нибудь на район. Как раз тогда часто бывало, что районные отделения милиции укрепляли за счет областных кадров. Говорила также, что если ушли в глушь, то квартиры не увидим. Там и застрянем. А у нее связи. Может замолвить кое-что.

Люба спросила, не скрываю ли я от нее чего-то по работе? К Лаевской начальство ходит, то есть жены, ей много известно. Ни с того ни с сего она не болтанет.

Я заверил Любу, что перемен по службе у меня не предвидится. Но в уме заметил, что Лаевская платье бутылочное, ноское и немаркое будет шить долго. Долго она его будет шить-метать. Нервы моей жене мотать.

Но выхода не было. Пускай помотает. Ничего не вымотает. Подлюка такая.

Я побеседовал с товарищами, проанализировал ситуацию. Отношение ко мне руководства не изменилось. Хороший счет как был, так и остался.

Закинул удочку на всякий случай:

— Всю жизнь мечтал в райончике где-нибудь поработать. Тишина-покой. Разнимай мужей с женами, и все дела.

Как раз после партсобрания возвращались с нашим кадровиком.

Он меня по плечу похлопал и по-доброму пошутил:

— Такими, как ты, Миша-Михаил Иванович, не разбрасываются. Время сейчас не то, чтоб кадрами кидаться. Мы тебя ни в какой район не отдадим. В самый передовой — и то не отдадим. И квартиру тебе выделим. Так и знай. И жене скажи, чтоб готовилась.

Эта радость загородила нам с Любочкой весь белый свет. Несмотря на то что Анечка подхватила на Десне воспаление легких и больше месяца мы ее выхаживали с помощью докторов в домашних условиях, мы жили предстоящей радостью простора и отдельности.

В конце сентября дали однокомнатную квартиру с умеренной кухней. На Коцюбинского. Там пленные немцы построили целую улицу. Наш дом — ближе к новому базару.

Въехали. И без второго ребенка обошлось. Повезло.

И вот в эту квартиру приперлась Лаевская.

Секрета не было — на старом месте наш адрес знали, мы им еще вдобавок завещали всем раздавать новый адрес. Мало ли что.

Вот и что.

Я открыл дверь лично.

Лаевская с первой секундошки пёрла на меня грудью.

— С новосельем, дорогой Михаил Иванович! Я специально в воскресенье подгадала, чтоб застать всех дома. Любочка на месте? И ляleckа

ваша, Анечка ваша, доця, тоже с мамочкой-папочкой?

Сюсюкала, сюсюкала, все крутом обнюхала, в уборную дверь открыла.

Кивнула, вроде довольная:

— Да. Мне рассказывали про эти дома. Теплые. Главное — теплые.

Люба услышала голос Лаевской, вышла встречать как положено.

— Какая нам радость, Полина Львовна, дорогенькая, что вы до нас пришли! Сейчас будем чай пить с вареньями разными. Теперь не знаю, теперь участочка у нас нема, теперь не будет варенья. А пока есть.

Лаевская разводила руками, щупала пальцами и глазами обстановку. Конечно, барахло. Мы в надежде с Любочкой по копейке откладывали, но не наоткладывали ни на что путное. Сейчас, при Лаевской, мне захотелось оправдаться за это.

Черт дернул меня за язык:

— Да, мы люди небогатые. Не то что вы. Вы умеете копеечку до копеечки складывать и прятать. А мы — нет. — Специально с ударением на «вы».

Лаевская засмеялась:

— Это я умею? Кушаю что хочу. На продукты буквально все и уходит. Под старость все покупать любят. На фигуру свою даже махнула рукой.

Она для наглядности махнула рукой. Но платье под макинтошем песочного цвета приподняла на сколько-то, чтоб показать свою пухлую, противную коленку.

— Ой, да что говорить! Прошла моя молодость безвозвратно.

Этой коленкой она меня царапнула по горлу:

— Что вы, Полина Львовна! Еще замуж выйдете. Доживать будете как за каменной стеной. Если б вы меня спросили, я б вам и мужа рекомендовал. Довида Срулевича Басина. Вдовец. Еврейской национальности. Как раз для вас. Он, говорят люди, тоже копеечку имеет. Ну, у вас без копеечки не бывает...

Зачем сказал, почему выдвинул Довида — не знаю. У меня бывает — скажу меткое слово прямо с неба.

Лаевская намек на ее национальность и особенности поведения, конечно, поняла. Но вида не подала. Только мой опыт позволил определить, что она сцепила зубы.

— Да что я? Дело прошлое. Я вам, Любочка, платьице принесла. Отгладила и принесла. А то вы замотались с переездом. А у меня крой, люди зря не скажут, и с одной примеркой доделать могу. Так я на глаз и закончила. Хотелось скорей вас обрадовать. Чтоб муж полюбовался. Меряйте сию минуту. Меряйте, я вам говорю!

Вытащила из здоровенной торбы сверток, распатронила бумажку абы как, достала платье — двумя пальчиками, как драгоценность. Перекинула через две руки, вроде рушник с хлебом-солью. Подала Любе. С поклоном.

Любочка с поклоном же и приняла.

Побежала на кухню.

Возвращается.

У меня голова закружилась. Такая красота.

Люба кругом себя крутится, оглаживает платье.

Лаевская обходит ее, как памятник какой в музее, и цокает языком.

Спрашивает у Анечки:

— А тебе, лялечка, хочешь, тоже пошью красоту?

— Какую красоту? — спросила Анечка.

— А придумаю. Я на фасоны не прижимистая. Детям вообще не шью. А тебе сделаю. Специальный детский фасончик. У меня куски разные валяются. Так я тебе скомбинирую. Для своего удовольствия.

И слезу пустила.

Любочка спрашивает тихонько, деликатно:

— Сколько ж я вам должна? — А у нас после переезда денег ну совсем только на хлеб.

Лаевская объяснила:

— Я на юбочку подклад дала. Свой. Нитки тоже мои. Шелковые. Тут защипчики пустила по рукаву, мы с вами, Любочка, не обговаривали защипчики, и воротничок сделала. Кужевцо мое. Ну, за это я дополнительно не беру. Как договорились — полцены.

И называет цену.

Я ничего не понимаю в бабских ценах, а Любочка глаза закатила.

— А можно с зарплаты? Подождете? У Миши зарплата через пару дней.

Лаевская вроде ждала такого поворота:

— Почему не подожду? Вы, Михаил Иванович, занесите мне домой. Я вас прошу! Чтоб Любочку

не затруднять. Я вам и яблочек передам гостинчиком Анечке, и для компота много засушила. А девочке на зиму нужны витамины. И того, и сего. Вы лично столько нервов тратите на работе. Некоторые не понимают, а я ценю. Мы не просто так знакомые, правда? Я вас как родных люблю. Не знаю почему — с первой минуточки. Особенно Анечку, лялечку золотую.

Люба кивнула.

Не из-за компота-яблочек. Скромная, и когда на нее наступают, кивает не подумавши.

Когда Лаевская ушла, Люба только и сказала:

— Ну, Полина! Вдруг полюбила. Полюбила — а денежки давай. И какие! Я б за такие деньги к ней не пошла. Миша, что делать?

— Деньги надо отдать. Отдадим. Я отдам. А гостинчиками своими пускай подавится.

Анечка из своего уголка повторила:

— Подавится. Пускай.

Ребенок. Не понимает глубины.

С зарплаты я пришел к Лаевской.

Выложил бумажки на стол без особого приглашения.

Не скрою, готовился к задержке у Лаевской. Будем откровенны, к ее болтовне. Но она ни словечка лишнего не сказала. Молча взяла деньги, пересчитала.

Пропела почти шепотом:

— Да, за мою работу людям не жалко отдавать положенное. Раз сделано — получи. Правда, Ми-

хаил Иванович? Я говорю, что положенное всегда отдается. Поняли меня?

Я машинально ответил:

— Понял.

Лаевская сунула мне в руку торбу: гостинчки. Я принял, чтоб не нагнетать ненужного. Думал, по дороге выброшу.

А не выбросил.

Сказал Любе:

— Деньги заплатил. Гостинцы принес. Дура она, конечно, Лаевская Полина Львовна, то есть даже и не дура. Натура у нее. Еврейская. Иногда кажется, они дураки. А их натура за шкуру тащит. Они не виноватые.

Люба кивнула:

— Я ее и не думаю осуждать. У них нация такая. Надо знать и иметь в виду.

— Вот именно. А яблоки — что ж, они ни при чем.

Подошла Анечка, взяла румяное яблоко, надкусила. И сок по подбородку потек.

Я вытер ладонью. Осторожненько. Обнял дочку со всей возможной нежностью.

Праздника новоселья мы как такового не устраивали. Объединили с моим убытием в очередной отпуск. Среди гостей и Евсей, конечно.

Надо признать, в то время обострилось косоое мнение насчет евреев. Некоторые сослуживцы даже намекали, что Евсей Гутин — мне не надежный товарищ. Но я не реагировал.

Бывали случаи перегибов — и евреев увольняли не оправданно, а как дань ситуации космополитизма. Но это линия партии, и ее не обсуждают вообще. А от Гутина я не отказывался. И он это ценил.

Входчины получились прекрасные. Душевные.

Любочка наготовила всего. Анечка ей помогала как умела. И на стол они подавали вдвоем. Анечка снизу, со своего роста, а Любочка уверенно, сверху ставила на стол: как с неба ложились на землю, ну, на стол, Любочкины пирожки с начинками, пампушки с чесноком для борща, холодец, винегрет и так далее.

Красота семейной жизни обнимала меня со всех сторон и аж мешала дышать.

Мы с товарищами между собой переговорили, что, если б все умели культурно отдыхать, нам было б меньше работы. Шутили, ясное дело.

Гости были сильно довольные.

После всех остались мы с Евсеем.

Любочка с Анечкой мыли посуду на кухне.

Евсей между прочим сказал:

— Довид Сергеевич ходит сам не свой. Не пойму, что с ним делается. Уверен, Табачник воду намутил. Помнишь, я тебе про Табачника, дурачка переходжего, рассказывал?

— Ну.

— Довид талдычит, что политика немножко пошла в другую сторону: вместо организованного вывоза евреев назначено их по одному убивать. Это ж надо такое придумать! Убивать под видом

бандитизма, чтоб капиталистический мир не волновать. С бандита какой спрос? А если по указанию партии, так могут и хипеж за океаном поднять. А их по одному разве переубиваешь? Дурня. На голову не налезает.

— Их? А ты не считаешься?

Евсей закутился на месте. Вроде по карманам заискал мелочь, а она в дырку провалилась, в сапог или куда.

— Ладно. С Табачника какой спрос — нищий, побирается, басни рассказывает. Вредные, но басни. А Довид в своем уме. Всем известно, что в своем. Ты б его подкоротил за язык. Не нам решать линию. Ясное дело, если организовано вас всех эвакуируют — для вас и лучше. Ты, например, на новом месте работу себе сразу найдешь. Вы когда отдельно окажетесь, и у вас ворье полезет в глаза. И бандиты. И шпана. А другим — профессорам-академикам, конечно, страшновато. Почета им будет меньше. И денег меньше. Крутом такие же — профессора-академики-скрипачи-пианисты. Ты только представь: повезут вас в новую местность, и устроите вы там себе еврейский рай. Ты будешь главным милицейским начальником. Ну, не главным, но на руководящей должности. Что, плохо? Интеллигенция стихи пишет, музыку, кино. Вы благодарить должны.

Евсей вроде что-то нащупал в кармане, радостно кивнул:

— А мы и благодарим. Благодарим. Вот, нашел. — И протягивает бумажку трубочкой. — До-

вид адрес оставил. Поехал к Табачнику в Остер на побывку.

— Зачем мне адрес? На черта?

— Довид велел передать. Чтоб не на словах, а бумажкой. Вчера поздно уехал. Сегодня передаю. Не на работе. Как положено.

Я посмотрел на Евсея новыми глазами.

— Какие у меня дела могут быть с Довидом? Я его терпеть не могу. И не скрываю.

Евсей набычился:

— Я в чужие дела не лезу. Никогда. Думал, ты меня за это уважаешь. Откуда я знаю. Довид что-то махерит по кирпичной части. Может, он тебе кирпича подкидывает втихаря. Для сарайчика на старой квартире. Ты строить хотел. Он мне как раз и намекнул: для пользы личного твоего дела передать адрес. Ну, теперь ты переехал, тебе сарайчик присобачивать негде. Но мало ли что? Был бы кирпич. Правильно?

Я ответил решительно:

— Неправильно.

Прочитал бумажку. Адрес такой: Остер, улица Фрунзе, за последним домом от конца. Землянка.

На самое прощание Евсей пробормотал:

— Ты, Миша, люди балакают, недокрутил с Моисеенко. Помнишь, который руки на себя наложил?

— Ну. Помню. В глазах висит каждую ночь.

— Говорят некоторые, и у нас в отделении тоже. Темное дело. Темное. Я как могу — осаживаю,

не чипляйтесь, говорю, к Мишке, все что надо — сделал. Артист нервный попался. Вот и конец.

Я резко оборвал:

— Какие твои разговоры, я знаю. Виляешь. И разговоры твои вилючие. Конкретно кто бочку катит?

— Машинистка Светка. Она с начальником сейчас крутит. Губы бантиком сложила и нарочно при мне процедила: «Миша твой, Евсей, недосмотрел. С тобой дружит, аж обнимается, а недосмотрел». Светка — прошмондовка. Шлендра. Сама б не додумалась. Повторяет.

Я развернул Евсея к себе близко лицом и закончил нашу беседу таким образом:

— Через тебя ко мне претензии. Видишь, зацепили. Гутин — сомнительный по национальному вопросу, Цупкой с Гутиным в обнимку взасос целуется, давай по Цупкому огонь дадим. Нет. Не получится у них!

Евсей засветился, хоть я его и больно прижал за плечи.

— Не получится, Миша! Мы кровь вместе проливали. Не получится.

Я не знал, как поддержать товарища, и только сказал:

— Ото ж.

Настала возможность поехать в Остер, как я хотел и делал план. А дома я объяснил: еду на родину, в село Рябина между Харьковом и Сумами. Далеко от Чернигова. И на работе распространил

ту же версию. Оттремела большая война. У меня мать и отец замучены фашистскими извергами как передовые колхозники, причем отец — активист. Отдать последний поклон могилам родителей — на такую мотивировку я вынужден был решиться. Стыдно.

Но и в то же время не стыдно. После Остра я наметил и в самом деле добраться до Рябины. Если получится.

Кто не знает, объясняю.

Задним числом всегда легко осуждать. А в те годы чувства были накалены пожарищами прошедшей войны. До счастья подать одной рукой. И всякое препятствие после кровопролитных боев виделось незначительным на мирном фоне. Это я не для философии, а для сведения.

И такое препятствие мне подставила Воробейчик Лилия.

Да, интересная женщина до своей смерти. По рассказам в ее адрес. Но вот ее нету. А у меня неприятности. Досадно? Досадно. Но ладно. Честное имя дороже я не знаю чего.

Евсею ничего не сказал. Откровенность — хорошо, а совесть лучше. И совесть мне диктовала: никого вмешивать не надо. Есть оперативное положение: в курсе — значит, причастен.

Перед поездом прогулялся по улице Цеткин.

Дом 23 не издавал ни звука.

Я обогнул строение сзади, перелез через забор.

В курятнике мертвая тишина. Дверь распахнута, ни пушинки, ни зернинки.

Остер — известная еврейская местность. Примерно большинство евреев. Остальные украинцы. Чуть-чуть русских.

Среди разрухи кое-где росли постройки. Неказистые, но из добротного леса. Дома не дома, но и не совсем щелястые бараки. Люди сами для себя строили. Доска к доске пригнаны на совесть. А потом еще и обошьют drankой. Жить да жить.

Остер встретил меня свадьбой. Женился еврей с еврейкой. И гости, будем откровенны, сплошь евреи. Не без украинских товарищей, но в основном и целом. Слышалась еврейская речь, особенно со стороны пожилых.

Веселье уже дошло до такой степени, что танцевать вывалили из дома на улицу.

Играл оркестр — скрипка, бубен, аккордеон. Я сразу отметил: аккордеон трофейный, немецкий. Насмотрелся в Германии. У немцев два инструмента для веселья — губная гармошка и аккордеон. У евреев скрипка, известно. Теперь и аккордеон прибавили. А скрипач какой-то недоделанный. Сикось-накось. Потом сообразил — левша. Скрипку не по-человечески держит.

Играли вроде жизнерадостно, но заунывно. Подпевали мало. Когда заиграли украинскую — «Ты казала — у неділю», — загорланили все. Хором. Песня что надо. На века. Народная.

Что характерно, еврейские дети в большом количестве. И маленькие, и постарше — разного телосложения. В массе худенькие и чахлые. Но и толстые в том числе. А украинские — сплошь худенькие. Порода. Еврейский ребенок лучше усваивает пищу. Или кормят его особым способом, как гуску на зарез. Впихивают через глотку. А наши: поел не поел — бувай здоров, біжи з хати.

Я, как сторонний, быстренько прошел мимо.

Но за мной увязался член свадебной команды с красной повязкой на рукаве:

— Товарищ, выпейте с нами за здоровье молодых. Приглашаем от всей души.

И так в меня вцепился, клещами не растащить.

Голосит, как скаженный:

— До нас идите, до нас! Усех приглашаем! Увесь Остер гуляет!

И — полное внимание к моей персоне с тыла и с флангов.

Я б, конечно, не должен. Тут только зацепись языком, сразу развернут на полную катушку. Откуда? Кто? К кому? Зачем? Дешевле пойти на поводу и потом незаметно исчезнуть.

В голове мгновенно сложилось: если спросят, скажу, что проездом, по служебной цели.

Зашел в дом. Там вокруг стола группировались некоторые гости. Ясное дело, царило разорение. Тарелки с объедками, бутылки полупустые. Ничего подозрительного.

Дознаватель

От фаршированной щучихи в полстола — голова и хвост. Голова тоже нашпигованная, как у евреев принято. А не съели.

Я отговорился, что по ранению крепкого не употребляю. Попросил чистой водички. Мне дали стакан узвара: красный, с калиной, грушами. Как положено.

Я стакан поднял и говорю:

— Спасибо, товарищи. Желаю счастья и спасибо, что позвали за свой стол.

Вошли молодые. Она — здоровая деваха лет к тридцати. Волосы черные, кудлатая. Глаза, правда, красивые. Черные. Жених трохи подкачал ростом и сложением. Но на лицо ничего. Не страшный. Постарше нее. Лет на пять. Масть — светлая, с рыжиной. Глаза разного цвета — один голубой, другой светло-карий. Редкая примета.

И с нее, и с него — описывать словесный портрет сплошное удовольствие. Ни с кем не перепутаешь даже в общих чертах.

За молодыми вошли гости. Наорались, каблуками землю побили, настало время закусить.

И опять оглушили меня своим гырканием. Но, смотрю, украинцы даже разговор на их языке поддерживают. На шуточки отзываются веселым смехом. Подмигивают.

Тот, что меня за шиворот притащил в хату, громко объявил:

— У нас, товарищи, еще один гость. Он сейчас скажет свое слово. Ша!

Все замолчали.

Я стакан с узваром поднял и говорю:

— Мазл тов, дорогие молодята! Мазл тов на долгие годы!

Через одного от меня сидит старик с пейсами, в засаленном картузе. И как уцелел? В эвакуации, наверно, спасался, место занимал.

И вот он кивает в мою сторону и спрашивает буквально в пространство вокруг:

— Аид?

Я засмеялся.

— Нет. У меня друг из ваших. Он научил. Так что желаю вечного счастья!

Поднялся осанистый человек в хорошем пиджаке. Украинского вида. А там — черт его знает. Иногда с налета не разберешь. И у нас носатые и черные бывают.

— Спасибо на добром пожелании! Вы видите свадьбу. Свадьба получается хорошая, веселая, и вы с нами веселитесь и ешьте-пейте.

Старик, который интересовался, или я не аид, смотрел на меня в упор своими бельмами. То есть глаза у него вроде зрячие, но и в то же время невидящие. Неприятно.

Я на весь рот улыбаюсь и выхожу на двор.

Мужчины курят, дети шныряют, женщины таскают глиняные миски с летней кухни в дом. Время — к темноте.

Я — к калитке боком, боком. Осанистый, который отвечал мне тостом, крикнул в мою сторону:

Дознаватель

— Товарищ, не спешите! У нас еще не кончилось! Понравилось вам?

— А как же. Сильно. И угощение сладкое, и водочка горькая, как говорится.

Мужчина подошел вплотную, положил руку на плечо:

— Вот так, товарищ. Вот так. Свадьбу играем всем Остром.

Я пошутил для легкости:

— Поздновато невеста с женихом собрались. Им бы детей в школу вести, а они только записываются.

Мужчина закивал:

— Так у них и были дети. И у нее, и у него. И муж у нее был. И у него жена тоже. Немцы убили с полицаями. А вы с каких краев?

— Нездешний.

— Я точно вижу — военный! Правда ж?

Я неопределенно мотнул головой.

Мужчина заспешил сказать:

— Не спрашиваю, ничего не спрашиваю. Понимаю. Сам воевал. А до войны на ответработе. Теперь вот... Но ничего. Не жалею. Я с пониманием. Ночуйте у нас.

И протянул мне руку для знакомства:

— Файда Мирон Шаевич. Веду культупросветработой. Верней, временно завхозом в клубе... Сейчас сильно культура нужна людям. После всего.

Я руку пожал.

Подбирал имя для представления, а тут распахнулась калитка и новые, запоздавшие гости зашли на двор с громкими криками приветствия.

Маргарита Хемлин

Опять загиркотали, засмеялись кругом.
Я юркнул за забор, на улицу.

И что за нация такая! Допустим, твоих поубивали. И детей. А ты свадьбу гуляешь. На глазах у всех. И все тоже хороши. Пьют, жрут. На аккордеоне пиликают — жилы тянут.

Во мне, будем откровенны, говорила злость. Но я себя не сдерживал.

Не сегодня завтра упекут к черту на рога, в голую степь и снег, ты манатки собирай, узлы вяжи, золотишко распихивай по тайным местам. А они женятся. И детей сколько бегают. И смеются. И петушков на палочке сосут. Сладко. Хотите, чтоб сладко было? Будет. Обязательно будет. Не то сейчас время, чтоб не сладко.

На Фрунзе к землянке я не пошел. Завернул на сто восемьдесят градусов.

Подвод пять сменил. Несколько полуторок. Подвозили — денег не брали. Свои хлопцы, украинцы.

Взял курс на Рябину.

Рябина была живая. Центральная часть — Полотняновка — пустая. Но собаки брешут, гуси ходят. Люди на работе, в колхозе.

Настроение мое немного улучшилось.

Я уехал в Харьков в возрасте восемнадцати лет — по комсомольскому направлению. Отец постарался правдами и неправдами.

Дознаватель

Принес направление в хату, вроде откопанный клад.

Говорит:

— Уезжай, сынок, в Харьков. Тут все равно не жизнь. И не будет.

Я и не собирался. Будем откровенны: учился средним образом. Голодный, холодный. Ходил в школу пешком восемь километров. Я больше любил и знал природу. Наш учитель первого класса Диденко меня за это ценил. Я доходчиво рассказывал сверстникам, что смена времен года наступает обязательно и всегда, надо только знать про это. И не пугаться, что холодно. Или дождь. Или жара.

Но отец сказал, и я поехал учиться.

Дальше — война. Добровольцем — на фронт. Как имеющий образование, хоть и неполное, сразу с младшим офицерским званием. Пошло-поехало.

После победы в Рябину не поехал. Сердце подсказывало — не надо. Те, кто в могиле, — пускай там и лежат спокойно. Я их не подниму. Без дела тревожить — глупости для нервов. А в остальном — делать нечего. Неизбежна новая жизнь.

Идти мне в данном населенном пункте — фактически некуда. На кладбище, чтоб люди не оговаривали и не обсуждали, — раз. К учителю Диденко Миколу Ивановичу как к единственному дорогому человеку по воспоминаниям — два. И точка.

Шел я на кладбище, и было мне стыдно. Если б не евреи с их дуростями, если б меня родители

мои так не воспитали, что прежде всего — честь и совесть, гулял бы я отпуск в Чернигове с семьей. С Любочкой, с Ганнусей. И никаких гвоздей.

Вдруг меня пронзила мысль, что сам я могил не найду.

Завернул к Диденко. Как раз по дороге.

Стучался в хату и сомневался: живой? И пре-клонные года, и невзгоды.

Но Диденко мало что открыл дверь сам, так еще и крепко меня обнял. Узнал с первого взгляда. А лет ему на тот момент было не меньше, чем семьдесят.

— Ну шо, Михайлик, собрался до нас? Вспомнил, хлопчик, вспомнил... Надолго?

— Нет. У вас переночую, если пустите. Посмотрим потом, на сколько задержусь. На свежую голову рассудим. Дома скоро не ждут. Отпуск у меня.

— И где ж твой дом теперь? У Харькове?

— В Чернигове. Знаете такой город?

— А як же ж. Знаю. Був я там. До войны и був. Як раз перед самой. Под Троицкой горой останавливался. На улице Тихой. Есть же ж такая?

Сердце мое екнуло. Опять Троицкая.

— И у кого ж вы там останавливались, Микола Иванович?

— О, то така людына!.. Еврэй. Шо-то навроде раввина. Знаешь, хто такой раввин?

— Поп еврейский.

— Ну хай поп. Той еще и хфилософ. Зусель звали. Фамилия Табачник. Специально до него ез-

див, побалакать. Мы з ним на Первой мировой служили рядом. Он добровольцем пошел. Вольноопределяющимся. Еврэив же ж не брали призывом. Чуждый элемент. А он от обиды пошел. Определился. А я ж по призыву. От так мы з ним и определялися в одном окопе. Я его оборонял от дураков больше, чем от немца. Он молился сильно. Тогда не возбранялось. Даже поощрялось на все веры одинаково. Я скажу: если б он не так заковыристо молился, дак его б и совсем не трога-ли наши, а он сильно вскрикивал и качался на месте. То уже без смеха редко сходило. Тогда же ж я и шикал.

Я заметил:

— А знаете, Микола Иванович, ваш Зусель и теперь живой. Воду мутит. Землянку себе в Остре вырыл и там юродничает. А советская власть его терпит.

Диденко ухмыльнулся:

— У еврэив доля такая. Мутить. Ты на него не обижайся. Он мне с месяц назад письмо прислал. Как черт с табакерки. Табачник же ж. Где-то я бумажку задевал. С Чернигова как раз. Улица Тихая. Пишет, хочет приехать до меня. Надо сильно. Чи я живой, интересуется. Я насмеялся над тем письмом. Если я уже у садочку у холодочку навек, то як же ж я скажу? Дурненький он был, дурненький и остался. До смерти, как говорится, четыре шага, а он разъездиться желает.

Я засмеялся:

— Ответили, что живой?

Диденко кивнул, но как-то обреченно:

— Нет. Я ж не знаю точно, когда живой, а когда мертвый. Пока до Зуселя письмо долетит, я и угомонюся. А он явится. Ему ж обидно. Грóши потратит. Ты на кладбище був?

— Нет. Як ваша ласка, может, проводите, покажете?

— Не. Не дойду. Близо, а не дошкандыбаю. Сам иди. Мимо не пройдешь: они под пирамидкой обое. Со звездой. Пирамидка синяя. Звезда красная. Прямо возле входа.

В окно стукнули.

Микола Иванович глянул и обрадовался:

— Ото вовремя. Гость. Палий Петро. Помнишь? Годом меньше тебя. Он мне еду таскает. Не даром, понятно ж. Жинка его готовит, а он таскает. Детей у них нема, так я у них навроде подобного.

Паляя я не узнал. А без подготовки так совсем бы мимо прошел.

Петро оказался слепой. Повязка белая через два глаза аж от лба до губ. Но ничего, чистая повязочка, аккуратненькая.

Он голову закидывает назад, вроде через нижний край полотна хочет разглядеть:

— Кто то у вас, Микола Иванович?

— Дружок твой. Цупкой Мышко.

Про объятия рассказывать не буду.

Решили поход на кладбище не откладывать. Мне чем быстрее, тем легче. Зусель подпирал меня вместе со своим письмом.

Дознаватель

Постояли над могилой.

Петро сказал:

— Повторно хоронили. Как героев. За такую смерть — простили. Ага. Не волнуйся. Разговора вслух не было, а внутри себя каждый простил. Я так думаю. Так что им легко лежится.

— Что ты, Петька, за что их прощать? Они честно прожили трудовую жизнь. Колхоз устанавливали. Для хорошей жизни.

Петро белел своей повязкой и этой самой повязкой мне сказал:

— За то. За то их простили, что последние зернинки по указке сверху с-под дитячих подушек выгребали. Ястребки — одно слово.

Я молчал.

Петро первый двинулся обратно.

Кинул через плечо:

— Митинг был. Хорошо говорили. С сердцем.

Хай им тихенько лежится.

И пошел себе.

Я не догонял.

Вернулся в хату.

Микола Иванович ожидал.

— Ну?

— Поклонился.

И тут я вспомнил, что планировал взять жменьку земли с могилы. А не взял. Петро сбил.

Микола Иванович предложил перекусить. Я не хотел. Всего крутило. Но отказать старику не мог.

Сели за стол.

Нашлось немножко самогонки. Диденко сообщил, что держит для лечения ревматизма. А я давно уже понял, что попивает. Лицо такое.

Выпили, пожевали что было.

Говорю:

— Куда письмо спрятали, не вспомнили? От Зуселя того? Интересно. За столько километров про знакомого услышать. Бывает же. Хоть я и не удивляюсь. На фронте и не такое встречалось.

— Письмо? А я и не вспоминал. Ты ж его знаешь, получается. Передай на словах: покуда ты тут был, я жил. Пускай приезжает на свой страх и риск.

— Ага. Я сюда ехал, так в одном месте на еврейскую свадьбу попал. Ну что за нация! У них половину поубивали по-всякому. И детей, и стариков, и все на свете. Чтоб следа не осталось. А они опять женятся. Опять рожают жиденят. Как ничего не было. Хоть бы жить после такого ужаса постеснялись. А они живучие.

Микола Иванович капельку из стакана себе на ладошку капнул — последнюю, больше не оставалось, растер, понюхал, слизнул языком.

Говорит:

— Живучая нация. Так все нации живучие. Ты малой был. То твои батька с матерью дела делали. А в тридцать третьем еще ямы шевелились — голодовка только закончилась. Люди хлеба трошки поели. И свадьбы пошли. Земля дрожит на ямах. А люди гуляют. Жрут и гуляют. Перепьются на радостях, что живые, и с девками обжимаются,

и блюют на те ямы. Хлебом и блюют. Тебя батька в Харьков услал. Выслужился — и услал. За свои заслуги. Услал, чтоб ты забыл напропалую. А тут и в сорок седьмом с голода умирали. Один — Засядько, ты его не помнишь, наверно. С фронта с победой вернулся, герой. Бегал за одной нашей девкой еще с до войны. Она замуж выскочила. Он переживал. Так на фронт, переживаючи, и ушел. Сказал: «Иду на верную смерть от любви к родине и к тебе, Катерина». Ну от. А у Катерины мужа как раз убили на фронте. Засядько вернулся. Она — вдова. А за него — ни в какую. А тут голод. У нее ж пятеро детей. Она все им. Сама светится от костей. Всем плохо. А ей так плохо, что боже ж мой. Засядько ей подкидывает еду. Какую-никакую. От себя отрывает последнее. А дети сразу съедят и опять голодные. Он ей: «Давай запишемся, я и детей, и тебя спасу». А чем ему спасать? Самдохлый. Трудодни — самые твердые. Палочки. В общем, доходит он совсем. Позвал Катерину до себя. Говорит, дай за цицьку хоть подержуся, перед отходом. Она ему: «А хлеба дашь?» — «Дам», — говорит. И на скрыню показывает пальцем. Там буханка. Как каменюка. Она схватила — и за дверь. За дверь и упала. Намертво. Засядько так и умер. Без цицьки. От сколько лет минуло, а я думаю, думаю... Если б она хоть бы б на Засядько упала с тем хлебом проклятушим, ему приятней было б умирать. А нет. Не получилось. Там хлопчик был, ученик мой, он как раз за Катериной бегал — звал до умирающего Засядьки. Рассказал.

Я поправил:

— В сорок седьмом — засуха. Вы сорок седьмой к тридцать третьему не приплетайте, Микола Иванович. Не надо лишнего.

— Лишнего и не требуется. Люди любят именно лишнее везде приплести. А я не люблю. Завтра ты про меня слушаешься именно лишнего. Я сам тебе расскажу. Я и при немцах детей в школе учил. Ждал, что советская власть меня за это за задницу схватит. Не схватила меня советская власть. Даже со школы не прогнала. Глаза кололи, что при немцах учителювал. А не прогнали. А я спросил у одного начальничка, что я такого страшного при немцах с детьми сделал, что мне надо глаза колоть. Он говорит: «Вы детям в голову вкладывали, что Бог есть». Да, вкладывал. Они такое крутом себя видели, что только на Бога и надеяться. И я им прямо говорил: «Детки, Бог есть». Больше ничего. Понял?

Я кивнул.

— И не кивай мне тут. Я у себя в хате. Сколько побудешь?

Я видел, что ему еще хочется поговорить. Но у меня настроение противилось. Ответил, что уеду с петухами.

Он вздохнул:

— Ото ж. Покалеченные мы с тобой, Михайлик, чистые инвалиды. Через войну и свою жизнь.

— Я лично не инвалид. Я здоровый.

Диденко меня по голове погладил, как в школе:

— Инвалид, инвалид, хлопчик. Ще й який.

Просил разбудить, когда соберусь уходить.

Дознаватель

Я не спал ни минуты. В голове шумела самогонка. Хоть и было ее немного. Но шумела. И Зусель там шумел, и Лилия Воробейчик, и прочие. И Диденко письмом мятым тряс за моими бессонными глазами. Внутри головы. И Петро Палий повязкой своей белой тряс. И они все сливались в одно.

Поднялся тихонько.

Диденко спал с храпом. Когда человек притворяется, он редко изображает храп. Натурально не получится. Я и был уверен — спит.

Обшарил хату как мог. Письма не нашел.

Еще не начало светать — я ушел. Оставил на столе немного денег и ушел.

В дороге много думал.

Я — солдат. Вырос на приказе. Как и вся наша большая и огромная страна. Взять хоть ставший мне на недолгие годы родным город Харьков. Назначили столицу — и стала столица. И выросли здания невиданной высоты. И площади невиданной широты. Потом назначили вернуться столице в Киев — и Киев опять стал столица.

Или взять пресловутый голод. Назначили голод — стал голод. И мои покойные родители ни при чем.

Хоть мирная жизнь давно опять вошла в свои права, мне хотелось, чтоб спустили именно приказ, чтоб мне назначили: забыть дело Воробейчик, забыть про то, что меня поливают грязью

всякие мелкие люди, по преимуществу евреи, что мне предстоит ворошить старое и заглядывать далеко в новое — чтоб предвидеть.

Но приказа такого никто, кроме меня, мне дать не мог. Никому ж на земле не могло прийти в голову.

Таким образом, я вернулся в Чернигов. Любочка встретила меня хорошо.

Ганнуса вешалась мне на шею каждую секунду и говорила:

— Татусю, татусю! Любесенький мій татусь.

Девочке четыре с небольшим, а она понимает, что такое любовь в семье.

Свой быстрый приезд я объяснил Любочке желанием скорей видеть ее и почувствовать ее ласку. Она обрадовалась.

Мы наметили совместную поездку в Киев — купить кое-что по хозяйству и для Ганнуси, растущей не по дням, а по часам.

Но меня срочно отозвали из отпуска.

Евсей Гутин застрелился из табельного оружия. У себя в сарае.

Бэлки почти не стало — одна тень шаталась. Дети — ничего. Держались от растерянности и непонимания.

Довид Срулевич проявил себя молодцом. Я вызвался организовать похороны. Но он все взял на себя.

Дознаватель

Обосновал:

— Время такое, что еврейские похороны тебе делать нельзя. Не так поймут. А мы с Бэлкой хотим, чтоб по-еврейски. Без раввина, но все ж таки. Я потихоньку сам кадиш прочитаю. Зусель тоже от себя помолится, в сторонке, от людей подалее, но кто-то обязательно углядит. А если что, на меня покажут. А ты ни при чем. Правильно? Не обижаешься?

Покойный Евсей лежал на полу. На простыне. Как у евреев требуется по закону. Стрелялся он в сердце. Лицо выглядело хорошо.

На всех подоконниках свечи.

У Довида воротник рубахи надорванный. У Бэлки платье трохи испорченное — по шву распоротое.

Я спросил — почему? Довид мотнул головой — обычай. Страдают, значит. Одежду на себе рвут. Понятно.

Заходили люди.

Женщины голосили. Мужчины молчали.

Зусель бубнил в другой комнате. Раскачивался, голова накрытая полосатым покрывалом, с-под него и шел бубнеж. Молитва.

Я вспомнил Диденко.

Говорю тихонько:

— Гражданин Табачник, вам привет от Диденко.

Зусель меня вроде не услышал. Но забубнил громче. И зашатался сильней.

Я не настаивал. Момент не тот.

На кладбище подошли товарищи по службе. Говорили слова. Но всем было понятно: поступок Евсея осуждается. Со скорбью, но осуждается единогласно.

Евсей нарушил основную заповедь: офицер, тем более коммунист, имеет право стреляться только в одном-единственном случае — ввиду неминуемого плена. Нанести максимальный вред противнику — и, глядя смерти прямо в лицо, застрелиться. Это есть героизм. Евсей пошел на свой поступок в мирное время. Это как?

Граждан еврейской национальности было много. Толпа разного возраста. Евсей — человек известный. Тем более — Довид. Оказали уважение, сошлись.

Товарищи из милиции держались отдельной группой. Все в форме. Темно-синяя. Как небо ясной осенью. Красиво. Кобуры кожаные. У многих **трофейные**, с войны донашивали. Сапоги, конечно, начищенные. Хоть и шли к яме через грязюку.

Меня как близкого друга вызвали сказать прощание.

Я сказал:

— Дорогой Евсей. У тебя остались сыновья. Мы их не оставим. Нашей Родине нужны все сыновья. Твоя семья будет счастлива, хоть и без тебя. Спи спокойно.

Я не говорил про долг, про боевую молодость, про награды Евсея. Я говорил про то, что болело у него на сердце в ту самую минуту, когда он спускал курок. Когда пуля летела ему в сердце.

Дознаватель

Понимаю, некоторые меня осудили. Но иначе сказать я не мог. Правда просилась наружу. И я ее от себя отпустил.

Как Довид обещал, так и сделалось: после того как присутствующие побросали землю в яму и стали расходиться, он неназойливо и тактично прочитал молитву.

Зусель отошел за кусты и там всхлипывал по-своему.

Ну, его дело.

Табачник же, видимо, по своей инициативе сунул под голову Евсею сверток — религиозный полосатый причиндал и что-то еще. Довид объяснил на мой немой взгляд: талес и кипа.

— Еврею там, — Довид кивнул вверх, — без этого нельзя.

Показуха. Хоть и тайная, а показуха.

Ну, Бэлка, дети — говорить не буду. Описать невозможно, у кого есть сердце. У кого нет — обойдется одним словом: ужас.

Была на похоронах и Лаевская.

Смотрела на меня. Строила глазки. Губы накрашивать не забыла. Я хотел невзначай спросить, что ж она макинтошик свой шелковый нигде не разодрала?

Лаевская подошла ко мне, взяла под локоть и прошептала доверительно:

— Хорошо, что Евсей в сердце прицелился. А то если б в голову — совсем плохо. В закрытом гробу — невыносимо. Согласны?

Я машинально кивнул, но сдержанно заметил:
— Почему в закрытом? Прикрыли б голову,
а туловище на виду.

Полина хмыкнула и отошла.

Да, мне как фронтовику не раз приходилось убеждаться: кто умер, тому уже хорошо. Если смерть мучительная, то немножко другое дело. Но в основном после окончания процесса — все равно вечный покой. Вот и Евсею стало хорошо. Тем более прямо в сердце.

Перед живыми вырос вопрос: что делать с детьми? Трое мальчиков. А Бэлка одна. Ну, Довид, конечно. Но мать есть мать, и на ней главная забота о еде и одежде, воспитании и так далее. А Бэлка как раз сдала позиции стремительно и одним ударом.

Общественность с работы помогала. Собрали денежные средства. Я и собирал. Мы с Любочкой сделали немалый вклад из последнего. Она проживала с Бэлкой и детьми каждую свободную минутку, вместе с Ганнусей шла и делала все, что надо и возможно. И словами, и руками.

В общем и целом стало понятно: Бэлка тронулась умом. Удивительного в таком факте мало. Но детям не объяснишь, почему мама не говорит словами, а мычит и воет. И это еще мелочи.

Шалаш, что летом дети соорудили в ближнем лесочке, стал для Бэлки схованкой. Сидит там и сидит. Холодно, дождь. А сидит. Как побитая со-

бака. Ей туда еду приносят — то Довид, то моя Любочка. Поставят около входа, уговаривают покушать. Она ни в какую. Ночью выходит вроде погулять. Без заворота в дом, к детям. А они плачут. Интересуются. Где мама? Плюс ужасающая антисанитария с ее стороны.

Мы с Довидом посоветовались и приняли тяжелое решение определить Бэлку на временное излечение в больницу, в Халявин.

Врачи говорили, что ее состояние может пройти. Есть неопределенная возможность подобного развития.

Но у всех своя жизнь. И наша с Любочкой жизнь продиктовала нам следующий закон: взять к себе младшего мальчика Иосифа двух лет. До полного выздоровления Бэлки. На сколько получится, на столько и взять. В рамках патроната.

Григория и Владимира взялся тянуть Довид. Собрал бебехи, продал хибару Евсея с Бэлкой, свой домик с приличным огородом и уехал в Остер. Почему в Остер — непонятно, но вольному воля. Видимо, под влиянием Зуселя Табачника.

Наш с Любочкой поступок был встречен моими сослуживцами с энтузиазмом. Каждый старался принять участие. Продуктами со своих огородов, домашними заготовками и прочим. Но еда — поддела.

Скоро, через пару месяцев после помещения в больницу, стало понятно, что Бэлка к здоровью

не вернется. Приговор врачей оказался безжалостным, но честным. За что им спасибо. Лишняя надежда никому не помогала. Только хуже.

Так в нашей семье появился юридический сын. Навсегда, как мы пообещали с Любочкой друг другу и самому мальчику тоже. В присутствии Ганнуси.

Прошлое отодвинулось вдаль. И виделось, как в снежном тумане.

Но вот как-то в воскресенье я отправился на базар.

Предстоял праздник — Новый год. С длинным наказом Любочки, в радостном, приподнятом настроении я шел по красивой дороге — мимо бывшей Пятницкой церкви, сильно взорванной. Но белый снег укрыл тяжелые раны войны, и казалось, что это не разруха, а холмы и пушистые взгорья, а под ними чистота и, возможно, будущая трава и цветы.

Почему-то пришел на ум Диденко с его мнением насчет Бога. Ну, разве непонятно, если б Бог был, как он затуманивал детям головы, разве ж Он допустил бы такую войну? Не допустил бы. Простая логика. Я даже постоял секунду и про себя твердо сказал в адрес Диденко: «Без логики все может сойтись. Любые концы с любыми концами. А с логикой — нет. С логикой мозги не задуришь».

И тут на меня налетела Лаевская. Во всей своей красе. Лиса вокруг шеи, пуховый платок, хорошее пальто сильно в талию. Белые бурки с коричне-

невой отделкой. Причем на каблучках. Вот она на этих каблучках и не удержалась, поскользнулась. И уцепилась за меня.

Подвела вверх глаза и вскрикнула:

— Ой, товарищ Цупкой!

— Цупкой, лично Цупкой, — говорю, — а кто ж еще вас, Полина Львовна, серденько, поддержит, чтоб вы не гепнулись! — засмеялся я от души.

Было хорошее настроение.

Лаевская улыбнулась во весь накрашенный рот, я увидел золотую коронку. А раньше не было. Я б заметил. Важная примета.

— Михаил Иванович! Я как раз к вам собираюсь. К празднику что-нибудь принести.

И так сказала, вроде милостыню посулила.

Я сурово ответил:

— Ничего нам не надо. У нас все есть. Дети сыты, одеты, обуты. Спасибо.

И двинулся дальше своей дорогой.

Но Лаевская не отпустила.

Тянула назад за локоть:

— Я не только от себя. Я от людей. И Евочка Воробейчик кое-что хочет передать. Помните Евочку? Сестричку бедной Лилечки? Помните?

И по своей привычке полезла мне своими краснючими губами прямо в лицо. Фиксой блесстит. Зрачками. Страх!

Я остановился:

— Ну что ж, заходите. Вечером мы всегда дома. Гулять холодно. Заходите. Только ненадолго. Ёська приболел. И Ганнуса бухикает.

Лаевская понимающе закивала и уже вслед мне крикнула шепотом:

— Вы прямо герой, Михаил Иванович! Прямо герой. Я всем рассказываю. Вы прямо герой. Чистый герой. Чистисенький. Ага.

Сколько она еще раз повторяла про героя, не знаю. Уши мне сразу заложило, вроде взрывом.

Пришла Полина Львовна за два дня до нового, 1953, года. Вечером. Часов в десять. То есть в двадцать два. Так поздно порядочные люди в семейный дом не припираются. Даже по поводу гостинцев.

Посюсюкала над детьми — те уже спали, как положено. Особенно умилялась по адресу Иосифа. Понятно — сирота. Сироте — первая ложка, как говорят в народе. И правильно. А как же.

Любочка сильно переживала, что Лаевская явилась без особого приглашения, а одеяльца на детях старенькие. Чистые, теплые, но сильно вытертые длительным употреблением. Еще сама Любочка ими укрывалась в детстве. Взялась срочно переменять одеяла, но я запретил. Проснутся — а это недопустимо: ради показухи портить детям жизнь. Они во сне в основном и растут.

Перешли на кухню. Там стояла моя раскладушка. Я уже приготовил себе постель. Хорошо хоть не разделся. Был в галифе от формы и в майке. Будем откровенны, выглядел прилично. А Любочка в халате. Не первый сорт, конечно. Откуда ж у нас шелковый какой-нибудь первый сорт, если двое детей? И Любочка с работы ушла, потому что Ио-

сиф болезненный, а от него и Ганнуся цепляет болячки. В садике не уследят. А родная мать уследит.

Лаевская уселась на табуретку, обвела взглядом наше хозяйство.

Любочка начала предлагать угощение в виде чая с вареньем, но Лаевская улыбнулась и поплыла своими телесами в коридор.

Вернулась с полной торбой.

Выложила на стол гостинцы. Сало, несколько банок домашней тушенки, примерно кило морковки, бурячка штуки четыре, мешочек с рябой фасолью. В особом свертке — шоколад. Не плиткой, а тяжелыми кусками, черный, твердющий.

Сказала:

— Шоколад — деткам вашим. И Любочке, конечно. Ей как матери тоже надо. Это от Евы. Воробейчик. У нее такой ухажер завелся, такой ухажер... Он достал. Ну, сейчас неважно. Важно, что до вас дошло. До вашего стола, так сказать.

Люба поблагодарила. Я только надеялся, чтоб не расплакалась. Мы ж не голодом сидим. Сыты.

Говорю Лаевской:

— Спасибо вам, Полина Львовна, от всей души. А за шоколад вы не волнуйтесь. Все до крошечки достанется детям. Могу вам расписку дать. Мы с Любочкой подпишемся.

Лаевская головой качнула. Даже не всей головой, а только лицом.

— Зачем вы меня хотите обидеть, Михаил Иванович... Да еще при Любочке, святой женщине. Ну, я на вас не в претензии. У вас и работа тяжелая,

и все остальное. И мне тяжело. Если б вы только знали. Да вы ж знаете. — И Полина Львовна снизу заглянула мне в глаза. Как она умела. По-особому. — Извиняюсь, что поздно пришла. Но только сию минуту приехала. Так в грузовике тряслась, думала, душу растрясу, не говоря про банки-склянки. Из Остра — прямо к вам. Пока гостинцы не заветрились. Знаете, из рук в руки. Тут и Довид передал, и товарищ его, Зусель Табачник.

И за локоть меня тронула. Вроде невзначай, как обычно у нее. А током пробило.

— Как там братики нашего Ёсенки? — Люба стала убирать со стола банки и мешочки. Заметно, что старалась не спешить. Но спешила. Я ее глазами осаживал, но она ничего не могла с собой сделать.

— Дети чувствуют себя хорошо. Окружены со всех сторон заботой. Родной дед — не шутки. А про Бэлку вам не интересно?

Люба встрепенулась.

— Ой, конечно, интересно. Нам в Халявин далеко добираться. Тем более зимой. Но мы с Мишей собирались поведать. Да, правда ж, Миша?

Я ответил честно:

— Нам сейчас не до Бэлки. Хоть она и больная, и несчастная. Мы дите спасаем. И спасем.

Лаевская опять кивнула лицом:

— Ага. Спасаете. Правильно. И люди тоже так считают. А Бэлка совсем плохая. И себя не узнает. Твердит одно: «Евсей не убивал, Евсей не убивал». Что она такое имеет в виду, никто понять не может.

Наблюдается навязчивый бред. Так врачи говорят. Я уже там, в больнице, промолчала, а сама так думаю, ясно ж, как на ладони: Бэлка имеет в виду, что Евсей сам себя не убивал. Именно это она и говорит. Да, смириться с самоубийством, с безответственным поступком отца детей — это вам не фунт изюма. Вот она и помешалась. А вы как думаете, Михаил Иванович? Вот вы работник органов. А я же вижу, вы со мной совершенно согласны. И если кто-нибудь этот вопрос поднимет, люди ж болтают, вы знайте, что именно таким образом слова Бэлки я и растолковываю всем, кто интересуется. И вот еще что, радость у меня. Евочка Воробейчик приезжает в Чернигов на постоянно. И Малка с ней. Евочка на словах просила передать: Михаилу Ивановичу большой привет и наилучшие пожелания. Не сомневайтесь, вы окружены благодарностью. Со всех сторон окружены. И Зусель за вас Бога молит. Вам это, конечно, смешно, но, я думаю, хуже не будет. Тем более он по своей инициативе. Вы ж ни при чем. А он пускай молит. На пару с Довидом. И детей учат. Ну и ладно. В школу пойдут — школа их выровняет на правильную дорогу. Все. Пошла я. У меня есть время. Не всегда, но выбрать можно. И дом хороший, теплый. Вы, чтоб себе дать отдых, можете ко мне деток приводить на побывку. Или я сама приду — заберу их — и гулять поведу, и покормлю, и помою. Я умею. У меня своих трое было. Трохи постарше ваших. Девочки, между прочим.

И так радостно она про своих убитых детей сказала, вроде они сами собой выросли и от нее

уехали в далекие края. А она теперь вместо них — наших просит во временное пользование.

Любочка тут не выдержала — прослезилась.

— Спасибо. Спасибо, Полина Львовна. Без дела, конечно, мы вас не затрудним. Но в крайнем случае — конечно. Спасибо.

Лаевская обняла Любочку, аж Любочки моей стало не видно.

Я пошел провожать. Предлагал полностью до дома. Но Полина Львовна решительно отказалась.

Я ее провел через самое темное место — через переулок до площади, и она начала прощаться.

Ответил в ее же духе:

— Спасибо и до свидания.

Она рукой помахала прямо в мое лицо. Как туман перед собой разогнала.

Я пошел быстро. Но оглянулся. Лаевская стояла на месте. Не смотрела мне вслед. Стояла себе и стояла. Смотрела под ноги. В снег.

Любочка не могла заснуть. Спрашивала, как нам отблагодарить Полину Львовну.

Я заверил, что специальной благодарности не требуется. Люди помогают людям. Так в войну было. Так и сейчас. Если специально долго благодарить, становишься в унижительное положение. Вроде и не рассчитывал на человеческое тепло. Надо просто быть людьми. И если Лаевской понадобится наша помощь вплоть до крови, надо кровь сдать.

Такой пример успокоил Любу.

Теперь про Евсея. Дело открыли и тут же закрыли — очевидное самоубийство.

Но болтовня Лаевской наводила на разные мысли. Я сопоставил ее разные заявления неприятного толка, и получалось, что она катит на меня бочку. Катит и катит. Катит и катит. И сама не знает, что катит и для чего.

Будем откровенны. Я не забыл свою неудавшуюся поездку в Остер. После моего возвращения из Рябины — прямо на похороны Евсея — я не заметил со стороны Довида никакой заинтересованности в разговоре со мной, помимо тем детей и Бэлки. Если у него что и было на уме — так пропало в результате семейной трагедии. Зусель — не в счет. Дуркó.

Когда мы оформляли документы на Иосифа, Довид все подписал моментально. Благодаря моим связям дело прошло скоренько. В общем, теперь меня с Басиным ничего не связывало. Ну, родные братья Иосифа при старике. И что? Мало ли в войну раскидывало детей по разным семьям? Что ж, теперь одну семью со всех раскиданных собирать и вместе мыкаться?

Я самостоятельно не раз думал над смертью Гутина. И получалось, что ничего не мог придумать путного. Жил Евсей честно. Весь на виду. Бэлку любил. Детей тоже. На работе на хорошем счету.

Не скрою, радовало меня, что он себя убил в мое отсутствие. Я как оперативник понимал,

что если б я в ту минуту был в Чернигове, меня затаскали б по допросам. Замучили бы рапортами. Я б оказался главным толкователем поступков лучшего друга. А с кого спросить, как не с меня?

Вот именно! С кого спросить?

31 декабря я сказал Любочке, что уезжаю по службе в район, а сам отправился в Халявин — в психбольницу.

Главный врач Дашевский Юлий Петрович встретил меня хорошо. И сам казался с приветом. Улыбался без перерыва. Про Бэлку сказал утешительное, что она сама себя не чувствует. Что ей в своем состоянии спокойно.

Я поинтересовался:

— Может она поправиться?

Дашевский заверил:

— Не может.

Я настаивал:

— А бывали подобные случаи?

Юлий Петрович подумал и ответил:

— Подобное случалось. Вот был у нас до войны такой пациент — Штадлер. Он немного потом пришел в себя. Хоть врачи сначала считали, что случай безнадежный. А теперь почти вменяемый гражданин. Кстати, к Бэлле наведывался. К ней вообще много посещений. Если учитывать специфику заведения. Отец, естественно. Штадлер. Лавевская Полина Львовна. Молодая женщина, интересная — Ева Воробейчик. Еще какой-то чело-

Дознаватель

век — наш возможный пациент, я вам как врач говорю, точно когда-нибудь с ним встретимся. Фамилию уточню, если надо.

Я спросил:

— Пританцовывает этот ваш будущий постоялец? Вроде молится по-вашему на ходу?

Врач насторожился:

— Как это — по-нашему?

— По-еврейски. Сами знаете.

Юлий Петрович смущенно буркнул:

— Ну да, конечно.

— Не надо уточнять. Табачник его фамилия. По паспорту. А на самом деле — черт его знает. Такой тип — всего можно ждать.

Врач поддакнул:

— Вот именно, вот именно.

Бэлка гуляла по двору. Поверх серого байкового халата на ней была кое-как напялена фуфайка, на голове теплый платок, коричневый, с белесой каймой. Валенки без калош.

Меня не опознала.

Я не настаивал. Повесил ей на руку, на сжатый кулак, сетку с гостинцами — булка, конфеты-подушечки. Погладил по плечу.

Конфеты в кульке Бэлка почему-то сразу различила. Сказала:

— Подушечки? Мои любименькие. Как там Евсею ложится? Мягко ему?

Я вытащил конфету и подал ей прямо в чуть-чуть открытый рот.

Маргарита Хемлин

Она пожевала и, довольная, подтвердила свой вопрос:

— Мягко ему ложится. Мягко.

До наступления Нового года оставались часы, надо было успеть нарядить елку для детей.

Разговаривать некогда. И не с кем. Бэлка — пустое место. Пустей, чем Евсей сейчас в гробу на подушечке красного кумача.

Я думал: вот все хотели знать, включая первым счетом следователя, — какая причина самострела Гутина? Я дело читал. Тонюсенькое. Когда самоубийство — всегда тонюсенькое. Там русским языком зафиксировано: «Вследствие ряда причин состояния здоровья». И приложены справки.

Здоровье у Гутина было неважноецкое. Последствия ранений и контузий. Это да. Боли головы.

Он мне не раз говорил:

— Так башка трещит, невозможно описать как. Может, застрелиться?

Я ему говорил:

— Ты сам себе хозяин. Захочешь — застрелишься.

Смеялись по поводу такого выхода.

Он обязательно прибавлял:

— Нет, Миша, когда я детей делаю, мне моя голова больная не мешает. А как жить — так стреляйся? Нет. Буду жить. А что? Буду — и точка!

Я знал — голова ни при чем. Но следователю именно про голову рассказывал. Чтоб семью в по-

кое оставили, не терзали вопросами под протокол. И чтоб пресечь разговоры вокруг и около.

А разговоры все равно пошли. Я и с Довидом уговорился держаться крепкой версии про состояние здоровья. И Бэлке внушал — она тогда еще находилась более-менее в себе.

Твердила:

— Да, конечно, он устал терпеть, я сама видела, как он терпит. Но все-таки ты, Мишенька, мне скажи, только мне, почему он так с нами поступил?

Я ее осадил:

— Запомни раз и навсегда. Когда человек стреляется или еще как, он не с теми, кто остается, поступает, он сам с собой поступает. И ты в его дела последние не лезь. Самозастрел — это есть его последнее личное дело.

Значит, не засело мое объяснение в Бэлке. А другое засело. Кто-то в нее внедрил что-то, что в ее бабских мозгах все перепуталось окончательно и вышло через ее рот, как фарш из мясорубки: «Евсей не убивал».

А если по-другому спросить. Кого Евсей не убивал? Себя не убивал? Или другого не убивал? То есть, может, кто-то считает, что Евсей кого-то убил, или он на самом деле убил, а Бэлка считает, что Евсей не убивал. Евсей не убийца. И именно потому, что он есть не убийца, а есть напрасно обвиненный кем-то в убийстве, он и застрелился.

Или именно он и есть убийца чей-то и от раскаяния сам себя убрал. То есть лично спустил концы в воду.

А кто-то еще додумается, что Евсея убили. Не он себя убил. А кто-то его это самое.

До страшных вещей додумаются люди, если начнут рассуждать. Я имею в виду, рассуждать без крепкого базиса.

А то, что имело место в конечном счете самоубийство, — факт не только следственный, но и в первую очередь медицинский, и какой угодно — по всем правилам. Не подкопаешься.

А Бэлка теперь протестует в своих поврежденных мозгах против обвинений Евсея в неизвестном убийстве. Она не только от факта мужниной смерти повредилась, а от того еще, что он мало что себя убил, так и кого-то.

А люди ж к ней ходят. Ездят даже издалека, прикладывают труд, чтоб послушать больного человека. Люди ж рассуждают.

И кто ходит? Лаевская. Зусель. Довид. Штадлер без языка. Евка Воробейчик.

И сам подбор имен продиктовал мне — снова на свет вышла убитая весной женщина. Лилия Воробейчик.

И в ее убийство скорее всего некоторые упомянутые товарищи замешивают имя Евсея. Вроде он убил, а я, капитан милиции Цупкой Михаил Иванович, как верный соратник, дело прихлопнул.

Вот они и ходят. Сначала мое имя трепали. Не получилось. Взялись за Евсея.

Правда, Довид все-таки тесть. Но он всем известный как слишком упертый и принципиальный по отдельным вопросам.

Дознаватель

И что особенно досадно — сначала Моисеенко, артист погорелого театра, теперь Евсей.

Не выдерживают люди. Не выдерживают. А должны выдерживать. Мы такую войну выдержали. А тут на ровном месте не могут жить. Не хотят. Нежные.

Я листал память в обратном порядке и делал один вывод за другим.

Первое. Все они — посетители Бэлки в сумасшедшей больнице — заодно.

Второе. Что есть это ОДНО?

Третье. Самое ясное — в корне лежит покойная Воробейчик.

Вот главное. Вот корень. И этот корень болел у меня лично во всех моих зубах сразу. Болел, а в каком именно зубе наверняка — я не знал.

Но ничего. Надо по зубику. По зубику. Молоточком простучивать, до главного и добраться. Потерпеть придется. Но я и не такое терпел.

Дома Любочка без меня украшала елку. Честно говоря, заканчивала. Дети помогали. Подносили нехитрые украшения. В основном — бумажные. Но яркие и красивые. Еще когда Ганнуса только появилась на свет, Любочка решила каждый год ставить елку. И сама делала игрушки. Копила серебряные бумажки из чайных цыбиков — редкость, конечно, но за четыре года игрушек с нее получилось достаточно для праздничного вида. В несколько таких бумажек, которые собра-

лись за текущий год, Любочка придумала красиво обернуть кусочки шоколада — из того, что принесла Лаевская. Про шоколад она шепнула мне, чтоб дети не услышали. Это главный гостинчик, который мы разместили на ветках в самом низу, когда дети отправились спать. У них же главное — утром 1 января наступившего года. Когда подарки надо посмотреть под елкой. А у взрослых — в самую новогоднюю ночь. Утром же взрослым, понятно — ничего нового, кроме другого номера года. Только и помечтать, что ночью.

Праздновали мы с Любочкой на кухне. Лежали потом на моей раскладушке так тесно, как один единый человек.

И тогда Любочка мне призналась, что ждет ребенка. В самом начале, но ждет. И спросила, как я отношусь.

Я сказал, что отношусь со всем сердцем, хорошо и радостно. Несмотря на грядущие трудности.

Любочка пошла в комнату — теперь она там спала с Ганнусей в одной кровати, а Ганнусину бывшую занимал Иосиф. Я минутно пожалел, что не буду находиться всю ночь в такой торжественный для семьи момент рядом с женой. Но интересы ребенка — имею в виду Иосифа — требовали для него удобств. Этой мыслью я себя успокаивал и таким образом крепко заснул.

Утром дети грызли шоколад. Ганнуса оделась в новое платье — Любочке принесла знакомая

Дознаватель

от своей подросшей дочери. Иосиф играл с медвежонком: красного цвета, вельветовый, с черными бусинками в виде глаз. Я купил в магазине. Дороговато, конечно, но мальчику нужна радость. Причем специальная. Новая. Хотя он и не делает разницы — новая игрушка, старая. Но взрослые ж понимают. Мне хотелось, чтоб у Иосифа было все новое.

Мы с Любочкой заранее без слов договорились, что нам с ней подарков не надо. А она таки мне подарок сделала! Как говорится, из себя достанет, а сделает мужу радость.

Год начался хорошо. Уверенно.

А когда думали, что зима пройдет без крупных детских болезней, с Иосифом что-то стало не так. Мы с Любочкой сидели всю ночь у его постели. Лучше ему не делалось.

Вызванная «скорая помощь» поставила диагноз: у мальчика жар, железки за ушами припухли. То есть свинка. Откуда? Как? Непонятно. Всегда непонятно, вот в чем вопрос.

Необходимо изолировать. Любочка и сама понимала, что нужно. И не только от Ганнуси — наша дочка еще эту детскую болезнь не переносила. Но и от себя самой, потому что Любочка не знала точно, болела ли сама, а спросить уже не у кого. Если она подхватит инфекцию, будущий ребенок в утробе может затронуться болезнью.

Но врачам сказала решительно — нет. В больницу мальчика не отдаст.

Врач уехала. Кажется, еврейской нации женщина. Это к слову.

Я уговаривал Любочку поместить Иосифа в больницу. Без толку. У нее присутствовал страх, что в больнице доктора залечат мальчика. Ясно. Влияние убийц в белых халатах.

Тогда я сказал:

— Ты отвлекись от беспокойства. Рассуди здраво. Ну, допустим, там есть убийцы. Но они против своего хлопчика действовать не будут.

— Он не их. Он наш. Наш Ёсенька.

— Ну фактически наш. Но все ж в городе знают, что мы его от Гутиной взяли.

— А вдруг кто не знает. Новенький или как.

— Ну, если новенький, сразу увидит, что хлопчик обрезанный. Еврейчик, значит. Его и не залечат.

Люба вроде соглашалась, но больше на словах, а в глазах у нее я читал другое. «Не отдам» — вот что читал. А там и до Бэлки не далеко.

Надо сказать, что она и раньше Иосифа выделяла среди детей Евсея и Бэлки. И Ганнуса тоже. Он с синими глазами, каштановыми кудельками, при улыбке. Понятно — женщина всегда готова мечтать про такого сыночка.

Когда встал вопрос про усыновление, я не сомневался в Любочке. Я только удивлялся, как настолько можно прикипеть к чужому. А она таки прикипела. И теперь у нее в животе, может, уже находится свой собственный хлопчик, и даже скорей всего не хуже Ёси и по внешности, и по всему, а она

своим дитем готова рисковать ради, будем откровенны, приемыша.

Я в отчаянии хотел ей так и выразить свои чувства. Но сумел взять себя в руки.

Говорю:

— Ладно. Вот настал крайний случай. Лаевская предлагала, если что, взять к себе на время детей. А тут всего одного. Правда, больного. Но разницы нет. Я к ней убедительно обращаюсь. Она не откажет.

Люба после быстрых раздумий согласилась.

Сам не знаю, почему я приплел Лаевскую. Тем более в больнице еврей-убийцы, и Лаевская тоже, будем откровенны, еврейка на все сто. Сидела она у меня в голове, я и бовкнул. И тут же пожалел. А назад дороги нету.

Люба воодушевилась. Попросила меня сбегать к Полине Львовне, согласовать, упросить.

Я быстренько пошел к Лаевской.

Срезал дорогу, как только мог. Жила она в районе Пяти Углов. От Коцюбинского далековато, но это значения не имеет.

Полина Львовна хозяйничала. Губы без нарисованного бантика, волосы растрепанные. Но в шелковом халате с драконами. И тапочки тоже шелковые, красные. Да еще и на каблучке рюмочкой. Я ее машинально рассмотрел всю, хоть мне плевать.

Говорю с порога, без «здрасьте», без ничего:

— У нас с Любочкой беда.

Она аж присела. Нашарила рукой венский стул, подволокла к себе. Плюхнулась.

— Дети?

— Да, Полина Львовна. Иосиф. Заболел, а в больницу никак нельзя. Люба категорически против. А хлопчика надо сильно изолировать от Ганнуси и от самой Любы. Она беременная, есть риск заразы. Примите к себе. Я дам средства, договорюсь с врачами, чтоб ходили к вам. То есть к нему. Сам буду ходить и ночью с ним сидеть. Вам только площадь предоставить.

Она спокойно ответила:

— Да. Сейчас поедем и заберем мальчика. С врачами я сама договорюсь. У меня клиентка есть. Не откажет. Детский врач. Но почему в больницу нельзя?

Я не соображал, что ответить. Непростительно замялся.

Выдавил из горла:

— Понимаете, Полина Львовна, время такое. Люди напуганы. Есть к тому основания, обсуждать не будем. Но факт налицо. Вы ж сами газеты читаете.

Она подняла голову и оттуда, вроде с недостижимой для меня высоты, глянула на меня. А я возле двери и стоял на весь свой рост. Но она умудрилась сверху вниз на меня зыркнуть. Зыркнула и остановилась на моем лице. Помолчала.

Потом тихонько с присвистом и говорит:

— А, ну конечно. Там же ж эти, как их, в белых халатах. Евреи. Как же. Знаю. Не волнуйтесь, Ми-

хаил Иванович, дороженький. То врачи. Они ж обученные жизни лишать. А я и не врач, и никто подобный. Я сама мамашей была. Еврейской мамашей. Я, можно сказать, просто еврейка без халата. Без белого, по крайней мере. Вы ж цвета хорошо различаете? Какой на мне?

Она погладила себя по расшитому шелку от груди вниз и на толстой ляжке сжала пухлый кулачок.

И этим пухлым своим кулачком припечатала:

— Что, сгодилась жидовка?

Я без обиняков ответил:

— Сгодилась. Когда ребенка спасаешь, все сгодятся.

Она отвернулась. Так резко, что стул от натуги скрипнул.

И голос ее, другой, не гадский, каким она обычно ко мне обращалась, сказал:

— Да. Когда детей спасаешь — все сгодятся. Все.

Лаевская собралась в момент. Она — на автобусе, как раз подъехал к остановке по пути, — к Любочке, я ловил машину, чтоб транспортировать Иосифа с Коцюбинского на Пять Углов.

Когда ехал домой за мальчиком и Лаевской, подумал, что спорол горячку. Можно было из дома отвезти Иосифа в больницу, а Любочке сказать, что к Лаевской.

Но тут же понял — номер пустой и он не пройдет. Любочка захочет проведать, хоть разок —

и что? Нет, я поступил правильно. Жалел, что в порыве выдал Любину беременность, но в целом — правильно.

Лаевская все сделала, как обещала. И я — как обещал.

Решили с ней, что приходить буду не каждый день и смотреть на мальчика издали, чтоб самому на всякий случай не явиться переносчиком заразы.

Лечение шло хорошими темпами — как положено в природе подобных вещей.

Усиленное питание, лекарства, уход Лаевская взяла на себя. Я, конечно, собирался все до копейки ей вернуть из ближайшей полочки.

Она так и сказала:

— Отдадите. У меня пока хватит. Не хватит — у Евочки возьму.

Имела в виду Еву Воробейчик.

Я машинально спросил, чем занимается Ева, откуда у нее доходы на новом месте, устроилась ли она на работу.

Полина Львовна в двух словах описала, что Ева пошла на обувную фабрику, туда, где работала Лиля, и даже заняла ее место на конвейере.

Я кивнул:

— А, тоже «кашу» на колодку намазывает. И что, густая «каша» или, как всегда, комками с трухой выше нормы?

Лаевская не упустила:

— Откуда вы, Михаил Иванович, знаете, что Лилечка «кашу» намазывала?

Я промолчал. На провокационные вопросы отвечать нельзя. Никогда нельзя. Мало ли, откуда я знаю. Я, между прочим, много чего знаю.

— Вы, Полина Львовна, если забыли, так я вам напомню, что я лично следствие вел по делу Лильки. И на фабрике бывал. И с коллективом говорил. И весь рабочий процесс смотрел. И заготовки с конвейера в руки брал, запачкаться не боялся.

— Что вы, что вы! Я вас задеть не хотела. Сказалось и сказалось. Евочка тоже много с товарищами Лилечки беседует. Они ей много чего рассказывают как сестре покойной. Вам не интересно? Могу поделиться. Или Евочка сама вам расскажет. Не хотите?

Чтоб пресечь ненужные продолжения, я сказал:

— Когда время придет, сам спрошу. И она мне как миленькая выложит. И коллектив еще раз опрошу, если сочту нужным.

Лаевская вытянула руки вверх и руками замахала. Рукава халата задрались высоко. Я заметил, что руки от локтей вниз у нее еще больше потолстели и немножко обвисли. Она руками часто при разговоре трясла по-всякому. Не заметить было невозможно. Да, женщина уже не молоденькая. А хорохорится. Жалко ее, а что сделаешь.

Мысленно отвлекся на секунду.

А Лаевская гнула свою линию:

— Ой, что вы разозлились, и Лилечку грубо вспомнили — «дело Лильки»! Она вам не Лилька, а Лилия Соломоновна Воробейчик, убитая преступным образом на дворе собственного жилища среди белого дня. — Начала вроде шуткой, а закончила плохим тоном. Плохим.

Я строго взглянул на нее и предложил:

— Полина Львовна, вы на фоне больного ребенка находитесь. Давайте про ерунду не отвлекаться.

Она тут же переменяла лицо, начала рассказывать про Иосифа.

Прощались душевно. Я пообещал явиться через день, но если что, немедленно просил сообщить мне по рабочему телефону.

Лаевская кивнула в сторону бумажки, заткнутой за трельяж, там был записан мой рабочий телефон:

— А как же, помню, помню. Не волнуйтесь.

Заходил я к Полине Львовне с раннего утра, а в обед раздался звонок. Но не от нее.

Звонила Ева Воробейчик.

— Михаил Иванович, ой, приезжайте скорей, объяснять некогда, скорей!

Я даже не спросил — куда ехать? Понял — к Полине Львовне.

Наш хлопец на мотоцикле подкинул в момент.

Дознаватель

Забегаю в хату — там целое сборище. Зусель Табачник, Довид, Ева Воробейчик, Малка Цвинтар. Галдят по-своему.

Я крикнул поверху них:

— Всем молчать! Где ребенок?

Они замолчали, как застреленные.

В тишине заговорила Ева:

— С ребенком все в порядке. Он спал. Сейчас, наверно, уже не спит, играет. С ним Полина Львовна.

Вступил Довид:

— Евка, молчи, дура! Тут твоего дела нету. Я — законный дед мальчика. А вы все никто. Я буду говорить.

Я понял, что особо страшного, то есть смертельного, здесь ничего нету. Потому успокоился.

Посоветовал и остальным:

— Ну, говорите, только по очереди. Я сейчас на хлопчика гляну и выслушаю.

В комнате, где находился Иосиф, сидела Полина Львовна. Она мирно шила какое-то изделие. Мальчик на кровати, обложенный подушками, чтоб не упасть на пол, игрался с мишкой. Увидел меня — обрадовался. Схватил мишку своего за лапу и резко кинул вверх в знак приветствия. Я подскочил в нужном направлении, поймал. Перекинул мальчику. Он тоже поймал.

Я, хоть и нарушил инструкцию против карантина, обнял Иосифа, расцеловал.

Полина Львовна тихонько сказала:

— Это я попросила Еву вас вызвать. Идите к ним. Я тут побуду.

Я вернулся в комнату.

Сел за стол. Положил перед собой руки. Крепко положил, ладонями впечатался. С демонстрацией, конечно.

Говорю:

— Ну, давайте. Слушаю. Но предупреждаю похорошему. В доме хворый ребенок. Имейте в виду.

Довид выступил вперед.

И тут я сообразил, что они все передо мной выстроились в ряд. Смешной вид получался.

— Что вы построились в ряд, присаживайтесь. Сидячих мест хватает. Присаживайтесь, Довид Срулевич. И вы, товарищи, тоже занимайте места.

Никто не двинулся.

Довид начал:

— Я тут на правах ближайшего кровного родственника. Я — дед Иосифа. Вы, Михаил Иванович, пользуясь отчасти своим служебным положением, отчасти моим бедственным состоянием в связи с трагической гибелью моего зятя и болезнью моей родной дочери Бэллы, присвоили себе моего родного внука Гутина Иосифа. И теперь вместо того, чтоб его лечить, как всех советских детей, заперли его в доме Лаевской Полины Львовны. Я на вас буду жаловаться и требовать обратно своего внука.

Я выслушал доклад Басина. Чистый бред сивой кобылы. Согласно покивал, рукой погладил вязаную скатерть. Прошелся пару раз пальцем вокруг узора.

Говорю:

— Еще что-то хотите добавить, Довид Срулевич?

Басин молчал.

— Тогда следующий. Кто следующий? Может, вы, гражданин Табачник?

Зусель молчал. Переминался с ноги на ногу, губами шевелил, но про себя, не на внешнюю сторону.

— Хорошо, следующий. Гражданка Воробейчик? У вас что?

Ева молчала. Смотрела мне прямо в глаза без мыслей, без выражения.

— Тогда остаетесь вы, гражданка Цвинтар, кажется?

Но Малка тоже молчала, руки под фартуком на животе сложила и молчит, как пробка. Шатается, а молчит.

Я разозлился.

— Да садитесь вы, цирк тут устраиваете! Прямо клоуны-акробаты. А ну сесть! Всем сесть!

Так гаркнул — эхо отскочило от самого потолка.

Заплакал Иосиф. Выскочила Полина с шитьем в руках.

Расселись кто где. Но кругом меня образовали пустоту. Как нарочно. За столом я один.

Евка — подоконник подперла задом за моей спиной. Зусель — у меня перед лицом, на табурет-

ке возле печки. Довид — рядом с ним на маленькой скамеечке.

Малка пробелькотела:

— Ой, мне плохо. Я немножко ляжу. — И свернулась на топчане.

Полина ушла к мальчику. Ничем своего удивления и прочего не проявила. Только глянула, как все утомонились. Довольная, кивнула мне и ушла.

— А чтоб никому не было плохо, не надо поднимать гвалт. Чего вы сюда приперлись? Если из-за того, что говорил Довид, так это ерунда на постном масле. Езжайте, откуда приехали. Если еще что-то, выкладывайте. Но времени у меня нету, чтоб с вами балакать. У меня время — рабочее. Служебное. Ну?

Тогда заговорила Ева. Я специально на ее голос не повернулся всем туловищем, а только чуть-чуть настроился ухом.

— Довид сначала к вам домой пошел, а там Люба ему сказала, что хлопчик тут. Он — сюда. Тут Полина Львовна. Она меня отправила вам звонить.

Я уже терял терпение:

— Понятно. Зачем тут вся мишпуха? Ну, Довид — ладно. Хоть и бред. А Табачник? А вы с Малкой? Вы что, обязательно хоровадом ходите? По одному, как люди, двигаться не способные?

Довид говорит:

— Мы за своим пришли.

Я закричал, невзирая на обстоятельства:

— Кто это «мы»? Вы поименно назовите, Довид Срулевич, кто это «мы»! Поименно! У нас коллективные жалобы не принимаются.

Довид назвал. Причем загибал пальцы по ходу:

— Я — раз. Зусель — два. По поручению Бэлки. От ее, значит, имени. Уполномоченные. Это три.

Я развернулся к Евке:

— А вы, Ева, входите в дальнейший счет или как?

Ева говорит:

— Нет. Я — против. И за Малку отвечу. Она тоже против.

Я встал и подошел к Малке. Она делала вид, что дремлет. Я тронул ее за плечо — вежливо.

— Малка, вы за или против?

Она разлепила глаза и что-то загиркала.

— Довид, переводи.

— Переводить не обязан. Тут не допрос.

Спрашиваю с нажимом:

— А что ж тут такое делается, люди хорошие?! Не допрос! Хотите допрос — будет допрос! Приходите в чужой дом скопом. Тут больной ребенок, до вас не касающийся. Устраиваете погром. Меня с работы срываете. Жену мою перепугали, наверно, до смерти...

И тут меня как громом ударило: Любочка сейчас мечется, а я тут болтовню развожу с помешанными.

— Что вы Любе наговорили? Довид, отвечай живо!

— Ничего особенного я ей не сказал. Сказал, что приехал за Иосифом. Она закричала и упала. Я ей водой в лицо побрызгал, она встала. И на меня с кулаками. Я ее не осуждаю. Я ее крепко за руки прижал и спросил, где мальчик? Ганнуся ваша сказала, что он у тети Полины — больной. Я с Зуселем — сюда. Тут Евка с Малкой вокруг хлопца крутятся, помогают...

Я не стал слушать дальше, бросился к Любочке. Пока добрался, сто раз себя проклял.

Люба лежала на кровати. Сама белая. Глаза закрытые. Ганнуся рядом на полу. Спит. Уткнулась лицом в кулачки и спит.

Я сначала Ганнусю растряс. Она подняла лицо — заплаканное, сопливое. Потом Любу окликнул тихо. Она не подала голоса, а только застонала. И на низ живота себе показывает.

— Посмотри, я сама боюсь смотреть. Посмотри. Там мокро. Там, наверно, кровь.

Ну да. И кровь, и все такое.

Любу срочно в больницу.

С Ганнусей наперевес — бегом к Лаевской. Решил Довида с Зуселем немедленно пристрелить. Или голыми руками придушить. Но их и след простыл.

Евка с Малкой трутся кругом Иосифа.

Лаевская куда-то ушла, они толком объяснить не могли. Я попросил приглядеть за Ганнусей до вечера.

Дознаватель

Евка вышла со мной на двор.

Я схватил ее за руку:

— Головой отвечаете за моих детей.

Ева согласно кивнула и скривилась.

— Конечно, Михаил Иванович. За Довидом в Остер поедете или как? Если поедете, так я тоже. А то там хлопчиков доглядеть надо будет, если вы Довида заберете. А Зуселя не трогайте. Он помешанный. Но то уже ваше дело.

Я посмотрел на нее.

Про Любу не объяснял. Не тот человек Евка, чтоб ей объяснять. Я сразу понял, что не тот. Как только у калитки когда-то вместо Лильки приметил, так и понял.

Побежал к Любочке в больницу.

Врач меня успокоил. Но условно-досрочно, как говорится. Ребенка не вернешь. А Любочка очухается.

Пожилой врач, всякого насмотрелся. Ему легко говорить.

Я сказал первое, что пришло в голову, чтоб хоть как-то показать, что держусь, а не разнюнился:

— Это хорошо, товарищ доктор. Хорошо.

Он отвечает с мягкой улыбкой:

— Хорошо-то хорошо, но детей скорей всего у вас с вашей женой не будет. Есть у вас сейчас еще дети помимо?

— Есть. Дочка.

— Ну и растите дочку.

Повернулся и пошел по своим делам.

Я в уме аж встрепенулся. А Ёська? Почему я про него доктору не сказал?

И в спину кричу, как в атаку кинулся с голыми руками:

— Двое у нас, двое!

Доктор повернулся и руками помахал в мою сторону:

— Да вы успокойтесь. Двое так двое. Одна так одна. С недельку вашу жену подержим тут и выпьем.

Зашел на работу. Отпросился на пару дней за свой счет. Вид у меня был такой, что не спрашивали.

А я не рассказывал.

Ходил к Любе каждый день по три раза, сидел, пока санитарки не выгоняли.

В перерывах — к Лаевской. Ганнуся у нее безотрывно. Просилась в больницу к маме, но я не брал. Объяснил, что у мамы простуда и карантин.

Опасность заразы от Ёски ушла, и Ганнуся игралась с ним в разные игры.

Я не забыл про Довида со всей его шатией. Не злился. Только не забывал ни на минуту.

Любочке сказал одно:

— Если мы сейчас не постановим между собой, что произошло случайное происшествие, так мы никогда в себя не придем. С Довида легче все-

го вину на Ёську перекинуть. А мы не будем. Не будем перекидывать. Довид и сам не виноват. Он же не знал, что ты в положении. Я б его в два счета засадил. Не хочу. А ты хочешь?

— Нет. Хочу, чтоб все опять было на месте. Вот что я хочу. А Довид обратно мне ничего не впихнет. Хоть сажай его, хоть что.

— Правильно рассуждаешь. Кроме того, ты и сама могла упасть, и от машины на улице шарахнуться, и тяжелое поднять. Значит, оно там у тебя не сильно держалось. На волосинке. Да? Если б сильно крепко держалось, ничего б и не было. Правда, Любочка?

Она на каждое слово кивала.

— Да, Мишенька, значит, держалось не сильно. Мне и женщины такое советовали думать. Я такое и думаю. Мы еще родим. Мы молодые. Тут женщины и под сорок лет лежат. Еще рожают.

Я понял, что у меня теперь есть тайна от Любочки в связи с тем, что я знал, а она не знала. Мне как мужчине доктор сказал. А ей, наверно, по медицинским правилам, знать не положено. Насчет дальнейших детей.

Это меня даже окрылило. У Любы оставалась надежда. А куда — как-нибудь.

Болезнь Ёси вылечилась. Наша семья опять воссоединилась. Я ушел с головой в работу. На моем пути не встречались ни Лаевская, ни Евка, ни прочие. И повода не было их встретить.

Я получил письмо от Диденко из Рябины. Он описывал свое пошатнувшееся здоровье и переслал привет от слепого Петра. Спрашивал также, нет ли у меня сведений про Зуселя.

Они все настолько сидели у меня в печенках, что я аж плюнул на такое письмо с дурацким вопросом. Старику развлечение — про Зуселя выспрашивать, а мне нервы.

Отвечать намерения не имел. Не люблю пустых разговоров в любом виде, особенно в письменном. По профессии известно: что написано пером, не вырубишь уже ничем.

В смысле внутреннего душевного самочувствия Любочка была плохая. Часто плакала, конечно, не напоказ, а в уголке где-нибудь. Заикалась про то, что снова пойдет на работу, хотелось быть рядом с коллективом и в нем затеряться со своими думами. Я запретил ей мечтать про работу, настроил на то, что у нас целых двое деток и им нужна мать дома, а не ударница труда на производстве.

Люба вся отдавалась детям. Неминучие царапинки превращала в трагедию. Я как-то пошутил, чтоб она относилась спокойней — дети без синяков не растут.

Она сказала в ответ, что синяки проходят, она знает, но когда она детям синяки и ранки мажет, ей вроде представляется, она себя изнутри замазывает, чтоб внутренняя зараза дальше в ней не шла.

Я поинтересовался: какая зараза и при чем здесь дети?

И тут мне Любочка говорит:

— Когда Ёся был у Лаевской, они ему тайную заразу внутрь подсадили. Ему ничего, а нам, кто с ним рядом близко, может быть инфекция. Потому надо мазать. Не для того чтоб с внешней стороны через царапину зараза не прошла, а чтоб изнутри через кровь не вышла.

Уточняю:

— Ну, хорошо, допустим. А твои внутренности при чем, что ты их вроде мажешь и прижигашь?

Люба мне таинственно ответила, что она как раз и заразилась. И потому ко мне близко старается не подходить и прочее, чтоб как-то эту заразу мне не передать.

Я последнее спросил:

— А у Ганнуси уже есть?

Люба заверила, что нету. Только у нее, у Любы. Но Ёшеньку она обожает и будет терпеть всю жизнь и еще больше за ним следить.

Тогда я припер ее к стенке:

— Ладно, допустим. А я как же? Что ж ты мне раньше не сказала?

И тут Люба мне высказала главное свое сообщение:

— Тебе ничего не будет.

— Почему не будет, чем я лучше вас?

— Ничем.

И долго посмотрела на меня.

И призналась:

— Мне Довид, когда приходил Ёшеньку отбирать, сказал буквально: «Твоему мужу после

Лильки Воробейчик терять нечего. Лаевская думает, есть что ему терять, а я так говорю: нечего. А тебе, Люба, есть что терять. У тебя Ганнуся. А Ёська отравленный. Вы его мне поверните назад». Вот я думала-думала, всю больницу думала, и теперь еще додумываю его слова.

В общем, бред, если не хуже. Почему «после Лильки Воробейчик»? При чем она? И без врача понятно: пережить огромную трагедию — крайне тяжело. Надо поправляться. Надо сильно отвлекаться от жизни. На природу, на речку, на птиц, на животных. Дети свое возьмут. Сами будут расти и Любочку за собой потянут. И вытянут. Мы страну вытянули после огромной войны. А пара деток одну бабу не вытянут?

Хоть и понимал: материнское сердце — особое дело. Дело, так сказать, выделенное в особое производство природой.

Денежное положение не позволяло допускать курорты и здравницы. А потребность стояла остро.

Подумал и принял волевое решение: Любочку с детьми отправить именно в Рябину. Все-таки там моя родина. А лучше родины нет ничего для боли.

Планировал разместить их на жизнь в хате Диденко. От весны по осень включительно.

Написал. Получил ответ. Радостное приглашение хоть на всю жизнь.

Отправил своих в начале мая.

И тут, конечно, на моем горизонте появилась Лаевская. Не считаю, что случайно. Скорей всего как-то узнала, что я один.

Причем в дверь постучала тихонько, поскреблась даже. Но я открыл и сделал вид, что ей рад.

— Что, Михаил Иванович, кого-то ждали, что сразу открыли? Я тихонько. Без надежды. Звоночек у вас слишком громкий, я помню, так я постучала легко-легко. Чтоб не тревожить ни деток, ни Любочки.

Без приглашения зашла в комнату, притворно осмотрелась:

— А... Вы в одиночестве. А где ваши?

— Нету их. Поехали на отдых.

— А куда поехали?

— Полина Львовна, поехали далеко. Отсюда не видно. Будем откровенны, не ваше дело. Извините, но точно не ваше. Садитесь, пожалуйста. Я вам окажу гостеприимство. Чай с вами попью. Вы нам большую помощь сделали — сына вылечили через знающих специалистов. За это — спасибо. А так, в остальном — сами понимаете, говорить мне с вами тяжело. И в связи с поступком Довида, и вообще.

— Понимаю. Понимаю и еще раз понимаю. И не обижаюсь. А я давно собиралась Ёсеньку проведать. Про Любочку молчу, раз вам неприятно. А хлопчик мне родной. Знаете, после болезни, которая прошла на твоих собственных руках, чужие дети становятся своими. А что касается Довида, так он находится в своей правоте: может, если б тогда не поспешили Ёсеньку вам переписать по за-

кону, так теперь Довид его вам ни за что не отдал бы. Ну, не буду вас нервировать. Вы за стол уцепились, аж косточки побелели. Думаете, вы один переживаете. И я переживаю. В стране такое происходит. Одно горе на другом. Товарищ Сталин умер, и все такое. Шатается все. Буквально все. А хочется ж человеку за что-то держаться. Правильно?

Надо признать, Полина Львовна говорила правильно. И тихонько, и красиво, и ласково.

Но я ее прервал:

— Хватит. Не хотите чаю, а наливки у меня нету. Я никого больше знать и помнить не имею сил. Ни вас, ни Довида, ни Евку Воробейчик с ее прихвостнями. За прошлое — благодарность, а будущее оставьте мне в покое.

Лаевская расплылась в улыбочке:

— Да-да, конечно. Будущее — оно самое-самое главное. Всё ради будущего. Кто спорит. Не знаю, для чего, но вы, Михаил Иванович, вдруг Евку Воробейчик вспомнили. И я вот только что в голове у себя наткнулась на мысль. То есть на память пришло. Когда на Стрижне разлив был, в середине апреля уже, хлопчики возле госпиталя под Белым мостом игрались. Я как раз там гуляла с Евочкой. Так вот. Хлопчики игрались, возле воды ковырялись палками. И один — нож нашел. Прямо нашел. Мы глянули — а нож Лилькин. У Лильки такой точно был. Он, конечно, попорчен водой и грязью. Но — Лилькин. И нашли его рядом с Лилькиным домом, через мост. Я подумала, а вдруг вам пригодится такое сведение? Нож

у меня. Мне его хлопчик уступил за деньги. Знакомый мне, между прочим, недалеко от покойной Лили живет в хорошей трудовой семье. Батька его, кстати, Хробак Сергей Николаевич, знакомый Евочки. И такой, знаете, знакомый, что в ней души не чаёт. По-соседски, конечно, но сильно.

Я удивился:

— И не жалко вам, Полина Львовна, кидать на ветер грóши? Нож ржавый перекупили и хвастаетесь. И с чего вы взяли, что это Лилькин нож?

— Не Лилькин, а убитой гражданки Воробейчик. Я к вам домой пришла, чтоб вам официально в кабинете неприятностей не доставлять. Это же орудие убийства, а вы плохо, значит, искали. А я нашла. Я нашла и точно утверждаю, что это нож убитой гражданки Воробейчик. Потому что в ее доме, где в настоящее время проживают прописанные там сестра и тетка покойной, находятся еще два точно таких ножа. И кто их в свое недалекое время изготовил — я знаю. И к тому мастеру я найденный мной с помощью Тарасика Хробака, несовершеннолетнего хлопца, нож носила и лично показывала без лишних слов. Сказала, что хочу такой заказать, а принесла для образца, не обращая внимания на грязь. И мастер свой нож узнал. А раз вам все равно, так я ухожу. Но вы не думайте, Михаил Иванович, дорогой. Я на вас не обижаюсь. Ни за ваше поведение насчет меня, ни за другое. Скоро годовщина, как нету Лили. А тут нож. Одно к одному. До свидания. Привет Любочке и детям.

Я Лаевскую не задерживал.

Она на прощанье помахала мне рукой в черной перчатке. Тоненькая, вся в дырочках. И перчатка — на правой руке, возле большого пальца, с тыльной стороны, — порезана. И длинно порезана. Неприлично для такой женщины, как Лаевская.

Полина Львовна на порез взглянула и говорит весело:

— Ой, и перчатку испортила тем ножом. Быстро схватилась за лезвие. А гипюр же тоненький. Трофейные перчаточки.

Ушла. А я подумал ни к селу ни к городу. В середине апреля холодно было. В гипюровых перчаточках не разгуляешься. Тем более Лаевская. У нее на каждую погоду есть. Может, она специально перчатку испортила, чтоб приплести к месту нож? Или хранила ножик давно, а теперь только предъявляет?

Если я чему и радовался в ту ночь, так только одному: сон есть. И я спал. И мне ничего не снилось. И сердце не кололо. И ничего меня не кололо. И на проклятый лаевский нож, а также на ее немецкую перчатку мне было наплевать и забыть.

Я работал на своем посту самоотверженно. Меня никто не мог упрекнуть в недобросовестности. А тут Лаевская своим ножичком меня таки пырнула.

Во сне не чувствовал, а утром дошло.

Как раз воскресенье.

Отправился к ней с одним намерением: изъять возможное вещественное доказательство.

По-хорошему, без лишних бумажек и протоколов. Конечно, нарушение. Но мы ж люди.

И вот я к ней явился.

И кого там вижу — Ева меряет платье. И ни стеснения, ничего.

Лаевская вокруг нее крутится, ведет свои бабские разговоры, мне только бросила:

— Подождите, Михаил Иванович, на кухне. Или на улочке, солнышко греет, порадуйтесь свежему воздуху.

Я повернулся, чтоб совсем уйти.

За спиной Ева громко ойкнула:

— Надо ж, наметка распустилась!

Полина закудаhtала, Евка смеется как резаная. Я помимо воли оглянулся.

Евка стоит в одной тоненькой комбинации и не платье поднимает, а волосы свои рыжие пушит. И волосы — совсем как у пострадавшей Воробейчик.

На улице я рассудил, что сердиться не надо. Женщины. Не имели в виду меня обидеть.

Крикнул в раскрытую дверь:

— Ну, можно?

— Можно, можно, — в один голос разрешили Евка и Полина Львовна.

И вот они обе на меня смотрят и ждут. Что я скажу.

Говорю:

— Полина Львовна, я к вам по важному делу. Ева сейчас уходит?

Евка вскинула голову:

— А чего вы у Полины Львовны спрашиваете? Вы у меня спросите. Я вам отвечу. Не ухожу. Целый день буду на подхвате. Мне к завтрашнему утру платье надо готовое.

Полина засюсюкала:

— Да. Не смущайтесь, при Евочке любые вопросы можно. Вы ж ко мне не женихаться?

И столько в ней обнаруживалось вместе с дурацким вопросом вредности, что я назло ответил:

— А если женихаться, так что?

— Тогда не знаю. Вы меня смущаете, Михаил Иванович. Вы шуток не понимаете, я давно отметила. Ну, зачем пришли, дорогенький?

Я не сомневался, что вопрос с ножом надо решать один на один.

Полина Львовна вроде прочитала мои мысли:

— Насчет ножика. Так, так, не иначе. Насчет ножика Лилечкиного. Не стесняйтесь. Мы с Евочкой рядом шли по бережку, она полностью в курсе.

Я молчал. Плохо подготовился. Плохо. Нервы не те.

Сказал:

— Мне на ваш ножик начхать. У меня и так в деле Воробейчик полно доказательств. Убил известно кто. Роман Моисеенко. Не в том гвоздь. А в том, что вы позволяете себе собирать кругом себя кодро. Настоящее кодро. Мою жену довели до изнеможения. Например.

Лаевская сплела толстые руки на груди. Как памятник. Не сдвинешь.

— Ну. Дальше.

— А дальше то, Полина Львовна, что я свой долг знаю. А вы свой не знаете. И всех путаете. Ваш долг в том, чтоб сидеть ниже воды и тише травы.

Полина Львовна выкатила глаза, а также сложила губы бантиком. Краснющим, жирно намалеванным.

— А-а-а, как заговорил! Держался-держался, и на тебе! Евочка, золотко, иди домой. Сама доделаю.

Ева вылетела как ошпаренная.

Я проводил ее глазами.

Полина хихикнула:

— Что, нравится? И не вам одному нравится наша Евочка. Ну ладно. Ножик я вам не отдам. Я вчера передумала. Сохраню себе на светлую память про Лилечку. А что вы так разволновались? Раз Моисеенко убил, Моисеенко и заплатил самоубийственной кончиной. К тому же вы сильно лично к сердцу принимаете служебные дела. Это мне Лилечка как родная. А вам — никто. Никто ж? Говорите — никто?

Я сказал:

— Откровенно — никто. Пустое место. Но служба есть служба.

Полина рассмеялась и сбросила руки с груди. Как камень с себя освободила.

— Наливочки выпьете? Мы с Евочкой выпили по рюмочке. По наперсточку. С Лилей все понятно. Тут вы безусловно правы. А ножик, что я на-

шла, — так и бог с ним. Вам ни к чему. И без ножика понятно все. А вот с Гутиным темное дело. Я в Остер ездила. Довида проведать. Как-то мы с ним сошлись характерами. То-се. Жизнь свое берет. Вы ж сами когда-то хотели меня за него соватать. Помните?

— Помню. Вы тоже на меня не сердитесь, Полина Львовна. — Я сделал вид, что поверил. Полина сделала ответный вид, что веру мою приняла на свой счет. — До свиданья. Всего хорошего.

Полина радостно ответила:

— Ага, до свиданья, до свиданья. Вы представляете, Михаил Иванович, Довид придумал, что это вы Гутина застрелили. Именно и лично вы. Я так смеялась, так смеялась...

Я замер столбом.

— Вы что, все совсем с ума посходили?! Меня в городе не было. И близко не было. При чем я?

Полина раскраснелась, даже капельки пота выступили над краснющим бантиком:

— Да. Именно посходили все. И мелют языками, и мелют. И я не удержалась. Ну я ж, вы знаете, как к вам отношусь. Нашло такое... Туман... Туман... А Довид на полной серьезности. Не говорит, а утверждает. И Зусель ему поддакивает. А что вы бледный такой? Вот что значит без жены — без взаимной заботы. Идите-идите. Выходной, погода хорошая. Мне платье дошить надо. Вы ж слышали, как сильно надо. У Евочки завтра решительное свидание. Годы ж летят.

Лаевская на меня не смотрела, подбирала с пола лоскутки, катушки, кидала на стол.

Кидала и приговаривала тихонько, как бабка-шептуха:

— И режут, и режут, и порют, и порют, а мне шей и шей, шей и шей, дурни ненасытные.

И стало мне ее жалко, что она на Довида позарилась по-женски.

Говорю:

— Держите язык на привязи. Только из-за хорошего отношения и благодарности за Ёську вам такое советую. Но и благодарность имеет свои границы. Согласны?

Зыркнула исподлобья, как раз поднимала с пола лоскут. Кивнула.

А на словах добавила:

— И не рассчитывайте. И не рассчитывайте ни за что и никогда. Я молчать не буду. А не буду, потому что мне скрывать нечего и выгораживать некого.

Как только прикрыл калитку, принял решение идти к Евке Воробейчик. Нахальная девка. Без стеснения. Ее близкое знакомство с Лаевской давало мне возможность хоть кое-что поставить на место.

Будем откровенны. Полина со своей кодлой и идиотскими намекающими шуточками мне стала поперек горла. А надо дальше жить.

Так как в настоящее время я успокоился за семью, появились силы на новые действия без особых церемоний.

Воскресный день располагает к слабости. Это я и намеревался использовать.

Евка моему визиту не удивилась. Напротив, сразу повернула дело так, что засыпала вопросами.

— Вам Полина Львовна про ножик все рассказала? Интересно, кто его в Стрижень кинул? Вы как считаете? Вы ж теперь нас в милицию вызовете под протокол? И хлопчика? Чтоб вы знали, Тарас Хробак его зовут.

— Ну что вы, Ева Израилевна, глупые вопросы задаете.

Евка надула губы.

— Мое отчество Соломоновна. Как у Лили, между прочим.

— Ну ладно, какая разница. Извиняюсь. В воду нож кинул преступник. А может, совсем сторонний. Это если вообще речь про тот нож, который нужно. Ну, допустим: прохожий нашел, например, на улице нож, а там кровь, он испугался и в воду кинул. Бывает. Что вы улыбаетесь? Вот если кто видел сам факт убийства, причем именно ту минуту, когда вашу сестру кололи и она упала, и кто ее убивал, и что именно этим ножом — тогда другое дело. А пока — ну, нож, ну, допустим, орудие именно убийства. Но он же из воды. Следов на нем нету. Отпечатков. Кровь, если она и имелась, смыло к черту. Так?

Ева кивала.

— А если так, толку мало. Тарас Хробак нашел нож? Полина говорила. Может, придумала?

Ева напустила на лицо задумчивость.

В доме тишина. Только часы тикают.

Я для разрядки говорю:

— Часы хорошо ходят? Точно?

— Хорошо. А я по часам не живу. Я по будильнику живу. Зазвенит — живу. Как с утра заживу — так и дальше.

Лицо у нее стало горькое.

— Так что, Ева Соломоновна, гражданка Воробейчик, когда нож нашли? Или у хлопчика спросить? Я и батьку его знаю лично. А Полина намекнула, вы Сергея Николаевича тоже лично знаете?

Ева вздрогнула. Будто будильник прозвенел.

— Знаю. А что? Он вдовец. И я свободная от всего.

— Свободная — не свободная, не человеку самому решать. Когда нож нашли?

— В середине апреля. Точно числа не помню. Солнце началось. Помню. Хлопчики там игрались. Палками землю ковыряли на берегу. Полина Львовна испугалась, чтоб кто-то из них не упал в речку. Скользко. Грязюка. Мы ближе подошли. Полина сделала им предупреждение. Они трохи отбежали по направлению к нам, где последняя свая моста. Куда мусор сваливают. Полина к ним спустилась, что-то говорила, опасность объясняла. Тут Тарасик нож и нашел.

— А Полина?

— А Полина мне наверх крикнула: «Смотри, нож, как у Лилечки».

— Сразу так и узнала? Он в грязюке, ржавый к тому же, наверно?

— Я на него не смотрела. Страшно стало. Даже затошнило. Я не спустилась. Полина с Тарасиком поторговалась, грóши ему дала. Я слышала. Говорит: «Вот на кино и ситро с мороженым. У тебя старшие все равно нож отберут, а от грóшей польза». Он деньги взял. Нож отдал. Она его в ридикуль положила.

— Грязный, мокрый — в сумку? У Полины сумочка лакированная. Я видел. Синяя. Не с кошелкой же она гулять отправилась.

— Лакированная. Она в шарфик свой завернула. Шарфика не пожалела. «Ради Лилечки», — сказала.

— Не пожалела, молодец. И что, шарфик намок? Вы видели, какой шарфик стал после того, как она нож в него запхала?

— Я на нож не смотрела. И как она в шарфик заворачивала — не видела. Я отвернулась вообще в другую сторону. У меня слезы, если понимаете положение мое на ту минуту. Я знаю, что был шарфик, а потом не стало. Горло открытое. Я спросила, где шарфик? Полина сказала, что в него завернула нож.

— Значит, как такового ножа вы не видели? И что он был один к одному с оставшимися в неприкосновенности Лилиными, вы утверждать не можете?

Евка молчала. Смотрела за окно. У нее там сирень. Сильно пахла. И на столе ваза с сиренью тоже. Белая и лиловая.

Я для отвлечения заметил:

— Что ж вы сирень рвете, у вас за окном цветет, надолго хватит, а вы рвете. Не понимаю женщин. Поставят и любят. Любуются.

Ева неожиданно засмеялась:

— Ой, Михаил Иванович, правильно про вас Полина Львовна намекала, что вы на женщин действуете. Не обижайтесь. Вы сильно симпатичный.

Я только спросил:

— С Хробаком у вас серьезно?

Ева солидно ответила:

— Конечно. Я не какая-нибудь. Сильно серьезно. Тарасику нужна мать. А я — чем не мать? Может, своих рожу. Лилька детей не любила. А я люблю.

Поинтересовался про Малку.

На что получил разъяснение: Малка в Остре при Довиде. Евка им уступила свою хибару, там они и живут: Довид, Зусель, дети и Малка.

Я быстро среагировал:

— Полина Львовна, кажется, надеется с Довидом свою дальнейшую жизнь устроить? У нее жилищные условия получше. Возьмет Довида в примаки. Зря он поторопился гутинский и свой дом за тьфу сбавить. Состояние такое у него тогда было. Будем откровенны. Хоть, наверно, копейку имеет. Дядька хваткий. А Малка, может, и за Зуселя пойдет в вашей остерской хате на просторе. У вас теперь и тут жилье, и в Остре. Богатая невеста. Хорошо. А?

Евка серьезно ответила:

— Да, хорошо. Удачно получилось.

Все время нашей беседы Евка сидела за круглым столом. Облокачивалась на край, отталкивалась, всячески ерзала на месте. Особенно разглаживала вязаную скатерть. Оттягивала концы вниз. Я даже посмотрел, немножко внутрь взгляд запустил — вдруг что-то под столом прячет? Ничего.

Стол точно из моего сна про Лилию Воробейчик.

Я шел от Евки и думал. Что это мероприятие мне дало? Много дало.

Фактически ножа Евка не видела. Со слов Полины она его вроде признала. Тем более сквозь слезы и так далее. Но мог быть и посторонний нож. Даже распространенный способ в случае необходимости дурить голову. Полина могла абы какой ножик взять, подкинуть хлопцам под ноги, обратить их внимание, чтоб они его вроде самолично нашли. Потом его выдурила у малого Хробака и наверх, к Евке, поднялась, имея в сумочке этот фиктивный нож. Показывать Евке она его, по правде, и не собиралась. Наплела б с три короба, а не показала. А Евка в голове б у себя отпечатала, что видела. Обычное дело. Но, может, у Полины и был настоящий нож в сумочке. Заранее лежал.

Тут вопрос на ее сообразительность.

Полина заранее не знала, что встретит хлопцев возле воды. С другой стороны, где хлопцам крутиться в разлив, как не у Стрижня?

Ножи, которые имелись у пострадавшей, были тщательно пересчитаны и обмеряны. И в протоколе записаны. Вот в чем дело. А Полина намека-

ет, что нож у нее тот, из хозяйства Воробейчик. Причем с подтверждением мастера. Откуда она его взяла? Выходит, в речке и правда был нужный нож, и он правда попался под ноги Хробачонку. В ту самую минуту, как Полина с Евой прогуливались под ручку наверху по Белому мосту.

Ну, не бывает такое. Не бывает.

Или все-таки у Полины не тот? Или тот? Но взяла она его как раз с места убийства. И временно прятала у себя. А тут и выдала сведения. Ровно почти через год. Гадость такая.

Я немедленно вернулся к Евке. Пересмотреть ножи.

Калитка оказалась закрытая изнутри. Я таранил, кричал, чтоб Евка пустила.

В ответ — ни звука.

Обошел хату с тыла. Постучал в окошки. Одно, которое в комнате, укрытое сиренью, открыто.

Я подал голос:

— Ева, откройте, я к вам как милиционер обращаюсь. Срочно надо.

Никто ничем не ответил.

Я перелез через подоконник. На кухне долго и без страха шарил по ящикам. Между прочим, помнил, где тогда нашли ножи. Ни одного ножа, похожего на те, которые я помнил: большие, тяжелые, надежные. Ни единого похожего не нашел. Новые — лежали. Ручки желтенькие блестели. Дерево хорошее. А сталь так себе. Переклепанная из раннего чего-то. Потрогал пальцем — наточены

крепко. Так только мастер точить умеет. Баба не сделает подобную работу в домашних условиях. Новенькие ножи.

Я твердо расположился на табуретке в углу — ждать. Раз калитка изнутри на засове, раз окно открытое, значит, выбежала задом на минутку. Явится — я ее и спрошу по-хорошему про режущие-колющие предметы.

Минут через пять слышу — дверь открывается, в хату кто-то входит. Со смехом причем.

Узнаю голос Евки. И мужской. Смутно знакомый.

Евка говорит:

— И представляешь, он меня сюда пытать пришел. Прямо пытает и пытает. А я ж вижу, бесстыжими глазами меня ест. И под стол посмотрел. Знаю я, как мужики под стол смотрят. На коленки мои смотрел. Сережа, ну какой нахал! Думает, если я незамужняя и интересная, так всем можно на мои коленки смотреть.

Мужчина разборчиво засмеялся:

— Ха-ха-ха!

Ева частила:

— Он как смотался, так я к тебе. Высказать возмущение. Заодно пригласить. Ты ж скромный. Без приглашения не будешь. — Тут Ева неприятно хихикнула. — У меня ж условия. А у тебя по-вернуться негде. Бабка, дед, всё слышат, всё носами чуют. Ты ж рад? Сейчас кушать будем. У меня готовенькое все.

И на кухню. Ко мне то есть.

Стала на пороге как вкопанная.

И мужчина за ее спиной обнаружился. Хробак Сергей Николаевич.

Хробак Еву отодвинул и вышел наперед:

— А он и не ушел. Или как?

Хробак смотрел на меня, вроде на вошь. Вследствие своей должности начальника потребсоюза. Но мне начхать.

Говорю:

— Я по служебной необходимости.

Хробак строго сказал:

— По служебной необходимости в дверь стучают. А воры, например, через окна сигают.

Я возмутился:

— Но-но! Я при исполнении, а вы меня оскорбляете. У меня вопрос к гражданке Еве Воробейчик. А вас назначаю понятым при этом.

И к Еве обращаюсь без лишних слов:

— Где старые ножи, которые остались от вашей сестры гражданки Лилии Воробейчик?

Ева вся покраснела. Плечи у нее выпирали из шлеек сарафана, так и они пошли пятнами. Не говоря про лицо и так далее.

— Какие ножи? При жизни Лили были старые ножи, хорошие, но старые. Я как сюда приехала, ни одного того ножа не нашла. Мы с Малкой специально удивились, зачем милиции все стоящие ножи забирать. Нет, точно заявляю, путных ножей не было. Так, огрызки всякие. Ржавые, поломанные, маленькие — картошку чистить. Я новые хорошие купила. На базаре. Приехала сюда и купила. Спроси-

те у Малки. Она хвалилась себе под нос, что будет у нас кошер, а не как у прошмондовки Лильки.

Я уточнил:

— Малка называла покойную пострадавшую прошмондовкой? Почему грубость такая?

Ева пожала плечами:

— Она ее сильно недолюбливала. С детства. А прошмондовка — так у Малки все прошмондовки, кто без свадьбы это самое. Тем более налево и направо.

Да. Хорошие намеки со стороны родной сестрички.

Хробак приблизился ко мне и взял за плечо.

А я сижу как ни в чем не бывало.

Говорит:

— Больше нету вопросов?

Я медленно поднялся. И руку его скинул только после того, как встал на весь свой рост — а так придерживал своими двумя пальцами его ладошку. Я выше на целую голову. Вот когда моя голова стала выше его, я хробаковскую ладошку вежливо и скинул.

— Вы, гражданин Хробак, руки не распускайте. Вам руки еще пригодятся. Не лишние. А вопросов больше на сегодняшнюю минуту у меня к гражданке Еве Воробейчик нету. А если будут — я ее в отделение милиции вызову. Повесткой. Как всех советских граждан. До скорого свидания.

Они меня проводили молчанием. Вроде почетный караул.

Я шел и насвистывал. И вдруг заткнулся на выдохе-вдохе: ржавым ножиком из воды, который почти год лежал на дне, в тине, перчаточку гипюровую не разрежешь ровненько. Да и никак не разрежешь. Порвать клочками — можно. И то если зацепить и тянуть. А разрезать по линейке — ни за что.

Тут жадность Полину подвела. По линейке потом и зашить незаметно можно. По ниточке. А если в клочья — не зашьешь. Хоть убейся. Наглядности она хотела. Наглядность ее и подвела. Палку она перегнула, вот что она допустила. Перегнула.

Я не терял ни минуты и отправился к Полине.

От ее калитки как раз отходила женщина. Солидная. Заказчица. Угадала мое направление и рассказала, что Полина Львовна только что с чемоданом уехала. В гости к родственникам. По большому маршруту. В Киев, потом еще куда-то. Заказчица сама ей помогала вещи вынести на улицу. А тут ее, между прочим, такси подхватило.

«Уже на вокзале, наверно, вещи в поезд заносит».

Я посмотрел на часы. Никакого поезда на Киев в это время не было. И зачем нормальному человеку поезд? Автобусом или на пароходике «Крупская» по Десне. Они чаще ходят. И приятней.

И стало мне так нудно на душе и всюду внутри... Гоняться за бабой — на вокзал, в речпорт. И опять услышать от нее брехню.

Нет.

Пошел в свой пустой дом. По дороге купил бутылку водки.

Дома открыл. А не пил. Заткнул газетной затычкой. Долго сидел на балконе, смотрел вдаль.

Сильно проступила тревога и любовь по отношению к моим родным — Любочке, Ганнусе и Ёське включительно.

Тем не менее, несмотря на усталость и душевные нагрузки, во мне постепенно вырисовывалась новая версия смерти Воробейчик Лилии Соломоновны.

Моисеенко со своей напускной любовью отступил далеко с первого плана.

Подозрительно вели себя, во-первых, Полина Львовна Лаевская, во-вторых, сестра покойной — Ева Соломоновна Воробейчик.

Что касается Евки, тут ясно. Дом в наследство. И другой — родительский — в Остре. С покойной делить не надо. Все захапала одна.

А Лаевская какой гешефт имеет от смерти своей закадычной подружки?

На простой взгляд — никакого гешефта и пользы. В денежном и финансовом выражении. А лично для души? Может, Лилия Лаевской дорогу перешла по мужской части? Или наоборот. Полина у Лилии отбила жениха. По возрасту они несравнимые. Лилия значительно моложе и интересней. Но чего не бывает. Недаром Пушкин писал в стихотворной форме: любви все возрасты подчиняются.

Я ругал себя последними словами. Давно надо было со всей серьезностью прощупать Лаевскую. И Евку. Но столько случилось лишнего! Евсей Гутин, Ёська, другое. Про семью не буду. Тем более — дело закрыто.

А оно открыто оказалось. И из него сквозняк дует прямо на мою голову. Ды́хать не дает.

Если б Моисеенко остался живой. Их бы троих — Лаевскую, Евку, артиста несчастного — вместе слепить, тогда б заговорили одновременно. Даже один наперед другого. Но нету Моисеенко. Ничего он не расскажет теперь. Значит, как нас учили старшие товарищи, надо по шовчикам прощупать тех, кто пока еще живой. Мертвых не поднимешь.

А может, найдется ниточка и к Евсею. Чувствовалось, потянется обязательно. Аж руки резало. Недаром Лаевская без усталости к любому намеку привязывала Гутина.

Назавтра с самого утра рабочего времени в рай-отделе я столкнулся с Хробаком.

Поздоровался.

Он не ответил. Твердо шел к двери в конце коридора — к начальнику.

Я задержался. Проследил непринужденным взглядом в спину Хробака.

Он распахнул дверь смело, слышался голос секретарки-машинистки с приветствиями как знакомому и уважаемому посетителю. Побежала докладывать.

Тут же и начальник объявился с приветствиями.

Грюкнула дверь.

Тишина. Только Светка застучала на машинке с показной скоростью.

Понятно. Хробак с жалобой. И жалоба как раз на меня. Евка накрутила.

Я сказал хлопцам, что уйду по срочному делу. Встреча с сексотом.

Мне надо было хорошо узнать, кто такая Лаевская. Помимо внешности. В деле ее показания находились в порядке. Но кроме года и места рождения, прописки и паспортных данных, стояла темнота.

С этой самой темнотой я отправился к Штадлеру.

Вениамин Яковлевич встретил меня без радости. Но выслушал с вниманием и ответственностью.

Я задал один главный вопрос. Кто есть Лаевская Полина Львовна? Помимо анкеты.

Он засмеялся выбитыми зубами. Я увидел половину его языка. Естественно, ту, что уцелела. Неприятно, но в целом нормально. В первый раз увидел ясно. Потому что он никогда при мне не смеялся. А тут закатился. Аж до икоты.

Крупно написал на бумажке: «Страшная женщина».

И руками показал, обрисовывая необъятную грудь.

Писал дальше, а я читал через плечо: «Долго жила в Остре. Оттуда переехала в Чернигов. Сразу после войны. Сватали вдовцы сильно в возрасте. Отвергала. Искала молодого. Дура».

Штадлер закончил писанину.

Я оценил данные как ерунду.

Говорю:

— И все? Обыкновенная баба с сиськами? Ты мне анекдоты пишешь, а мне сведения нужны. Ну, давай, Вениамин Яковлевич. По-хорошему. По-сознательному. По-большевицки. По старой памяти. Ну, не знаю, как еще тебя вразумлять, чтоб ты понял. Надо! Надо позарез!

Штадлер развел руками.

На самом деле мне от Штадлера достался целый клад. Лаевская жила в Остре. И Воробейчики оттуда. В паспорте у Полины город рождения — Шклов. Прописка черниговская. Сама она про жизнь в Остре не заикалась. Ни к чему было. А теперь и к чему.

Я по роду своей деятельности давно выучил: может быть все что угодно. За исключением отдельных совпадений, которые ни в какие ворота не лезут. Но и такие случаи в принципе возможны. Надо их только отрабатывать с особой непредвзятостью.

Трудность для меня состояла в том, что дело Воробейчик, как закрытое, не требовало больше моего участия. Командировки я просить не мог.

Потому составил следующий план.

Взять за свой счет отпуск на несколько суток. Даже на рабочую неделю. Под видом того, что еду навестить в Рябину семью. Хлопцы и начальство в курсе Любочкиных трудностей со здоровьем. И наконец дело Лилии Воробейчик закрыть ко всем чертям. Вплоть до полной ясности.

На работе меня подкарауливала Светка-секретарка.

Она прикрикнула на меня, вроде я стажер:

— Где вы ходите в период рабочего времени? Вас начальник хочет видеть срочно.

Я ее осторожно посторонил с пути. Знал, какая срочность приспичила начальству. Подполковник Свириденко Максим Прокопович известен своей склонностью к срочности. Особенно как чарку пропустит.

Улыбнулся и с этой улыбочкой дернул дверь кабинета на себя. Прямо себе в грудь.

Светка голосила мне в самый затылок.

Свириденко сидел за столом и крутил телефон. На меня не посмотрел.

Гавкнул в трубку:

— Докладывать каждый час! Ты меня знаешь!

Шваркнул трубку на аппарат и только тогда поднял голову на меня.

— Ну что, Цупкой, доскакался козлом? Доскакался!

— Раз вы, товарищ подполковник, утверждаете, значит, доскакался.

— Садись.

Я сел.

— Есть сведения, что ты ведешь себя вразрез с социалистической законностью. А проще говоря, лезешь к посторонним бабам. Руки распускаешь на все стороны. Оскорбляешь уважаемых людей. Используюешь служебное положение. Превышаешь власть. Короче, дергаешь нервы народу. Общественность требует принять меры. Оправдываться будешь? Или сразу учтешь и больше подобного не допустишь?

Я согласно кивнул и вытянулся в струнку от спины до головы. Но с места не поднялся.

— Так точно. Не допущу.

— Ты хоть знаешь, кто на тебя жаловался? Тебе хоть понятно, до чего ты докатился?

— Знаю, и все мне очень сильно понятно. Жаловался Хробак. И понятно мне, что против Хробака лекарства нету. Или у вас есть, товарищ подполковник?

Свириденко вздохнул.

— Нема. Против бандитов есть. А против товарища Хробака нема. Что там было по правде?

— Ну, трохи нарушений было. Самовольно проник в хату к одной бабе. Искал вещественные доказательства. Она вертится как змеюка. Случайно получилось. А Хробак ее любовник. Он меня застукал и за бабу свою вступился. Рук я не распускал. Наоборот. Он первый меня за плечо схватил и подверг унижению.

— По какому делу работаешь?

— Дело старое. Закрытое уже. Воробейчик. Убийство. В прошлом мае. А баба Хробака — сестра убитой.

— А-а-а. Понятно. И что тебе еще надо? Главный подозреваемый на другом свете отсюда. Никто не сомневается, что он и есть убийца. Чего ты опять копаешь?

Я сдержанно пообещал:

— Впредь не повторится.

Свириденко забил решительный гвоздь в разговор:

— Ото ж. Иди. И больше не грехи. А то Хробак весь город на ноги поставит, такую тебе исповедь устроит, никакой поп не разберет.

— Есть, товарищ подполковник. Допустил глупость. Мальчишество. Устал. Прошу шесть суток отпуска за свой счет. Поеду проведу семью. Вы мои обстоятельства знаете. Рапорт писать?

— Пиши. Выговор тебе объявляю без занесения. Чтоб Хробак заткнулся. Но ты учитывай. Рядом с домом той бабы не появляйся. Обходи за километр. Что сейчас на тебе висит?

— Ничего особенного. Недельку терпит. Кража. Разбойное нападение. Дело ясное. Приеду — в суд передам. Виновные признались полностью.

— Давай дуй к своим.

Против Светки я прошел с топотом.

Она тряхнула перманентом.

Прошипела:

— Сил нету от вас, товарищ Цупкой. Поведение у вас идиотское.

Это меня задело. Сильней, чем выговор без занесения.

Я к ее столу куцому приблизился на опасное расстояние и в лицо ей в ее манере прошипел:

— Ой, Светка-Светлана, дойдут у меня и до тебя руки.

Она хихикнула своим противным образом. Но осталась довольная.

Разговор со Свириденко она, конечно, подслушивала. Теперь все отделение будет обсуждать мои происки к посторонним бабам. Пускай считают, что в этом и есть корень. Светка постарается раздуть факт до неузнаваемости. И даже хорошо. Лучшего прикрытия цели и искать не надо.

В темноте этого же дня в мою домашнюю дверь осторожно позвонили.

На пороге стоял Штадлер. За его плечами кто-то мялся возле стенки. В неважном свете лампочки я рассмотрел Зуселя.

Штадлер пропустил вперед себя Зуселя, потом втерся в дверь сам.

Я закрыл дверь и показал рукой, чтоб шли на кухню. Как раз у меня был ужин. По-холостяцки. Холодная вареная картошка, сало, луковица, хлеб с улицы Пушкина, наш, не завозной. Конечно, чай.

Обратился к обоим:

— Что случилось? Диверсанты в синагоге? — Шутка хоть и невеселая, но как-то начать надо, чтоб они сразу узнали свое место. — Докладывайте быстренько. Времени у меня нету. Устал. Ну?

Зусель молчал, крутил головой, как всегда, в грязном картузе. Хоть я немедленно отметил в его образе участие женской заботы. Пиджак с туго пришитыми пуговицами, штаны приглаженные, ботинки на честном слове, а со шнурками. Малка — ясно.

Штадлер из кармана брюк достал тетрадочку, точеный химический карандаш, слюнить по своему обыкновению не стал, выписывал насухо.

«Я есть свидетель при Зуселе Табачнике и при вашей дальнейшей беседе. Я ни при чем. Инициатива Зуселя. Слушать будете или уходить? Мое мнение — лучше б вам послушать».

И зачем-то подписался полной фамилией. Вроде мне предстояло эту бумажку подшивать к делу. Листок вырвал ровно. Значит, не нервничал. Гад.

Я нарочно читал медленно, хоть сразу охватил полностью все слова и смысл.

Дочитал. Бумажку положил на стол, под тарелку с салом и луком.

Штадлер хотел забрать, но я не разрешил.

Своими начальными словами адресовался к Зуселю.

— Гражданин Табачник, что вы мне имеете сообщить, лучше сообщите завтра на моем рабочем месте под протокол. У меня не артель кустаря-на-

домника. У меня милиция и закон один для всех. Понятно?

Зусель поправил картуз и посмотрел на Штадлера.

Штадлер замахал руками.

Я понял — немедленно и бесповоротно надо послушать.

Так я и собирался, но милицию и закон упомянуть был обязан. Действует на людей.

Сел за стол. Пригласил и посетителей присаживаться. Спросил, будут ли пить чай.

Штадлер кивнул. Зусель отрицательно помотал головой.

— Понимаю, кошер. Уважаю ваши религиозные чувства, гражданин Табачник. Главное, чтоб в свое мракобесие вы не втягивали молодое поколение. Так? Так. Ну, слушаю.

Штадлер опять достал тетрадку и показал жестом, что может записывать. От записи я отказался.

— Если что стоящее — успеется.

Тут я осознал, что допустил промашку. Не спросил, по какому делу. Вроде заранее знал, по какому именно.

Ошибку тут же исправил.

— По какому делу? Может, личное? Или общественное? Или уголовное?

Штадлер спешно замотал руками, вроде не имеет понятия.

Зусель прошамкал:

— Дело важное. Оно все вместе. Кубло. Чистое кубло.

Зусель показал следующее.

Он себя делегировал ко мне с целью избавиться от неприятностей Довида Басина. Басин от горя и невзгод, вызванных безвременной смертью зятя — Евсея Гутина — и болезнью дочери — Бэлки, — дошел до полного нервного изнеможения. Так, Басин Довид Срулевич утверждает, что в смерти его зятя виноват товарищ Цупкой Михаил Иванович. А Бэлку в больнице для психических тоже силой удерживает тот же товарищ Цупкой. Товарищ Цупкой же взял в свой дом младшенького внука по имени Иосиф в виде заложника, прикрываясь усыновлением. Чтоб Басин молчал как рыба. Цель нарушений социалистической законности и всех ужасов, которые совершил капитан милиции товарищ Цупкой, — сокрытие еще одного доселе неизвестного преступления, о чем Басин пока молчит, но без остановки многозначительно намекает окружающим. Общественность Остра возмущена его поведением. Всякому народному терпению, тем более жалости к убитому горем пожилому человеку, приходит конец. Наступил конец и в Остре. Некоторые из соседей прямо говорили Зуселю как старожилу данной местности, что им трудно закрывать глаза на брехню Басина. И они сообщат куда надо, что старик порочит честного сотрудника милиции. В Остре должность товарища Цупкого стала известна благодаря подробным наветам Басина.

Зусель задает вопрос: можно сделать скидку на возраст и состояние Басина, который воспиты-

вает двоих малолетних внуков в своем доме? Скидка необходима в том случае, если Басин, как грозился, сочинил и отправил подробное письмо в партийные органы Чернигова насчет товарища Цупкого. И товарищ Цупкой должен скидку и снижение Басину обеспечить по благу. Потому что у товарища Цупкого, как ни крути, воспитывается внук Басина Иосиф. На почве которого дед окончательно повернулся.

Зусель проговорил эту белиберду четко и ясно. Видно, заучивал речь долго.

Вышло хорошо, даже почти не по-еврейски. Только качался со стороны в сторону и иногда всхлипывал, как привык на своих молитвах.

Его заключительные слова были такие.

Если никакой скидки, по мнению товарища Цупкого, не получится Басину за его злостную антисоветскую клевету, так он, Зусель Табачник, заявляет, что завтра утречком пойдет с повинной в милицию и напишет заявление, что Басин ни в чем не виноват, а виноват он, Зусель Табачник, и с него весь строгий и непримиримый спрос вплоть до расстрела, к чему он заранее готовый. Потому что Басина подучил он. И заставил распространять измышления он же.

Табачник высказался и упал коленями на пол. Лицом вниз. Начал молиться и дрыгать руками-ногами.

Я спокойно вылил на него стакан остывшего чая.

Говорю:

— Допустим, скидки не положено ни по какой статье, ни по каким смягчающим обстоятельствам. Ну, пойдете вы во всей своей красе завтра в милицию, накатаете заявление. Вас спросят первое: зачем вам было подучивать бедного Басина, какая ваша выгода? Дело серьезное. И выгода должна быть серьезная. Выгоду вы придумали хоть? А, гражданин Табачник?

Зусель поднял голову. Она плохо держалась на шее и мелко дрожала. Посмотрел на меня, как курица, когда ее уже зарезали, и бросил лицо в пол. Картуз слетел.

Я увидел, что голова у Зуселя абсолютно лысая, с вмятиной посередине. Видно, пробили когда-то, само срослось. Шрам белый, узловатый, с синькой. И кожа ходуном ходит. Вроде родничок у младенца.

Я знал, что трогать человека в подобном состоянии не надо. Надо ждать, пока успокоится.

Посмотрел на Штадлера. Тот замер с раскрытым ртом. Язык шевелится, обломки зубов трутся об мясо. Кое-где кровь капельками. Не сильно. Прикусил неудобно.

— А вы что думаете, Вениамин Яковлевич. Вы ж свидетель. Нравится?

Он замотал головой.

— И мне не нравится, Вениамин Яковлевич. Вы и завтра свидетелем в милицию с ним потащитесь?

Штадлер отрицательно замычал.

— Вас Зусель поставил в известность заранее, о чем состоится беседа? Нет? Так что ж вы купились? Теперь вы пристегнуты к этому делу. Нравится? И мне не нравится. Уходите. И бумажку свою заберите с подписью. Удивительно, насколько вы неумно поступили. Ладно. Забыто навек. И вы забудьте. Как не было. Приснилось. Точно вам советую — приснилось.

Штадлер потянулся к бумажке под тарелкой.

В последнюю секунду я руку перехватил и сжал.

— Нет, гражданин Штадлер. Расписка ваша все-таки останется у меня. Я с документами привык работать. А документ, тем более с подписью, — вещь на вес золота. Правильно? Идите с пустыми руками. И рот полощите. Кровь на губах. Потом рассказывать будете, что я к вам пытки применял.

Штадлер вымученно улыбнулся и показал рукой, что он языком не болтает.

— Болтаете вы или нет, доподлинно неизвестно. Вот выйдете отсюда — и начнете разговаривать на всех языках мира.

Штадлер ушел. На выходе тетрадку достал и намеревался что-то нацарапать. Я не допустил.

Зусель меня ждал. Сидел возле стола. Но не у самого, а немножко как бы в стороне. Деликатно отставил табуретку. Намекал, что на угощение не зарится.

Но я видел по опыту: состояние его было такое, что горячий чай с сахаром нужен позарез.

Молча вскипятил чайник. Воды в чайнике как раз, чтоб побыстрее. Специально проверил.

Налил в стакан заварки, кипяточку, положил три куса рафинада. Дал в руки.

Зусель брал чай медленно. Видно, раздумывал, стоит ли рядом с салом что-то кушать, тем более в некошерном доме.

Я выбора ему не дал.

— Когда выпьете, буду разговаривать. Мне вам «скорую помощь» звать нельзя. Вам же во вред. Разговоры пойдут. Согласны?

Зусель молчал. стакан дрожал в его руках.

Первые слова выговорил такие:

— Ложку. Размешать надо.

Дал ему ложку. Он размешал сахар. Пил медленно каждый глоточек.

Я не торопил.

Пустой стакан из рук Зуселя не забирал. Оставил, чтоб тот сам пристроил на стол. С мыслью проследить движение. По движению, которым человек ставит на стол пустой стакан, многое можно сказать. Например, не просто про волнение, а про внутреннюю готовность дальше развивать отношения со следователем. Если стакан ставит и утыкается глазами в пол — плохо. Уйдет в несознанку. Если ставит и на следователя тем временем смотрит хоть как — хоть в упор, хоть искоса, — можно открывать протокол. Заговорит.

Зусель стакан не ставил. Крутил его на колене. Переворачивал, опять крутил.

Дознаватель

Чтоб не упустить инициативу, я сказал:

— Долго будете молчать? Сам пришел и сам молчит.

Зусель вздрогнул и выпустил стакан вдребезги. Кинулся подбирать осколки. Порезал палец. Но не прекратил свои идиотские действия, а дальше продолжил.

Я, конечно, проявил нервы:

— Гражданин Табачник, вы что, игратья со мной в спектакль сюда явились?

Рывком поднял старика под мышки, волоком усадил на табуретку.

Зусель поерзал и опять спустился на пол. Вроде начал искать картуз. Я подал прямо на голову. Нахлобучил. Слегка пристукнул.

На последней силе четко сказал:

— Итак, отвечайте на мои вопросы. И последний раз ставлю вас в известность, что тут не шапито на проволоке. У вас ума совсем нету, что вы с собой Штадлера притащили? У вас соображение пропало подчистую, что вы свидетеля при подобных разговорах ставите?

Зусель молчал. Он никуда не смотрел. Ни в пол. Ни в потолок. Ни на меня. Качался на табуретке с закрытыми глазами. И неудобно ему было качаться, потому что я его слишком близко втиснул к столу, когда пристраивал на место.

Я сделал вид, что спокоен.

— Объяснение вашему, так сказать, глупому поведению вижу единственное: явка с целью громадной провокации. Согласны? Отвечать!

Последнее слово я, конечно, громко выкрикнул и стукнул кулаком по столу. Тарелка с саломлуком подскочила. Штадлер, когда пытался вытянуть с-под нее свою цидулку, подвинул ее к самому краю.

После моего стука тарелка подскочила и свалилась на колени Зуселю. Он от сотрясения открыл глаза и как раз схватил налету тарелку в охапку. Дурной-дурной, а реакция, как у голкипера.

Испытанный прием дал роковую осечку. Зусель от вида сала в своих руках упал в обморок. Или что-то такое.

И в обморочном состоянии заголосил свое молитвенное.

И громко, гад, с хлюпаньем. А уже ночь. Соседи спят.

Я закрыл ему рот рукой. Он притих с мычаниями в прежнем духе. Я сильней. Он замолчал.

Я отнял руку и понял: гражданин Зусель Табачник скончался. И последней виной тому — моя сильная рука. Не рассчитал. Зажимал рот. А захватил и нос.

На фронте такое со мной, да и с другими, которые ходили в тыл врага за «языками», случалось. Было страшное расстройство и досада. Но горя не ощущалось. Война есть война. Но тут...

Я находился в отчаянии.

Под непоправимый удар была поставлена не только моя жизнь, но благополучие существования моей семьи.

Я закрыл Зуселю Табачнику глаза навек.

Не допуская мыслей о постороннем, крепко закатал Табачника в плащ-палатку. Новая плащ-палатка, недавно выдали.

Пакунок получился большой, но подъемный. Хоть известно, что мертвый весит больше живого. Я пропустил мимо себя мысль о том, что щуплость и общая неказистость Зуселя меня всегда смешила и вызывала легкое презрение. Сейчас он мне этим сильно способствовал. И я сказал ему спасибо от всего сердца. Пятьдесят с гаком кило для меня не груз.

Оделся в форму, взял пистолет, проверил запасную обойму, покидал в сидор кое-что из одежды, белья и необходимые предметы: веревку, саперную лопатку, финку и фонарь.

План созрел мгновенно. И я вплотную подошел к его исполнению.

Майские короткие ночи не терпели промедления. Скоро намечался рассвет.

Шел по улице спокойно. Как нормальный человек с большим весом на плечах. Опасался только встречи с милицейским патрулем, что было маловероятно. Скорей могли помешать пьяные хулиганы.

Возле базара, как всегда, стояли полуторки из колхозов. Шоферы и продавцы спали в них до открытия торговли.

Выбрал машину в дальнем краю, заглянул в окошко.

Шофер находился один. Кузов пустой. Видно, все продали и, чтоб в ночь не ехать, задержались до утрачка.

Постучал по стеклу.

Машина оказалась из дальнего района. В Чернигов приехали впервые, обычно колхоз торговал в России, через речку. А тут из обкома дали разнарядку сюда — за сто километров.

Договорился, что шофер подбросит до Троицкой горы. Форма и беспрекословное уважение, которое испытывали граждане к милиции, сделали свое важное дело.

Я показал на губы, предупреждая про молчание.

Прошептал:

— Задание, срочно.

Шофер дал газу. И через десять минут с Зуселем в кузове полуторка затормозила у назначенного места.

Отъезжая, шофер отдал мне честь. А я — ему.

Троицкая гора возле Антониевых пещер являлась самым пустынным местом Чернигова. Никаких, тем более разбойных нападений здесь не происходило. Даже пьяные и безответственные влюбленные парочки в поисках прибежища для развлечений обходили пещеры стороной. К тому же непроходимые чащи. Заросли будяка выше человеческого роста.

Мой путь лежал близко. На маленькое кладбище возле самой часовни. Хоронили там до рево-

люции и частично в период Гражданской войны. Близлежащие жители.

Саперной лопаткой вырыл могилу хорошей глубины. Не два метра, но добросовестно и в длину, и в широту. Земля поддавалась после дождей.

Аккуратно разложил Зуселя. Послушал сердце, пульс за ухом. Тишина.

Коров с дальних сторон Лисковицы гнали на заливные луга к Десне.

Картузом закрыл старику лицо. Но передумал и напялил головной убор как надо. На шрам. При жизни человек соблюдал свои еврейские правила, пускай и в смерти будет порядок.

Не скрою, сначала хотел завернуть тело в плащ-палатку. Но отказался. Знал роль одежды при обнаружении трупов.

Знал-знал, а карманы мертвого не обыскал. О чем вспомнил, когда спускался с горы.

Вернулся. Разрыл могилу. Обыскал. В пиджачном кармане тряпка и кусок газеты. Обсмотрел и то и другое. Дурасá. Опять зарыл и положил дерн. Сказывалась военная сноровка.

Окончательно надел на себя плащ-палатку — спрятать земляные руки в карманы. В таком виде пошел на Киевский шлях.

По дороге возле колонки помыл руки. Напился.

И разным перекладным транспортом с тяжелым сердцем поехал в Рябину.

Некоторые думают, что работа в милиции делает человека черствым. Нет. В моей голове стояло

и кривилось лицо покойного Зуселя. Смерть его была бесспорно нечаянной. Будем откровенны, он сам сделал все для своей глупой гибели. Его фанатизм, выкрики религиозного звучания посреди ночи, общее вызывающее поведение. Ну, схватил он голыми незащищенными руками шмат сала. Ну, нарушил тем самым что-то из своих мракобесных понятий. И что, надо устраивать кипеж на весь дом? А на завтра соседи напишут в ту же милицию, что на квартире у милицейского капитана товарища такого-то, известного тем, между прочим, что в его семье на правах родного воспитывается еврейский хлопчик, действует антисоветская синагога, особенно по ночам. Зусель, когда голосил и качался, думал о мнении своего Бога. Мнение его персонального Бога на тот проклятый момент ему было важней мнения советской власти. А я коммунист без остатка. Мне советская власть все дала, что надо.

И вот Зуселя нету. Его безвременная кончина царапала мое сердце. Я похоронил его по-человечески и утешал себя мыслью, что, может, пульс старика перестал биться еще до того, как я его трохи смертельно притиснул.

Надо было ставить точку на тот момент. И я ее поставил. Любой ценой, как говорится.

Но вопросы остались. И я над ними работал.

Про то, что Табачник приперся в Чернигов и к тому же в мой дом, точно знал Штадлер. Который был призван по неизвестным мотивам в свидетели самим Зуселем.

Факт, сообщенный мне Зуселем, об имеющемся намерении Довида Басина писать жалобу на мое поведение я оставил под серьезным сомнением. Из опыта известно: кто хочет — тот пишет. А кто говорит, тот не настроит. Если Басин и грозился, так применял психическую атаку. Рассчитывал, что мне его угрозы станут известны и я дам слабину.

Но какая слабина нужна Довиду? Вот в чем вопрос.

На этот вопрос подходящего ответа у меня не находилось.

Прибыл в Рябину почти через сутки. Постучал в хату Диденко.

При свете каганца увидел родные и любимые лица жены и детей.

Ганнуса и Ёська спали на полу, на кожухе.

Любочка заверила, что это — самое хорошее. Полная свобода. К тому же кожух толстенный и действует снотворно.

Любочка размещалась на скрыне. Чтоб ноги не свисали, аккуратно приставлена табуретка. Сам хозяин своего места не менял — на печке. Только я сразу обратил внимание: раньше занавески не было, теперь Любочка устроила старику отдельное место отдыха — завесила рядниной. В дырках, штопаную-латаную, но тем и хорошо — поступает свежий воздух.

Все в хате дышало женским теплом и уютом.

Дети не ворохнулись, когда я их приветственно целовал. Сельский сон — самый целебный и крепкий.

Диденко без слов махнул рукой и буркнул, что перейдет в сарай.

Я подступил к Любочке с нежностью, но она отстранилась.

Хотела лечь с детьми на полу, а мне уступить скрыню. Я отдал выбор печке. Чтоб во всю силу вспомнить детство. Раз уж так вышло.

Утром обсуждали хозяйственную часть. Денег, которые Любочка привезла изначально, хватало. Покупали козье молоко, по воскресеньям Любочка ездила на базар и разумно делала покупки. Без баловства. Но и картошка в доме была, и крупа, и хлеб. Ждали урожая: морковки, огурцов, картошки, буряка и так далее по мере времени. Люба успешно засеяла огород под руководством Диденко. Воду носил слепой Петро. Люба положительно отзывалась о нем. Даже с теплотой. Я спросил, не обижается ли жена Петра, что он тут тратит силы.

Диденко хмыкнул. Люба покраснела.

Ганнуся доложила, что тетя Катя тоже помогает.

Вечером приходит и говорит Петру такие слова:

— Йдемо вже додому, спіпенький мій, а то й ночувати тут притулишся. А тебе, убогого, й не проженуть.

Дознаватель

Я сделал замечание, что обижать никого нельзя и надо обязательно ночевать дома. А то домашние волнуются.

Адресовался Ганнусе как старшей. На будущее.

Ганнуса внимательно прослушала наставление и нетерпеливо добавила:

— А еще тетя Катя у мамы всегда вечером спрашивает, или не нужен ей еще дядя Петро. Если нужен, так тетя Катя оставит. Ей не жалко.

Я спросил в шутку:

— А мама что говорит?

Ганнуса заявила ответственно:

— Мама говорит, что ей никого не нужно.

Когда дети побежали на улицу, я с шуткой продолжил:

— Ну, Люба, у тебя, кажется, ухажер. Я прямо волнуюсь. Один на печке, так тебе мало. Второго подпустила. Воду носит. Ведрами носит. Носит и носит. Аж через края выливается. Еще я приперся. Не лишний?

Люба собирала миски со стола и меня не слышала. Смотрела в открытое широко окошко.

Я тоже посмотрел.

Возле тына стоял слепой Петро.

Он крикнул по направлению хаты:

— Ганнуса, Йосип, дядько Петро прийшов, що будемо сьогодні робити? Мамці не кажіть, що я тут, ми таємницю зробим. Халабуду будувати хочете?

Дети радостно бросились к нему. Ганнуса открыла калитку, а Ёська карабкался по тыну и тя-

нул руки. Петро сгреб его на ощупь и крепко поцеловал в щеку. Перетянул на свою сторону. И так осторожно, босые ножки не поцарапал об острые прутья.

Я вышел и громко обозначил себя:

— Здравствуй, Петро. Заходи в хату.

Петро насторожился.

— Михайло? Приїхав? А Люба на тебе так чекала, так чекала. Ото ж радість!

Он подошел ко мне на голос с Ёської на руках. Протянул руку для приветствия, а хлопчика из объятий не выпустил.

Я сначала принял от него Ёську, поставил на землю. Потом пожал руку.

— Спасибо, что помогаешь семье.

Петро отмахнулся:

— Та шо. Чи воду принесу, чи дрова якісь. Яка з мене користь. Надовго?

— Как получится. Служба.

Я принципиально не отвечал по-украински, чтоб была дистанция. Люди это всегда чувствуют. Дистанция — важнейшая вещь в отношениях.

Из хаты вышла Любочка. На расстоянии я рассмотрел ее по-новому. Она больше похудела, появилась седина. Но в целом вид здоровый, бодрый.

Обратился к ней с предложением:

— Хозяйка, давай сегодня вечером по холоду сядем під вишню, повечеряємо, соловейко

заспіває, а ми з Петром й Миколою Івановичем вип'ємо чарчину по-козацькому звичаю, га?

Незаметно для себе перешел на український. И рассердился. Вроде подлаживаюсь под Петра и тутошнюю жизнь. Тьфу. «Вишня». «Соловейко». «Вечеря». Решительно и беспощадно поправился:

— Капочку выпить — не грех. И Катерину позволю.

Люба кивнула.

Спросил Петра, сколько надо денег на самогонку. Он сказал. Я сунул в руку больше. Петро помял бумажки, вернул лишнее.

— Как ты их видишь? Щупаешь?

Петро неопределенно мотнул головой. Я обратил внимание, что повязка на глазах у него фланелевая, из застиранной портянки. Мягенькая. Не тряпкой сделана. Пошита. На привязочках. Я специально на затылок глянул. Подумал почему-то: Любина работа.

С Любочкой состоялся разговор о детях.

Она высказала удовольствие по поводу их здоровья и поведения. Ганнуся во всем следит за братом. Отгоняет от него хворостиной гусей и другое.

Что касается ее личного состояния, так я не спрашивал. Однако когда пытался ее обнять со всей силой моей к ней любви и уважения, шепнул:

— Любишь меня? Скучала?

На что она ответила не таясь:

— Люблю.

В голове держались ее бредни про заразу, но вопрос я не поднимал. Решил: потихоньку, потихоньку, все пройдет. Абсолютно все, вплоть до заразы.

Днем Петро не появлялся. Дети спрашивали, почему его нет. Я лично наносил воду, наколол дрова впрок.

Потом мы с Диденко лежали в холодочке.

Я сказал:

— Приходил ко мне твой Зусель. Перед отъездом и приходил. Дурковатый, как всегда. Пришел, покрутился. С товарищем каким-то. Чего хотел? Зачем? Не понятно. Мне ехать, а он сидит и молится. Еле выпхал из квартиры. Вам не писал больше?

Микола Иванович ответил, что больше писем не получал.

Я продолжил невзначай:

— Вот живет такой человек, как Зусель. Катается вроде сыр в масле. Люди подают и еду, и одежду. Одна дамочка рассказывала, что у него и ухажерка обнаружилась. Старуха. Живут в одной хате. Ну и сидел бы в своем Остре. Так нет. Колобродит. Доходится. Хулиганы пьяные за его внешний вид дадут по башке. Не очухается. Ему уже один раз дали, у него такой шрам на темечке. Двигается изнутри. Как у младенчика.

Диденко ответил, что про шрам знает. Это последствия не хулиганов, а контузии и глубокой раны. И если человеку на месте не сидится, так это еще не уголовное преступление. Он никому не мешает.

Я вздохнул и подтвердил сочувственно:

— Конечно, не мешает. Зусель что, герой на войне был? Такие в книжках неприметные, а всегда оказываются неизвестными героями.

Диденко сквозь близкую дремоту промугыкал:

— Не герой. Он все время кушать хотел, а кругом только трэфное. Так он не ел. На него говорили, что он не кушает, чтоб не воевать. А он же не потому. Ну, помутузили крепко, чтоб кушал. Ему голову как раз тогда и пробили. Выжил. Начал кушать понемножку. Что дают, то и брал. Пожует, пожует, помесит за губами и выплюнет незаметно. Я говорю: «Что ж ты, гад, добро переводишь. Я жменьку буду подставлять, а ты плюй. Я доед». Доедал.

— Вы говорили — контузия?

— Ну, я так называю. Что с войны, всё контузия. Зусель окончательно помешанный. Нет того понимания, что раз в рот попало — значит, и в организм. И в кровь. Хоть плюйся-обплюйся потом на здоровье. Темный человек.

Я размышлял о нем как о живом. Зафиксировал эту мысль — и похвалил себя. Прежде всего я сам должен верить, что Зусель ушел от меня здоровый и своими ногами.

Опять подтвердил себе, что поступил правильно. Хоть и необдуманно.

Диденко заснул. Штаны на нем были чистые, рубаха тоже стирания. Босые ноги обращали на себя внимание тем, что ногти подстрижены за-

ботливой женской рукой. С нежностью подумал: Любочка, моя жена.

И так мне захотелось прижать ее к сердцу, что я пошел к ней. Знал, что она стирает белье на Ворскле и дети крутятся около.

Увидел их издали. Ёська сидел на бережку, голый, Ганнуса в рубаше стояла по колени в воде и помогала матери полоскать.

Я издали подал голос, чтоб не испугать. Все-таки вода, глубина.

Дети обрадовались. Мы устроили с ними купание. Люба сказала, чтоб жалели мыло, но я мылил детям головы до пены, и она красиво плыла по течению.

Потом вымылся сам. За камышами.

Звал Любу. Не подошла. Не хотела оставлять детей. Я сказал, что отсюда видно и ничего не будет, если она отойдет ко мне. Даже разозлился.

Домой возвращались все вместе. Я тащил ведра с чистым бельем. Люба несла на руках Ёську и держала за руку Ганнусю.

Я необдуманно высказал упрек:

— Я к тебе с такой любовью, с такой любовью! Тебе что, трудно?

Люба сказала:

— Трудно. Ты даже представить себе не можешь, как трудно.

Я со зла хотел бросить ведра, чтоб белье выпало и запачкалось. Но отmel это соображение как

недостойное. Наоборот. Аккуратно поставил на траву и сказал:

— Как скажешь, так и будет. Не подойду к тебе, пока сама не попросишь.

Люба прибавила шаг без ответного слова.

Под вечер явились Петро с Катериной.

Сидели за столом в саду, выпивали, закусывали как положено.

Дошло до песен. Я затянул «Катюшу», в честь жены Петра. Ганнуся подпевала.

Люба бегала в хату то за тем, то за тем, громко смеялась без повода. Петро каждый раз поворачивал голову на ее звук, как петух. Она вроде подавала ему сигнал, где находится каждую данную секунду.

Диденко сразу сильно выпил, но спать отказывался. Наливал себе еще.

Потом сказал:

— Мишко, гад ти останній, йди до мене у прийми. Тут же ж рай. Чистый рай. У колгосп не підеш, ні, не підеш. Що тобі там робити? Нема чого. Ані влади там, ані страху для твоєї душі скаженої. Тобі тут краща робота є. Будеш пістолетом махать. Як твій батько. Усі тебе боятися будуть. Усі! І Люба твоя, і діти. І Петро. Будеш його боятися, Петро?

— Буду, а як же ж, — Петро ответил сразу, как обычно отвечают пьяному.

Я тоже подключился:

— Приїду до вас, Микола Іванович. Обов'язково приїду. Буду дільничним. Ото ж нарешті в Рябині порядок настане. Усі боятимуться. А ви — ні?

Гадаєте, що для вас виняток зроблю? Зась. Ніяких винятків. Ні-я-ких!

Шутка закончилась неважнецки.

Диденко упал на доску стола всей грудью. Я еле успел підхватити литровую бутель: на третью самогонки еще осталось.

Диденко вдруг вскинувся.

Закричав, як скажений:

— Геть з моєї хати, паскуда! Геть! Геть! —
Причем махав кулаками.

Дети испугались и заплакали. Петро их успокаивал.

Люба смотрела безучастно.

Катерина дергала Петра за рукав, щоб бросил детей и помог увести Диденко в хату. Дети не отпустили слепого.

Я кое-как отвел пьяного в хату. Уложил на пол. Туда, где спали дети. Потом передумал и вытащил старика на двор, туда, где он дремал днем, — в высокую траву под вишней.

Посмотрел на Диденко, который растянулся на траве, и удивился, что второй раз за короткое время ношу с места на место человека.

Меня окликнул Петро. Самогонка у нас осталась, надо было допить.

Детей уложили спать. Люба тоже легла.

Катерина одна пошла домой, на прощанье погладила по голове мужа.

Меня попросила:

— Як дуже нап'єтеся, не пускайте мого з двору. Буде усю ніч вештатися по селу. Людям зава-

жати. Покладіть десь тут. А краще не давайте йому пити. Він не вміє.

Ушла, оставив Петра, вроді оставила неживу вещь, за которую опасалась, что ее не то чтоб украдут, но могут пристроить не на место. Ей потом шукай.

Петро выпил стопку и больше не притрагивался. Я пил добросовестно. Петро пел. Голос у него был некрасивый, не сильный. И вообще.

Ніч яка місячна, ясная, зоряна,
Видно, хоч голки збирай.
Вийди, кохана, працю зморена,
Хоч на хвилиночку в гай.

Пел и поворачивал голову и спину в сторону хаты. Я думал: «Ну что ты там углядишь, несчастный калека, “видно, хоч голки збирай”. Ну что тебе видно, что тебе видно, что ты на чужую жену бельма бесстыжие наводишь. Был бы ты зрячий, я б тебе показал “голки”».

И я сказал где-то на третьем куплете:

— Хорошо поешь, Петро. Красиво. Зарабатывать не пробовал? Пел бы, а люди б давали что ни то. Ты тут, у Диденко, и столуешься харчами, на мои гроши купленными? Любочка вкусно готовит. Пробовал? Нравится?

Петро заткнулся на полуслове.

Сказал как ни в чем ни бывало трезвым языком:

— Я дома їм. Твоя їжа мені ні до чого. Мене з неї виверне. А співати за кусок хліба — було.

Співав. Давали. Чужі давали. Тут не дадуть. Тут нічого нікому не дадуть.

Встал и пошел, чуть, правда, неровно. Но калитку нащупал сразу.

К Любе я не притронулся. Назавтра наметил разговор. В общих чертах.

Пункты такие.

Во-первых. Что происходит между нами: между мужем, то есть мной, и женой, то есть Любой.

Во-вторых. Выбросила ли Люба из головы сразу, которую ей Довид вдолбил.

В-третьих. Больше нельзя терпеть отношения без определения.

Люба ответила на все поставленные пункты.

Она сказала, что между нами происходит нормальная жизнь. Раньше она меня любила слепо, от восхищения и моей силы. Теперь она любит спокойно и видит в прошлом некоторые недостатки и недоработки с моей стороны. Например, я сильно переменялся за год. Стал нервный, уделяю ей нежность, но с нажимом, вроде Люба мне что-то должна. А она не должна. От этого и недоразумения. И переживания, не нужные никому.

Про беседу с Довидом она помнит и перебирает в уме каждую секунду. Конечно, в мозгах кое-что перепуталось в связи с тогдашним состоянием. Кое-что Люба восстановила. И в окончательном виде Довид ничего такого особенного не

заявил. Кроме того, что хочет назад Ёсеньку. А про заразу, как Люба заявила, Довида научила Лаевская. От женской злости и зависти. По возрасту и так далее.

Тут я задал наводящий вопрос: почему Люба приплела сейчас Лаевскую? Лаевская нашего сына помогла выходить. Если б не она, неизвестно, как чувствовал бы себя Ёсенька в больничных руках. И даже нарочно мягко пристыдил Любу, чтоб не городила лишнего. Чтоб была выше.

Люба сказала, что Лаевская к ней в больницу приходила. И между прочим намекала, что Лилия Воробейчик, которую убили и которую я расследовал, — кое-кому не совсем чужая.

Я спросил:

— Так и сказала — «не совсем чужая»?

Люба кивнула.

— Ты не уточнила, кому не чужая? И что значит — «не совсем»?

— «Совсем», «не совсем» — какая разница? Я как через сон слышала. Под капельницей лежала. Думала, снится. Лаевская по капельке слова цедила. Она еще сидела и руку мою гладила. И Довид пришел... — Я отметил: Довид в больницу приперся, мало ему было, что своими словами Любу в больницу уложил. — Его врач гнал, а он напирал и напирал. Лаевскую в сторону отодвинул, она сползла с табуретки, он на ее место уселся. Тоже за мою руку брался. Лаевская Довиду сказала, что он опоздал, что раньше уговор был, а скоро обед и врач сменится, другой прогонит...

Я понял. У Любы все перемешалось. Лаевская с Довидом. В одну дуду пели. Довида она притащила. Специально, чтоб ее подменил, чтоб у Любы все в мыслях перетерлось: Полинины и Довида измышления. У Лаевской силы больше. Силу я чувствовал. Я силу чувствую всегда.

Ясно, Лаевская — главная. Но у нее — какой интерес?

Про заразу Люба сказала, что она сама и дорисовала на окружающих фактах и разговорах соседок. А в чистом виде — пшик.

Люба так и выговорила: «Пшик».

Слово было не ее. От Лаевской.

Она мне его однажды ласковенько прошипела:

— А вы не знаете, шановный Михаил Иванович, как это бывает? Был человек и нету. И совести нету. Никакой — ни его, ни другого кого. Один пшик остался. И даже пшик прошел.

Услышал я от нее это словечко, когда она у меня на допросе по поводу Воробейчик вертелась туда-сюда. «Не помню, не видела, не знаю, неудобно такие вещи говорить вслух. Совесть замучает: такие разговоры с женщиной вести наедине».

Я на нее строго прикрикнул, что речь идет о смерти человека. О нем должна остаться хоть добрая память. И что я ей не мужчина. А следовательно, сотрудник органов советской милиции. Или она не знает, что справедливость должна обязательно восторжествовать? С совестью или без совести.

И с таким смаком она этот «пшик» выговорила своими накрашенными губами, что я до сих пор помню и содрогаюсь.

Третий пункт фактически остался без ответа.

На прямой намек, не возникло ли у Любы чувство к Петру, хоть он и калека, и слепой, и так далее, Люба пожала плечами и упрекнула меня в недопонимании женского характера. Женскому характеру нужна забота о слабом. Даже увечном особенно. Диденко и Петро у нее как дети на попечении. Наравне с родными: Ганнусей и Ёсенькой.

Я заверил Любу, что понимаю ее состояние. Но чтоб она не перетруждалась и помнила: она не наймичка у Диденко. А то люди сядут на голову и ноги свесят. А ты им грязные ногти отрезай.

Люба согласилась с моими доводами.

Решили, что она останется в селе до осени и не допустит ничего плохого ни с какой стороны.

Проспался Диденко. Похмелился кислым молоком. Спросил, когда уезжаю.

Я ответил, что задерживаться не собираюсь. Убедился, что тут атмосфера здоровая, поеду не сегодня завтра.

Про вчерашнее свое выступление Диденко не заикался. И я не напомнил. Вместо этого поинтересовался, сохранилось ли письмо Зуселя.

Микола Иванович легко отдал его мне прямо в руки.

В письме сразу говорилось, что писать по-русски Зуселю трудно и за него пишет другой человек. Зу-

сель наводил справки про меня. Буквально: не был ли я замечен за чем-то нехорошим против советской власти или, может, мои родители чем-то виноваты с этой стороны, не раскулаченные ли. Не знаком ли Диденко с кем-нибудь, кто знает меня по Харькову или фронту. Зусель утверждал, что сведения необходимы одному знакомому, который хочет отблагодарить меня за важное дело, но сам занимает высокий пост и желает выяснить, все ли в биографии у меня на месте. Чтоб самому не попасть в ненужное положение за плохое знакомство.

Чушь, несоразмерная никакому трезвому рассудку. Такие вопросы доверять почте!

Почерк, которым было написано письмо, показался знакомым.

Писала Лаевская Полина Львовна. Наклон влево, буквы тонкие, четкие, «т» с крышечкой наверху, «ш» — со скобочкой снизу. Не черточки, как нормальные люди иногда делают, а именно крышечка и скобочка.

В памяти встала записка на трельяже в доме Лаевской. Мой служебный телефон с фамилией, именем, отчеством. И внизу приписка — «Товарищ следователь». Обведено несколько раз красным.

И в протоколе допроса свидетеля Лаевской Полины Львовны есть ее подпись: «Записано с моих слов верно — Лаевская П.Л.». Потом еще попросила перечитать и дополнила без спроса припиской: «Точно и очень хорошо». Протокол этот проклятуций я перечитывал незадолго до отъезда в Рябину. Отметил, что и почерк у дамочки с выгребеньками.

Диденко улыбался.

— Ну шо, прочел? Ты мне скажи, каким боком до тебя Зусель касается? Он бы еще написал, что книжку славы сочиняет. Оскандалиться боится, так сведения подшивает в тетрадку. И кому пишеш, дурак? Фашистскому прихвостню, полицейскому посипаке? Так, Михаил?

Я вернул письмо Диденко со словами:

— Так, Микола Иванович. Совершенно верно. Зусель, конечно, и сам дурной. Но еще хуже того — он кем-то крепко подученный. И я знаю кем. И вы, Микола Иванович, с таким письмом в доме, где дети бегают туда-сюда, сидите на печке и ногами своими дрыгаете. А если кто это письмо найдет заинтересованный в вас? Поднимут старые дела. Вам как, понравится? И спросят, а чьи детки у вас летом бегали? А чья жена у вас летом на огороде маячила с утра до ночи? А кто приезжал до вас? Милиционер из Чернигова? Про которого в письме ни с того ни с сего выпытывает сионист Табачник? И, будем откровенны, тому, кто вас за шиворот притиснет, насрать, что я герой войны, что мои родители мученически погибли в период фашистской оккупации. Они и меня, и детей, и жену загребут. А людей спросят. А люди скажут. Такое скажут, вы сами знаете. Про вас сказали и не поперхнулись. И в Караганду вас. К настоящим полицейам.

Диденко не улыбался. Лицо у него стало злое, белое. Вроде рубаха. Несвежая после вчерашнего. Но все ж таки.

— Что делать?

Я перешел к следующей части.

— Отдайте мне письмо насовсем. И конверт. И если что еще от Табачника есть — все сдайте.

Диденко протянул письмо. Пошел к печке, порылся под тряпьем, достал конверт.

— Бери. І той... Я вчора гримав на тебе. Не вибачаюся. Але жалкую, що при дітях. За себе не боюся. Віриш, що не боюся?

— Вірю.

Хоть, будем откровенны, не верил ни на копейку. Все говорят, что не за себя, а за детей. Ну, порядок такой.

Ёську и Ганнусю я нашел на поляне.

Они рвали васильки. Цветы только-только появились. Дети выбирали покрупнее. Корзина набита с верхом, а они рвут и рвут.

— Стахановцы, кончай работу! Норма выполнена и перевыполнена! Пошли домой, я сейчас уезжаю. Будем обедать и прощаться.

Я посадил Ёську на плечи, Ганнусю взял за руку. Пошли в хату. Через васильки, через траву. Я посмотрел на нас со стороны. И волна счастья пробежала по моей спине.

Люба смотрела на нас из-за тына. С-под руки. Как принято в хороших, душевных кинофильмах.

За обедом Люба рассказала, что дети собирают васильки, чтоб засушить их и делать отвар. Для Петра. Микола Иванович посоветовал.

Ганнуся подтвердила:

— Ага. Якщо волошками очі мити, вони краще бачать. А якщо очей зовсім немає, як у дядька Петра, то треба мити те місце, де вони були, і вони знов виростуть.

Ганнуся хорошо говорила по-українськи, не то що в Чернігові. Но я відповів їй по-руськи, щоб не забувала язук, на котрому їй предстояло йти в більшу жизнь:

— Слушайте маму и Миколу Ивановича. Они вам хотят самого хорошего. Слушайте и помогайте. И им, и всем слабым и немощным. Вы поможете — и вам помогут. И между собой не ругайтесь. Вы родные братик и сестричка. Именно родные. А родная семья — превыше всего.

Дети кивали и ели.

Вот чему надо учить детей. А не про волошки. Не вырастут глаза, раз их выбили. А дети надеются. И как им Диденко в их глаза посмотрит потом?

Хорошо ему. Он, может, скоро умрет. И не посмотрит. И на никакие их вопросы отвечать не придется.

Собрался быстро. Подарил Диденко плащ-палатку. Отчитаюсь как-нибудь на работе за утерю казенного имущества. Выпрошу б/у взамен.

Диденко тут же примерил на рост обновку. Оказалось, длина подкачала. Большая. Идти не дает.

Люба вызвалась отрезать и подрубить.

И добавила радостно:

— Вот кому-кому, а Петру одежда как раз. Он ночами вештается по селу, а в такой халабуде ему и дождь, и снег только на здоровье.

Я высказался, что не против.

— Пускай Петру.

Диденко поддержал начинание Любочки.

Мне стало неприятно. Я мысленно упрекнул себя за минутный порыв, в результате которого плащ-палатка отошла слепому и чуждому человеку.

Оставалось три отпускных дня. Включая воскресенье — четыре.

Дальнейший план у меня выработался следующий.

В Остер — потрянуть Довида в виду показаний Зуселя.

Потом вплотную заняться Лаевской.

В поезд сел еле-еле. Впихнулся без билета в общий вагон. Залез на третью полку и без мыслей слушал разговоры ни про что.

И вдруг вспомнил, что не оставил Любочке денег на жизнь. Замотался. Самое важное всегда надо делать с самого начала. А моя голова с первой секунды пошла кругом от вида жены. А она мне, будем откровенны, дулю вместо внимания. Но это ни при чем. Гроби отправлю, как смогу. И даже хорошо. Почтарка разбалабонит, кому

и сколько прислано. Пускай в селе знают, что приезжая у Диденко с деньгами. Не на иждивении живет.

По ниточке от почтарки размышление пошло дальше.

Потянулся за конвертом с письмом Зуселя. Посмотреть на обратный адрес. А то впопыхах и не глянул. Адрес стоял Лилии Воробейчик. Улица Клары Цеткин, дом 23. Отправитель указан неразборчиво. Тем более в тряске. А штемпель четкий. Как нарисованный. Отправлено 28 июня 1952 года.

Через месяц после смерти Лилии Воробейчик. Верней, через полтора.

Спокойно спрятал конверт отдельно, а письмо в другое место. Для надежности. И опять пожалел плащ-палатку. Шел неудержимый ливень, сверху затекало на голову. Закутался б теперь как следует, и спи спокойно, дорогой товарищ.

Бывшую хату Евки Воробейчик, а ныне место проживания Басина указали парубки. Они и проводили.

Один рыжеватый, по виду еврейчик, закинул намек:

— Надолго к нам?

Я ответил:

— У вас, что ли, командировку отмечать? Вы тут, что ли, хозяин?

Он замолчал и приотстал. Жалко хлопца, но пускай знает свое место. И другим обскажет, что приехал милиционер со всей строгостью.

Мимолетно про себя отметил: что хлопец похож на кого-то, мне знакомого. Списал это ощущение на общую еврейскую внешность.

В хате меня встретила Малка.

Сделала вид, что не узнала.

Пробурчала:

— Никого нема.

Я и сам видел. Не только никого, но и ничего. Жили бедно. От Евкиного женского хозяйства остались только вышитые занавески на окнах. В остальном — голые стены и голый пол. Теснота, как у Диденко. Причем печка небеленая.

Малка крутилась кругом меня и махала руками на мою форму:

— Все до речки пойшли. Туды идить. Все до речки. Мине обед треба варить. Все до речки, туды идить.

У хлопчиков на улице спросил, где обычнокупаются. Они поинтересовались: старые или молодые, бабы или кто. Я объяснил, что дед и двое малых. Они показали направление.

Двинулся к Десне за парком.

Десна блестела, аж слепила взгляд. Навстречу мне шла потрясающая картина.

Впереди Довид с тряпкой на голове, в кальсонах, в нательной рубаше без пуговиц до пупа. Шибал палкой на все стороны, сбивал бурьян для дальнейшего шага. За ним телепались в черных сатиновых трусах Гришка и Вовка. Старший —

Гриша — обеими руками тащил полотняную торбу, с которой капала вода. Он торбу старался выше поднять, чтоб не цеплялась за колючки, а она цеплялась — высоты у хлопца не хватало. Вовка трохи поддерживал торбу, когда вспоминал, что надо оказать помощь брату. А так крутил головой. Оглядывался на кого-то назад и задерживал ход, чтоб отставший подтянулся к строю.

Из-за верб показался еще человек. Он двигался путано, вроде заведенный. Махал руками без порядка.

Когда блеск от воды меня оставил, я четко понял: человек — Зусель Табачник. Картуза на нем не было. И ничего на нем не было. Шел он голый.

Я для устойчивости широко расставил ноги. Сапоги палили мне подошвы — даже через траву пробивался жар.

Снял милицейскую фуражку, помахал в воздухе.

— «Чьи вы, хлопцы, будете, кто вас в бой ведет, кто под красным знаменем раненый идет?» Гришка, Вовка, ко мне! Подпевайте строевую!

Хлопчики узнали мой голос и кинулись вперед. Гришка от восторга попытался размахнуться торбой, но выпустил ее из рук.

Я не двигался с места. Ноги приросли. Светло судорогой.

Гришка подобрал торбу к животу и закричал:

— Дядя Миша! Дядя Миша! Ура! Дед, дядя Миша приехал! Дядя Миша, а пистолет у тебя с собой? Дашь прицелиться?

С торбой он ко мне и подбежал и грязную эту и мокрую эту торбу свалил мне на сапоги. Ноги трюхи отпустило. Жець перестало. Но судорога не ушла.

Хлопцы карабкались на меня по старой привычке. Цеплялись за ремень, за португею. Упирались босыми ступнями в край сапогов.

Напора я не выдержал. Осел в траву.

Гришка и Вовка горланили песню про Щорса.

Я сказал, как когда-то мой лучший товарищ Евсей Гутин:

— Ша.

Они замолчали.

Я осторожно скинул детей с себя и выпрямился на весь свой рост.

Довид стоял передо мной и поддерживал под локоть, как барышню, Зуселя.

Зусель был как с креста снятый.

Я спросил без строгости:

— Почему гражданин голый?

Вовка с готовностью дал объяснение:

— Мы одежду стирали. Нас Малка послала. — Хлопчик разворошил торбу и стал предъявлять по очереди скомканное тряпье: — От деда рубаха, от штаны, от Зуселя штаны, от кальсоны, от рубаха, от картуз, от отой... Дед, оце...

Довид наконец вставил слово:

— Талес, ингеле*.

Я с интересом посмотрел на мокрую кучу:

— Называется, постирали. Чем стирали?

* Мальчик (*угуш*).

— Мылом, — Довид ответил и тут же закричал: — Где мыло, дети? Я вас спрашиваю, где мыло? У кого мыло? Забыли? Смылили? Гришка, Вовка!

Мыло оставили на берегу. Хлопцы побежали обратно.

Довид как ни в чем не бывало спросил:

— Сам приехал или с Любой и Ёськой?

Я помотал головой:

— Сам. Мимо проезжал. Дай, думаю, заскочу, проведаю. Что ты Зуселя держишь, не упадет. Шел сам. И постоит сам.

Довид отпустил локоть Табачника.

Я персонально поздоровался:

— Здравствуйте, гражданин Табачник. Давно не виделись.

Он не ответил. Смотрел мне в глаза и не отвечал.

Довид заступился:

— Он не в себе. Не узнает никого. Тут такая история. Дома расскажу. Пошли. Дети сами прибегут. Мы огородами, от глаз подальше.

Довид собрал вещи в торбу, абы как запихал, закинул за спину. Я намекнул, что Зуселю, как человеку, неудобно идти голому, хоть и огородами. Несмотря на ответ Довида, что у него сил нету уговаривать Зуселя прикрыться, я лично снял тряпку с головы Довида, обвязал ее вокруг зада и передал Табачника.

Запах от Зуселя шел чистый, водяной.

Он огладил на себе тряпку и спокойно пошел вперед. Но я приказал Довиду идти во главе, чтоб прийти верной дорогой.

Дети явились в дом раньше нас. Малка их срочно кормила.

Когда мы зашли, она крикнула пацанам:

— Кыш!

Тех прямо ветром сдуло. Рассовали по карманам свои обкуски и побежали на двор.

Малка кинулась к Зуселю, загиркотала с ним, что-то выпрашивала. Он не отвечал, улыбался и держался рукой за тряпку, вроде угрожал, что сейчас скинет.

Малка увела его за занавеску и там продолжила воспитание уже на повышенном тоне.

Довид сел на табуретку за стол. Пригласил меня.

Я не торопился с едой. Хоть и был голодный. Если человек сидит, а над ним другой человек стоит и возвышается, тем более в форме, пользы больше.

Говорю:

— Рассказывай, на чем Зусель окончательно с глазду съехал. Без лишнего. Ну.

Довид вроде хотел встать, чтоб стоя докладывать, но я его легонько припечатал к табуретке. Он смотрел на меня снизу вверх и говорил.

А рассказ такой.

Несколько дней назад приехала Евка в обнимку с Зуселем. Приволокла его фактически без сознания. Под руки — под ноги. Он бродил по Лисковице в неопишемом состоянии. Весь в земле, грязный, лицо черное от грязи, ногти на руках обломанные до основания. Кто-то из знакомых лисковицких евреев взял его к себе в хату и обмыл.

Сообщили Евке по еврейской связи. Евка Зуселя за шиворот — и в Остер. При этом сказала, чтоб Довид за Табачником смотрел, как за дитем, и никому его не отдавал, ни в больницу, никуда.

— Тяжело с таким. Надо его в больницу. Могу устроить. Где Бэлка. Туда и Зуселя пристроим. И кормежка, и уход. А у тебя ж, Довид, дети. Они на больного насмотрятся и сами могут того. Тем более что мать уже. И так далее.

Довид затопал ногами. Сидел и топал. Видно, встать сил не осталось.

— Нет! Евка сказала, чтоб никому не отдавать. А про Бэлку ты вспомнил, так я тебе тогда скажу, что я про мою дочку все знаю. И про врача твоего тоже знаю, как он ее держит. Я его уже на чистую воду вывел. Сам вывел.

Тут Довид заткнулся. Понял, что началось лишнее. Но именно на лишнее всегда и рассчитывает следователь. И я за это лишнее хватился.

— Ну-ну. А ты знаешь, что Зусель ко мне в Чернигов прямо на дом свалился и на тебя сделал донос? И свидетель при нем был. Некий Штадлер. Рассказал мне про твои намерения относительно меня. Ты и меня хочешь на чистую воду. И письмо вроде послал куда надо. Что я всех тут направо и налево поубивал своими руками, пользуясь служебным положением. Что я враг народа. Зусель тебя защищать передо мной пришел. На себя хотел вину за твою клевету взять. Я его послушал и прогнал. Мне бояться нечего. А ты с Зуселем вот как. Может, на цепку его посадишь по приказу-

нию Евки, чтоб со двора не отпускать? Его лечить надо. На ноги ставить. Ты в своем мракобесии на Бога валишь. Ты и пацанов испортишь, и судьбу им вместе с жизнью перевернешь во вражескую сторону. Тьфу на тебя! Дурак ты, Довид. Евсей тебе б врезал как родственнику. А я не могу. Не имею права. По закону не имею. По нашему советскому закону. Понимаешь ты это?

Довид молчал.

На мой крик из-за занавески высунулась Малка.

Широким жестом отодвинула тряпку в цветочек, аж шнурок мелко задрожал, и прокаркала:

— У тебя Зусель был, он все наши грóши взял. Где грóши? Отдай!

Никаких грóшей у Зуселя при себе не было. Я его карманы лично выворачивал.

Малка поставила руки в боки и заголосила:

— Отдай грóши! Мне детей кормить!

Такого подлого подхода я стерпеть не мог.

Подошел к ней и сказал тихо и уверенно:

— Что, по-русски заговорила, как до грóшей дошло? Все вы такие. За копейку удавитесь. Не знаю я ничего про грóши. Мне ваши поганые деньги не нужны. У меня свои, честно заработанные. Ноги моей в этом смитнике не будет больше. Я с вами как с людьми, а вы каркаете мне прямо в сердце.

Зусель при этом лежал на топчане возле окошка. Откинутая занавеска закрыла ему половину лица. И он смотрел на меня одним глазом.

Я махнул рукой и выскочил на двор.

Хлопчики там стояли и жевали скибки черного хлеба. Я успел подумать, что долго они жуют, мы с Довидом минут двадцать беседовали. Значит, слушали пацаны наш разговор. Отвлекались от жевания. Вникали. И теперь могут разнести по Остру в перевернутом виде.

Я им ничего не сказал на прощанье.

Но все-таки вернулся уже из-за забора. Вернулся и поочередно каждого погладил по голове. Они ни в чем не виноватые.

Я думал о многом в тот момент.

Во-первых, переночевать. А завтра с утра снова пойти к Довиду и спокойно с ним поговорить. Про Ёську, про Бэлку, про Евсея с его никому не нужной смертью. Про намерения самого Довида относительно его сплетен. И на Зуселя глянуть в нормальной обстановке. А также выяснить про деньги, которые у него якобы были на момент поездки в Чернигов. Отсюда тоже возможна ниточка. Не знаю какая. Но ниточка ж. Зацепка в нашем деле — главное.

Оживление Зуселя из верной могилы быстро улеглось в моем сознании и заняло правильное место. Живой — значит, живой. Моя вина. Мое упущение. Не проверил достаточно его состояние. Не смог отличить труп не только от живого, но и от симулянта. Не утрамбовал землю как следует, когда второй раз хоронил, когда плащ-палатку с-под Зуселя вытаскивал.

За такой прокол и перед товарищами стыдно. Я на этом людей ловлю, а сам оказался далеко не лучше.

Достоверно одно, и я этого не скрыл перед Довидом: Зусель у меня был, про замыслы Довида рассказал, чему есть свидетель Штадлер; от меня Зусель ушел невредимый своими ногами, о чем я заявил непринужденно и к месту Довиду и Малке за занавеской.

Я двигался в высокой траве, так как сразу свернул за огороды.

Вдруг захотелось прилечь от усталости.

Стащил сапоги, размотал портянки. Раскидал в стороны. Не скажу, что со злостью, но с силой. И повалился лицом вниз, в землю. Хотел ремень расстегнуть для отдыха. Внутри что-то сжималось и плохо разжималось. Но провалился в сон. В затянутом ремне. Всегда сильно затягивал. На последнюю пробоину. Чтоб знать, как дышу. Сейчас дышалось неважнецки. Что-то сбивалось.

Проснулся с тяжелой головой.

Земля набилась в рот.

Встал вопрос: где заночевать? Подумал попроситься к кому-то как проезжий. Но отменил такое решение. По Остру уже разнесли, что милиционер приехал к Довиду. Если пойду попроситься по людям, будут спрашивать, придется говорить.

Может выйти лишнее. Тем более что свой сидор я бросил у Довида. И бог бы с ним. Но там и саперная лопатка, и фонарь, и финка. Нехорошо.

Пошел обратно. Вроде остыл и теперь хочу полюдски поговорить. Что соответствовало правде.

Довид сидел возле хаты на колодке. Спиной к дороге. К нему лицом стоял мужчина.

Довид водил руками в разные стороны, голосом направлял движения:

— А я знаю, куда он делся? Там? Там? А может, там? Я за него не ответственный. Он при исполнении, он сам за себя ответственный.

Мужик успокоительно трогал Довида за плечо. Говорил тихо.

Я по-доброму поздоровался на подходе.

Мужик обернулся. Я узнал Файду.

Он крепко пожал мне руку, как хороший знакомый.

Запросто поинтересовался:

— Где устроились на жизнь? У Довида тесно. Хочу к себе пригласить. Мне сын доложил, что в Остер милиционер прибыл. Направился к Довиду Басину. Я сюда. Файда. Мирон Шаевич.

Я его, конечно, помнил. Приставучий. Сейчас скажет Довиду, где и когда мы встречались, при каких обстоятельствах. Но нет.

Файда отвел меня немного вбок и шепотом зачастил:

— Неудержимый человек. Мне за две минуты рассказал ваше имя, отчество, фамилию. Про

внука своего, который у вас, тоже. Ездит и ездит по одной пластинке. А мы с вами знакомые. Свадьбу помните?

– Помню. Вы по культурной части.

– Да, вроде. Хоть бдительности не теряю. Ну, ко мне? Жена ужин накрое. По чарке выпьем. Кое-что обсудим.

Файда смотрел на меня с просьбой.

Довид чертил на песке палкой. Проявлял незаинтересованность.

– Довид Срулевич, я сейчас у вас свои вещи заберу. Переночую у товарища Файды. Чтоб вас не стеснять. Утречком поговорим.

Довид не ответил ни звука, поднялся и гаркнул в раскрытое окно:

– Малка, отдай ему!

Малка высунулась через подоконник с моим вещмешком. Держала на весу из всех сил.

Я так и принял от нее свое имущество: не по-человечески. Как воры друг другу передают.

Файда наблюдал с кривой усмешкой.

В спину нам Малка грякнула окном. Показалось, аж стекла летят. Оглянулся. Из-за занавески грозил кулаком Зусель.

Я зыркнул на узел, которым стянул лямки вещмешка. Узел мой. Никто в сидор не лазил.

Жена Файды готовила ужин.

Мы с хозяином сели в садочке.

Он завел разговор про общие вопросы.

Но вскоре перешел к главному.

— Михаил Иванович, должен вас предупредить, что мы тут держим ухо востро. Я лично не один и не два раза проводил воспитательные беседы с гражданином Басиным и с гражданкой Цвинтар. Они позволяют себе черт знает что. Порочат на всех углах ваше честное имя. Вы в курсе?

Я отрицательно кивнул.

— Ну вот, а вам и неизвестно, что против вас плетутся сети. Вы когда в Остре были в прошлый раз, вы к Басину и Зуселю не заходили? Не заходили. Мне Довид даже жаловался на вас, что в Остре были, а не зашли. Он вас краем глаза видел. А вы его не видели? Не видели, конечно. Иначе зачем вам к нему не заходить? Он говорит, что вы к нему приезжали. А не зашли. Обиделся. Я ему объяснил, что вы, наверно, по своему делу мимо проезжали. Можете на меня всецело рассчитывать.

Файда будто перешел на выступление, а не вел разговор за столом в своем доме.

— И вот сейчас, в такой обстановке, когда все силы нашего народа мобилизуются вокруг смерти товарища Сталина, Довид расширяет свои бредни. Как вам это нравится? Мне не нравится. И никому в Остре из еврейского населения не нравится. Никому. Точно вас заверяю.

Я не выдержал:

— А при чем тут еврейское население? Ну, Довид от горя повредился. Так у него все основания. И зять, и дочка. И внуки врассыпную. Ну, он еврейской нации человек. Не поспоришь. Но зачем вы отделяете и отделяете: мы, евреи, мы, еврей-

ское население. Он на меня как человек бочку катит, а не как еврей. Это наше с ним семейное дело. Семейное. Через Иосифа. Вот именно, что сплываться надо вокруг памяти нашего Сталина. А вы опять отдельничаете. Что я в форме, в данный момент ничего не означает, тем более плохого. Я приехал к родному дедушке моего приемного ребенка Иосифа. И оформлен мой приемный ребенок Иосиф по всем правилам. А внутрь в дом к Довиду со своим уставом я не прусь. Врачи его быстро определяют на поправку. Пацанов жалко. Это — да.

Файда растерянно молчал. Осознал, что не туда свернул.

— Ладно, Мирон Шаевич. Проявили заботу — и спасибо. А вот скажите, кто в доме проживал, где сейчас Довид ошивается? Дом хоть и неказистый, а крепкий. Жалко, Довид хату занехает при своем нынешнем отношении к жизни.

Я поставил человека в нужное место, а потом задал ясный бытвой вопрос. Вроде для снятия напряжения, для его же пользы. Теперь он многое выложит, чего раньше и не планировал. Чтоб загладить неудобство от предыдущего.

Так я вывел Файду на личность Евки Воробейчик и ее семьи. Включая, конечно, и Лилию. Потом намеревался направить беседу на Лаевскую как на бывшую жительницу Остра.

И всплыло следующее.

Семья Воробейчиков жила в Остре испокон века. В том самом доме, где сейчас Довид.

Из-за дома погибли родители Лили и Евы. Не уехали в эвакуацию, хоть их предупреждали. Побоялись оставлять нажитое. Там и кровати хорошие, и стол был знаменитый на весь Остер — громадный, на всю комнату, из какого-то сильно хорошего дерева, прапрадедовский. Бабы шушукались, что в ножках стола запрятано золото.

Ну, остались старики дом сторожить для будущих поколений. Их, конечно, немцы убили.

А дочки таким образом: Евка отбыла в эвакуацию, а Лилька исчезла на всю войну. Доподлинно известно, что из эвакуации в сорок четвертом Евка прибыла одна. Про сестру не говорила и всякий раз, когда вспоминали Лильку, громко и показательно лила слезы.

Евка проживала в доме родителей одна. К ней пристала Малка Цвинтар. Родственница — не родственница, а жила при Евке в роли тетки.

В конце сороковых по Остру прошел слух, что Лильку видели в Чернигове. В хорошем состоянии — пальто, шляпка, ботики на каблучке и так далее. Обратившегося к ней с приветствием острянина Лилька категорически не признала.

А насчет Евки — что... Как-то году в тридцать шестом получилось, Евка забеременела. Живот у нее оказался такой большой, что предсказывали двойню или тройню. От кого — секрет. Замечено не было, чтоб Евка гуляла. Походила-походила Евка при животе, а потом вдруг исчезло буквально

все. Вроде скинула преждевременно. Так мамаша Евкина — Лилькина намекала. А скинула — тут уже горе. Тут и не приставал никто.

Надо сказать, Евку и Лильку в Остре не любили, но жалели. У обеих внешность выгодная. Но от остерских женихов отмахивались, как от недостойных по уму и воспитанию. Специальности как таковой не имели. Работали в пуговичной артели. И отец их там — мастером. Мамаша всегда при домашнем хозяйстве.

И вот Лильку в Чернигове убили. Евка как узнала, сразу поехала. Несколько раз Евка туда-сюда моталась: из Остра в Чернигов, из Чернигова в Остер. Потом забрала Малку и объявила, что остается жить в доме покойной сестры с Малкой.

Через несколько месяцев Малка явилась в Остер, а через время в связи с обстоятельствами Довид вроде дом у Евки откупил или как-то по-другому и из землянки с Зуселем и двумя детьми утвердился хозяином.

Файда говорил беспокойно, спешил.

Я не перебивал. Если перебить, человек может задуматься. А мне как раз задумчивости не надо было. Мне надо было, чтоб катилось снежным комом.

— Девки эти — и Евка, и Лилька — странные. Хай одной хорошо живется. А другой хорошо лежится. А дом стоит. Это вы верно приметили: крепкий.

Я спросил про стол. Куда подевался.

Файда посуровел, одернул пиджак, как китель.

— Со столом получилось так. После того как в Остер зашли немцы, начались аресты. Активистов, партийных, комсомольцев. Как положено при оккупации. Ну и евреев, конечно. Их стреляли на месте. Или централизованно возле Десны. — На евреях он снизил голос, вроде стеснялся говорить.

Я поддел его. Мне еще предстояло выпытывать про Лаевскую.

— А что вы, Мирон Шаевич, стесняетесь? Все знают, что евреев убивали. Нечего голос понижать.

Файда быстро кивнул и еще раз повторил, громче:

— Евреев стреляли массово, да.

Я его даже за руку тронул. Видно, переживает человек. Но у меня своя работа.

— Ну, убивали. Дальше что. Про стол вы говорили.

— Дом Воробейчиков сразу разворошили. Полицаи постарались. Стол хотели вынести. Кто-то позарился для себя. Но вытащить никак не могли. Стали рубить на части со зла. Дерево не рубилось. Потом в доме поселился немецкий офицер в большом чине. Всю оккупацию там и жил. При нем стол разобрали и вынесли. А разобрали как: там штырьки, оказывается, были, на них надо было трохи нажать, стол и разбирался — по частям. Эти части на улицу выброси-

ли. Люди по домам растащили. А когда Евка из эвакуации вернулась, специально по домам ходила и части собирала. У кого стенкой в собачьей будке, у кого вместо ляды в погреб. Некоторые не отдавали. Евка отвоевала. В пустом доме сложила деревянные и сидела над ними. Потом под ее руководством отнесли на старое еврейское кладбище, сбоку свалили. Евка при всех сказала: «Всё. Капут. Это мое добро и я его лично схоронила. Больше я про это говорить и слушать не желаю. Я свое дело сделала». Некоторые говорили, что она хотела первоначально доски в обрыве возле Десны разложить, где евреев стреляли. Где ее папа с мамой. Но ей отсоветовали. Я говорю — странные они. И Евка, и Лилька. У нас считают, что Лильку не просто так убили.

Я заметил, что просто так людей не убивают. Шальная пуля — дело другое. А если ножом — то не просто так.

Файда согласился.

Тогда я сказал, что в Чернигове многие из Остра проживают. Например, некая Лаевская. Портниха. И женщина интересная.

Файда на фамилию среагировал глазами.

Тут вышла его жена. Пригласила ужинать.

В коридорчике стоял умывальник с зеркалом. Я хотел только руки сполоснуть. А глянул — вокруг рта черный круг. Земля присохла. Слюни во сне пускал.

Умылся.

Говорю Файде с улыбкой:

— Что ж вы мне не указали, что лицо грязное.

Неудобно.

Файда махнул рукой:

— Я и не заметил.

Как же. Не заметил. Специально. Радовался, что я грязный.

За стол я сел в нехорошем настроении.

Жена Файды — Сима Захаровна — угощала настойчиво, старалась говорить по-украински. Я ей раз по-русски ответил, два.

Она опять:

— Пригосаждаете, пригосаждаете.

Блюда еврейские. Я похвалил. Наливка, водка.

Файда пил хорошо, но мало.

Я выпил несколько рюмок водки. Отпустило.

Спросил у женщины, знает ли она Лаевскую Полину Львовну. Между прочим.

Она посмотрела на мужа и задержала ложку с фасолью над моей тарелкой.

Файда громко предложил выпить за мою семью и особенно детей.

Выпили.

Настаивать на Лаевской я не мог.

Перевел разговор на сына Файды.

Мирон похвалился успехами хлопца: учится в техникуме, будет строителем.

Я спросил, как зовут.

— Суня. Самуил. — Файда показал на жену. — В честь ее деда — Самуила Лаевского.

Сима Захаровна качала головой в знак согласия.

Тут я сказал:

— Так ваша девичья фамилия Лаевская? Может, Полина Львовна ваша родственница?

Я еле расслышал ответ:

— Двоюродная сестра.

Файда аж прискакнул на стуле:

— Ай, какая сестра! Никакая! Просто-таки никакая! Гадость она, а не сестра! Гнать таких сестер!

Когда люди выпивши, особенно если они с непривычки, говорится многое. Лучше в опьяненном состоянии разговор не жать. Оставить. У человека в голове будет сожаление, что он сболтнул лишнее. И одновременно радость, что лишнего никто не учел, не заметил. А если потом на трезвую голову за это лишнее потянуть, ого-го что вылезет.

Я заговорил про Остер, про его красоту, про детей, которые растут всем смертям назло.

К появлению в доме сына хозяев — Суни — стол почти опустел. Но он и не изъявил желания присаживаться. Схватил кусок хлеба и пошел в другую комнату.

Я его узнал. Тот самый еврейчик, который меня встретил на первом шагу в Остре. И на кого он похож, я понял. На Евку Воробейчик. Именно на Евку. Глаза ее — разрез особый. И нос. У Лилии нос с горбинкой, а у Евки мало что с горбинкой, но и немножко расплющенный на конце.

Дознаватель

Спать меня уложили на хозяйской кровати, несмотря на мои возражения. Подушки, перина и так далее.

Я покрутился, покрутился и вышел из дома.

Долго сидел на лавке в саду. Не думал. Дышал воздухом. Если б курил, и то не курил бы. Настолько глубоко дышалось. Не спокойно, а глубоко.

К Довиду отправился на рассвете. Сима удерживала обещанием налистничков с творогом, но я не поддался.

Некоторые считают, что едой можно человека удержать.

У Довида все спали. На мой стук в окно не отзывались.

Не хотелось будить детей, а то б я грякнул от всего сердца.

Раз такое дело, побрел к Десне. По вчерашней тропинке. Помыться как следует, переодеться. У Файды было неудобно. На берегу развязал вещмешок. И обнаружил, что нету финки. Где мой сидор развязывали — у Довида, у Файды, — неизвестно. Узел редкий, калмыцкий, меня сержант Дамдинов обучил на фронте, скопирован ловко. Значит, старался кто-то. Понимал, что по узлу сразу видно — лазили или нет. Но ходовой конец вдвое не сложен. Я когда-то Евсея учил. Он усвоил, но путался. Возился долго.

А Гришка сразу схватил, хотя тогда совсем малой был. Но, бывает, случайно и не такие узлы завязывают-развязывают. Может, Файда или Сунька?

Единственное, чему порадовался, — письмо в кармане кителя. Помазал карман. Пусто. Расстегнул, вывернулся сам напополам вместе с карманом. Пусто.

Пшик.

Китель снимал только у Файды. Близко к кровати стул придвинул и повесил. Когда в сад выходил — не набросил.

Вот она, еда. Прокол показательный. Надо работать над ошибками.

Вымылся весь в полном смысле. Кожа аж скрипела на ощупь.

Китель спрятал. На нижнюю рубаху надел пиджак. Галифе и сапоги оставил. Внешний вид меня устраивал — и в форме, и в то же время намек — в форме, а не в полной. Можно и не силой говорить, а зигзагами. По-человечески. То есть немножко даже и закон обойти при нужде.

Детей в доме не было.

Довид глянул на меня неопределенно.

Я сел на табуретку без приглашения. Нарочно громко подвинулся к столу, чтоб Малка за занавеской осознала. Но оттуда не доносилось ничего. Решил, что ее нету.

Дознаватель

Кивнул в ту сторону:

— Что, хозяйка на базар пошла?

Довид ответил, что она уже отходила свое. Сегодня ночью умерла. Шла с горшком от Зуселя, с горшком и повалилась.

Довид сидел смирно. Спина прямая и голова задрана подбородком вверх.

— Она там? — Я показал на занавеску.

Довид кивнул.

На топчане лежала мертвая Малка, рядом с ней свернулся младенчиком Зусель. У обоих глаза закрытые. И оба не дышат.

Я закричал:

— Что у вас тут? Мертвый час?

Зусель открыл глаза, как контуженый — на звук. Не на смысл.

Выговорил:

— Зусель живой.

И опять вроде перестал дышать. Прижался к Малке всеми костями.

Я понял, что говорить с Довидом по раньше разработанному плану бесполезно. Но все-таки спросил:

— Лаевская давно приезжала?

Он ответил одним словом:

— Вчера.

— Надо ей отбить телеграмму. У вас же отношения.

Довид махнул рукой:

— Нужна ей моя телеграмма! Ей Евсей нужен был. Через Евсея пристала. Отношения. Ай!

И схватился за голову, вроде только сейчас понял про Малку, что она теперь неживая. И что в доме теперь без женской руки.

Оказывается, хлопцы были отправлены Довидом для оповещения соседей.

Стали сходиться люди.

Зуселя оторвали от Малки и перенесли в комнату. Потом сообразили, что лучше б Малку перенести в комнату для всеобщего обозрения и прощания, а Зуселя как раз оставить за занавеской.

Я не участвовал. Взял Гришку с Вовкой, повел на Десну.

Устроил соревнования наперегонки. На неглубоком месте. Дети развеселились. Мы пели песни.

Маршем вернулись домой.

Командовал Файда. Я дал денег — осталось после перевода Любочке чуть-чуть. Пообещал еще выслать. На его адрес. С передачей Довиду, когда тот оклемается.

На прощанье сказал еще:

— Мирон Шаевич, к вам тут ночью Полина Львовна заходила. Я ее гостевое место занял, наверно. Не обидилась? Где ж она ночевала?

Сказал наугад. По внутренней подсказке.

Файда заморгал и выпалил:

— Забегала. Она уже совсем ехала в Чернигов, ее машина ждала. На минутку забегала. А вы за домом сидели. Я хотел подвести ее к вам для вежливости. Она застеснялась. Суне книжки

привезла. Я покажу, если надо. Для техникума. Три книжки. Не новые, но чистые. Нечерканные.

Я помолчал, вроде раздумывал, просить ли показать книжки. И ни слова не сказал.

Только от двери шепнул Симе — она тут же слонялась и руки на себе ломала:

— У меня срочное дело. На похороны не останусь. Хлопчиков у себя пару дней подержите, пока Довид оживет.

Вернулся в Чернигов к концу рабочего дня. Зашел в отделение.

Светка-машинистка в нарядном платье стояла на пороге с сумочкой и кого-то выглядывала.

Я вступил в разговор: ^

— Не меня ждешь, красавица?

— Люди с работы, а вы сюда.

— Это ты по часам заходишь-выходишь. Завидую. В кино намылилась?

— Да. В кино. Подругу ожидаю. Опаздывает.

Светка делала злое лицо, а круглые подбритые брови ей мешали. Получалось смешно.

Наобум предложил:

— Возьми меня вместо подружки. Я еще в отпуске считаюсь.

Как-то сказалоь удачно.

В момент высчитал, что из Светки вытяну больше, чем из других. Женщина. Если спрашивать с подходом — узнаешь такое, что мужик при себе будет держать до смерти.

Перед сеансом играла музыка — аккордеон. Некоторые танцевали.

Мы явились с запасом, осталось время для буфета.

Светка попросила ситро с пирожными. Я купил. Причем в карман лез с опаской — выгреб же все деньги в Остре, Файде.

Но хватило. Без добавки. Вторую порцию Светке не получить.

Сам я отговорился, что ничего не хочу — дома поел.

Светка хмыкнула:

— Дома? Чего не переоделся? Пиджак мятый, в гадости какой-то, сапоги пыльные. И мешок тяжелый не бросил. Сильно спешил?

Все-таки баба давно при милиции, нахваталась — вопросы застали меня врасплох. Опять ненужный прокол.

Но я весело сказал, приобнимая Светку:

— Ой, девка! Тебе б звание присвоить. А ты на машинке стучишь. Не надоело?

Светка отстранила мою руку и строго выговорила:

— Я у спекулянтов билеты покупала. Заранее, между прочим. С переплатой. Вы мне деньги за свой не забудьте отдать. А вижу я все насквозь. Некоторые меня дурой считают. И ладно. Дур мужики больше любят. Правда?

— Правда. Деньги за билет завтра отдам. И за свой, и за твой. Я всегда женщин за свой счет в кино вожу. А лучше ты мне расскажи, что в от-

делении? Какие новости? Ужас как не хочется опять впрягаться. Сейчас повесят какое-нибудь гиблое дело, и пропало лето. У меня друг в Ладинке живет. Там места красивые. И рыба, и все такое. Поехали б с тобой на воскресенье. Ты как смотришь на предложение? По-дружески, конечно. Мы с тобой сколько лет рядом работаем.

Светка задумалась.

Я огляделся по сторонам. Знакомых не увидел. До начала сеанса оставалось минут пять. Светка с ситро не спешила. К пирожному не притронулась.

Ответила скороговоркой:

— Поедем. По-дружески, конечно. Я ж не такая, чтоб не по-дружески. А к вам, пока вас не было, женщина приходила. Красивая. Ну, не слишком красивая, но ничего. Одетая. И босоножки, и носочки на ней. И сумочка. Рыжая-бесстыжая. Сразу видно, непорядочная. Спрашивала и спрашивала, спрашивала и спрашивала: когда да когда, когда да когда. Я ей специально загадками отвечала. Нахальная она. — Светка глянула с прицелом. — Меня упрекнула в грубости к гражданам. Но я — где сядешь, там слезешь. Она в кабинет к Свириденко. А его нету. В Киев поехал на совещание в свете новых указаний. Убралась с кислой рожей. Больше ко мне не подходила. По коридорам слонялась, у хлопцев спрашивала.

Я понял — Евка. И как раз тогда, когда Зусель на-гора вылез.

Это была главная новость. Еще Светка рассказала, что по городу ползают домыслы, будто бандиты людей хватают и закапывают в землю живьем. Одного старика закопали, а он сам откопался. И не откопался б, если б не бродячие собаки. Разрыли. Но заявлений ни от кого не поступало, потому считается, народ совсем с ума пошел, не знает, что еще придумать, чтоб вывести обстановку из равновесия.

В зале я сидел без движения. И киножурнал, и фильм.

Переплачивать за такую дребедень было нечего.

Светка разок прижалась ко мне локотком, вроде случайно, но я не ответил. Честно же ей сказал: мы по-дружески.

Сеанс закончился, и я проводил Светку домой — она жила в самом центре, на улице Валовой, в бараке. На прощанье напомнил про Ладинку, но обниматься не полез. Хоть она ждала.

Теперь мой путь лежал к Штадлеру. Но сначала забежал домой, переоделся во все гражданское, оставил сидор.

Уже собирался убежать — заметил на столе записку:

«Жду. Приходите. Надо поговорить».

Без подписи. Но подписи и не требовалось. Буква «т» — с крышечкой, как в письме. Лаевская. Я даже не подумал, как она попала в дом, чтоб цидулку свою проклятушую подложить.

Бросился к двери — бежать к ней.

Но остановился. Нет. Бежать нельзя. Ни сегодня нельзя, ни завтра. Ни сколько сил хватит — нельзя. Пускай она сама придет. Сама придет и будет умолять поговорить.

И к Штадлеру ходить не надо.

И к Евке.

Ни к кому.

А надо спать спокойным сном. Ради Любочки. Ради Ёси и Ганнуси.

Аккуратно разделся, сложил одежду, как Любочка за мной подбирала: пиджак в шкаф на вешалку, брюки туда же — на специальную вешалку, с зажимами, рубаху на спинку стула, носки на пол не бросил, а повесил на перекладину табуретки. Старые сандалии, в которых ходил дома, поставил один к одному. Носками вперед, задниками к кровати. И выровнял. Доска шла по линии пяток. По доске и ровнял.

Засыпал тревожно, но с чувством выполненного долга.

Во сне Свириденко мне выговаривал:

— Не утрамбовал. Подошел формально.

Лаевская не давала о себе знать.

Евка тоже.

Я в их сторону старался не думать.

Одна мысль меня тревожила — как там Басин с хлопчиками.

Но что я мог сделать?

А в конце июня Светка подкараулила меня с круглыми глазами:

— Штадлера знаете?

— А что?

Штадлер был мой тайный сотрудник, и не Светкино дело интересоваться.

Но она лезла мне прямо в лицо:

— Немой. Жидоватый. Правильно?

— Не жидоватый, а человек еврейской нации.

Дальше?

— Ага. Сильно еврейской. Заходил вчера сюда. И не один. С фифой. С губищами намазанными. Аж гидко смотреть. В таком возрасте, а мажется. Искали вас по срочному служебному делу. С губищами говорит: «Я — Лаевская Полина Львовна, а это — товарищ Штадлер Вениамин Яковлевич. Он себя плохо чувствует по здоровью и немой, так я его сопровождаю. Он хотел бы встретиться с товарищем следователем Цупким». И смотрит на меня, вроде я ей вас с-под стола достану. Я ей говорю, хоть и не обязанная: «Товарищ следователь на задании». Она: «А когда будет на рабочем месте? Он же и с гражданами должен говорить, а не только по городу мотаться». Я отвечаю: «Чтоб такие, как вы, жили спокойно, товарищ следователь и мотается туда-сюда. А вы заявление напишите и оставьте. Я передам». А она с улыбочкой прогавкала: «Никаких заявлений писать не буду. И товарищ Штадлер не будет. Нам лично надо». А тот товарищ Штадлер еле стоит на ногах. Я говорю: «Вы, товарищ Штадлер, присядь-

те. Отдохните. Нам обмороки не нужные. Тут многие в обмороки падали. Не помогало». Баба Штадлера цап за руку и повела на выход. А он идет — чистый теленок. Я вам точно говорю — баба и есть главная. А он при ней.

Светка смотрела на меня с довольными ужимками.

Я ее похвалил:

— Правильно, Светлана, с такими наглými надо без лишних слов. У меня эта Лаевская проходила свидетелем. И что ей надо, не представляю. А Штадлера не знаю. Но все равно — жалко, не поговорил с ними. Вдруг надо людям помочь.

Светка скисла:

— Помочь... Вы мне помогите. У меня сосед с ума сошел. Ночами в стенку кулаками бьет. Мама боится. Я не сплю. Сейчас совсем одна осталась. Мама в село поехала на недельку. А мне как — с буйным за стеной? У нас стенки знаете какие — саманные. Кулаком двинет — развалится. А там я. Одна. Беззащитная. Вот и получает — в милиции работаю, а толку нема.

Под конец своей речи Светка скисла с намерением пустить слезу.

Этого я допустить не мог.

Положил ей руку на плечико и говорю:

— Выясню, что за фрукт. Пугну. Без защиты не останешься.

— Когда придете? — Светка от нетерпения аж на носки встала.

Маргарита Хемлин

– Когда он дома появляется?

– Он всегда дома. Не работает нигде. Тунеядствующий элемент. Могу отбежать сейчас.

– Нет, сейчас у меня срочное дело. После дежурства зайду. Не бойся.

Артистка Светка хорошая, но глупая. И весь ее вид показывал, что ей не страшно, а наоборот, хочется меня к себе заманить. По-дружески.

Вернулся в кабинет. Поспрашивал намеками у товарищей, не искал ли меня вчера кто-нибудь. По коридору погулял, тоже выяснил насчет посетителей по мою душу. Никто ничего.

Срочного дела у меня на тот момент не было. Зато надо было подумать. Крепко подумать и сделать выводы по текущему моменту.

Направился в городской парк за Красным мостом. Сел на нашу с Любочкой любимую скамейку возле памятника Сталину. Под кустом персидской сирени. Вроде образ Любочки вызывал. Даже мороженое себе купил в ее честь.

Итоги такие.

Лаевскую я пересидел. Перетерпел. Сама проявила беспокойство. Пошла на открытую провокацию. Показала прилюдно, что ищет со мной связи. Притащила Штадлера для наглядности. Значит, ей Довид успел донести из моего рассказа, что Штадлер был с Зуселем у меня дома. Взяла Штадлера за шкирку и приволокла. Мол, и Вениамин Яковлевич, немой инвалид,

у нее в руках. Со всеми его сведениями про визит Зуселя.

Прийти она пришла. А если б я на месте оказался? Результат бы смазанный получился. Ей в милиции рот раззявлять ни к чему. Не на это она рассчитывала. Откуда она узнала, что я в отъезде? Вчера я находился в Количевке. Ездил по работе.

Причем пошла прямо к секретарке. Под кабинет начальника. А ей же прекрасно известно мое рабочее место. Шла б туда. Нет. В кабинет не заходила. У нас там всегда кто-то есть.

Что ж, следила за мной Лаевская во всей своей красе? Я б ее заметил. Ее не заметить никак нельзя. Или посылала кого-то, чтоб смотрели за мной.

Иначе — никак. Но зачем? Тратить свою молодую жизнь на меня как такового? Доводить до белого каления, мучать, в том числе и жену, и детей?

Психическая атака. Все кругом — психическая атака. И записка на столе у меня в доме. И приезд в Остер буквально по моим пятам.

Мороженое я ел машинально. Шарик между двух вафелек крутился подшипником. И выскочил. Упал на сапог. Тут же налетели воробьи. Шуганул их ногой.

Да. Будем откровенны — Лилия Воробейчик. В ней все дело. В ней начало и в ней конец.

Поднялся. Беспощадно растер остатки мороженого.

Пучком травы вытер сапог. До блеска.
Путь мой проходил точно. К Лаевской.

Калитка оказалась открытая. Дверь в дом тоже.
Полина Львовна лежала на топчане. Дремала.
Но по рукам вдоль тела я определил, что дремота — притворство. Ладони напряженные. И расположенные неудобным углом. Наверно, увидела меня в окно издали или услышала калитку и заняла позицию для встречи.

В комнате пахло духами «Красная Москва».
Здороваться не стал.

— Ну что, Полина Львовна, дорогая моя, приятно вам было по чужим карманам шнырять? Привычно или, как все воры говорят, в первый раз, случайно?

Полина раскрыла глаза и, как артистка, приподнялась.

Оперла о подушку пухлый локоть и произнесла голосом с зевотой:

— А, Михаил Иванович! У вас там пуговка на соплях держится. Как раз снимите, я пришью. Любочка ж другим занятая. А вы без догляда. Снимайте, снимайте. И подкладочка у вас располась. Я все сделаю.

С топчана протянула ко мне руку, ладошкой-ковшиком.

Я сдержался. И не таких обламывал.

— Сейчас же вставайте, гражданка Лаевская! Хватит дурить мне голову. Тут будете отвечать на вопросы или проследуем в отделение? Вопросов много. Ответите на каждый.

Лаевская спустила ноги, сунула ступни в фильди-косовых чулках в шлепанцы, несколько раз шаркнула, удобно уселась, расправила халат с драконами.

— Хорошо. Именно что на каждый вопрос я отвечаю. Именно что на каждый. Хотите вы или нет. Отвечу. Особенно на вопрос про Лилию Воробейчик. И про то, кто ее убил. С этого вопроса начнем? Или сами выберете, с какого? У вас же, наверно, списочек длинный?

— Нету у меня списка. В голове держу. — Я сохранял спокойствие, и чтоб показать, насколько спокойный, вышел на кухню, зажег керогаз, поставил чайник.

Из комнаты Лаевская тихо сказала:

— В буфете халу возьмите. Свежая. С маком. Давайте несите, сильно кушать хочется.

Через секунду Лаевская сама зашла на кухню, достала булку-плетенку, слизнула мак с корочки.

— Терпеть сил нету. Мак люблю. А ножик вы в столе возьмите. Не стесняйтесь. Мы как родные стали. Я так считаю.

Я не пошевелился.

Она сама открыла ящик стола. И перебрала один за другим три ножа. Ножи были из дома Лилии Воробейчик. Три. А значит, по счету, среди них и тот, которым убили потерпевшую.

Лаевская смотрела на меня приветливо:

— Выбирайте, какой больше нравится. Между прочим, они все одинаковые. Но один с приветом. Вы ж знаете, от кого привет.

Я промолчал из последних нервов.

Вытащил ножи, пошел с ними в комнату.

Разложил на столе. Когда последний пристраивал — острием зацепил за вышивку на скатерти. Дернул — чуть не порвал.

Лаевская подскочила, стала ладошкой заглаживать узор:

— Что это вы так неосторожно! Эта скатерть — моя свадебная. Сама вышивала. Полтавская гладь. А вы раз — и один пшик от красоты оставите.

Скорей всего этот Полинин «пшик» меня и доконал.

— Знаю я ваши пшики! Вы своими пшиками мою жену до смерти довести хотели. Хотели? Отвечайте!

Лаевская молча резала булку. Резала и резала. Резала и резала. Кусок одним ножом. Кусок вторым. Кусок третьим. Я вырвал нож, как раз последний. Особенно начищенный и блестящий.

— Вот вы человек или кто? Что вы мне психическую атаку устраиваете постоянно? Думаете, я не понял, что этим ножом Лильку убили? Вы его начистили и нарочно мне показываете со всех концов. Но только вы этот нож не нашли в реке. Он у вас находился. И как он у вас оказался — для меня не вопрос. Вы даже нарочно перчатку свою разрезали. Но пожидились по-настоящему распахать — как бы на самом деле ржавый, из воды, нож произвел действие. Вы так подпороли, чтоб потом зашить удобней и незаметней. А нож у вас, потому что вы сами, лично гражданку Лилию Воробейчик зарезали.

Лаевская всплеснула руками так, что кожа от браслетки часов до локтя мелко затряслась:

— Ой! Сама? Лично? И зачем же я тогда с этим ножичком ношусь? Что ж я его не забросила без вести пропавшим? Что ж я его вам показываю, показываю, а вы ноль внимания?

— Ваши цели мне пока неизвестные. Понимаю главное — вы женщина коварная и доверия не заслуживаете. Вы устраиваете цирк на пустом месте, чтоб свернуть с себя ответственность и переложить ее на другого.

— На вас, правильно?

— Это вы сами мне сейчас прямо и сказали. Спасибо.

Лаевская взяла кусок халы, протянула мне.

— Угощайтесь. Сейчас чай принесу. И масличко. С базара. Раненько утречком сбегала, купила. Вас дожидаячись. Вам Светлана про нас со Штадлером рассказала, вы сюда и прибежали. Молодец. У меня сегодня клиенток не будет. Хоть поговорим спокойно.

От булки я отстранился, но Полина Львовна на это наплевала. Принесла заварной чайник, две чашки на блюдцах, варенье в вазочке. Расставляла долго: то в одну сторону сдвинет, то в другую.

Два ножа забрала, отнесла на кухню.

И оттуда мне прокричала, вроде нечаянно:

— А вы ножик в руке не держите. У вас кулак затек. Аж побелел. Вы ножик на стол положите. Не порвите только ничего.

И правда. Нож оставался у меня в кулаке. И кулак мой был белый-белый.

Лаевская еще несколько раз ходила взад-вперед: то сахар принесет, то графинчик с наливкой. То рюмки.

— Ну, садитесь, Михаил Иванович. В ногах же правды нету. Так что вы говорите? Этим ножом и убили Лилию Воробейчик?

Я собрался отбрить ее и даже уйти. Но присел и придвинул стул близко к столу. Мои руки лежали на коленях.

Лаевская налила чаю, подложила себе на блюде кусок булки с маком. Подобрала ложечкой мак, который осыпался, — горкой наверх, обратно на корочку. Потом сгребла в щепоть и кинула себе в рот.

— Я с вами по-домашнему. Можно сказать, без лишней культуры. Культура всегда мешает. Церемонии разные, фигли-мигли. Мне Лилечка рассказывала. Вы против церемоний. Вы с женщиной любите обращаться с силой. Если она не против, конечно. А Лилечка была не против. Сколько она про вас мне рассказывала! Невозможно представить, сколько я выслушала ее слов. Исключительно про тягу к вам. И про вашу любовь к ней. Неужели она все напридумала? А?

Я смотрел на Лаевскую глазами и понимал, что глаза у меня сейчас нехорошие. И лучше б взгляд мне опустить и дать себе передышку.

Лаевская жевала халу и запивала чаем. Она не смотрела на меня. Она смотрела куда-то в сторо-

ну. Я протянул взгляд туда же и увидел на стене большой гвоздь. А на гвозде висел картуз. Я узнал его сразу. То был картуз Зуселя. Я запомнил его, потому что закрывал им лицо Зуселя в могиле на Троицкой горе.

Лаевская встала и заслонила от обзора картуз.

— А со Светочкой у вас серьезно? Как с Лилечкой или еще серьезней? Светлана — девушка интересная. Но глупая. Все мозги себе на машинке отстучала. Бедная.

Я вспомнил про билет в кино. Деньги не отдал. Забыл. Светка не напомнила. Стыд уколол прямо в сердце. Внутренне пообещал себе отдать с прибавкой. С конфетами.

Лаевская тронула картуз, вроде вещь в музее:

— Крепко я переживаю за Зуселя без Малки. И за Довида. И за хлопчиков. Наметила поехать проведать. В воскресенье. Может, вместе? Хлопчики обрадуются. Вы для них большой человек. В форме. С пистолетом. Ёся у вас. Братик их родной. А Любочка когда возвращается? Я за ней соскучилась. И за Ганнусей. Зачем вы ее отправили от себя, не понимаю. Ей ваше внимание надо, а не воздух с питанием. Но вы про внимание не учитываете. Это и Лилечка отмечала.

Все это Лаевская говорила спиной ко мне. Как артистка на сцене. И сцена располагалась в районе зуселевого картуза.

Я решительно сказал:

— Во-первых, повернитесь ко мне лицом, гражданка Лаевская.

Не повернулась. Дернула плечом.

— Во-вторых, я вам не баба-сплетница, которой вы нанялись подштанники кроить.

Лаевская засмеялась.

Так со смехом ко мне и повернулась:

— Да, права Лилечка, ляпнуть вы можете. Обсмеешься. — И тут же прошипела: — Досмеялась.

Я такого терпеть не мог. Не мог — и баста.

— Я вас сейчас пожалею. Вы не в себе. Вы много в жизни пережили. Даже больше, чем некоторые. Возможно, вы себе что-то придумали с неясными намерениями. Оставляю вас и вашу совесть в покое. Приходите в себя. Поправляйтесь. Я в отличие от вас — человек прежде всего. А потом сотрудник органов.

Уходил я под ее смех.

На данном этапе я потерпел поражение. Мое гуманное отношение Лаевской до задницы. Она будет гнуть свою линию до упора. Но где упор — вопрос.

В своих мыслях я углубился настолько, что не заметил дороги.

Ноги принесли меня на улицу Клары Цеткин, к дому Лилии Воробейчик. То есть Евы Воробейчик.

Она, не обращая внимания на рабочее время, стояла возле калитки во всей своей красе и беседовала с Хробаком. Видно, прощались. У всех на виду. Увидели меня, но нарочно отвернулись.

Дознаватель

Я прошел метров сто до поворота. Укрылся за деревьями. Когда Хробак убрался своим путем, а Евка стукнула калиткой, направился задами к ее дому.

В комнате мы оказались одновременно с Евкой. Я — через раскрытое окно, она — через дверь.

— Ну, Ева, здравствуй. — Я перешел сгоряча на «ты». — Почему не здороваешься?

Евка испугалась. Но сохранила показную гордость. Сказала с вызовом:

— Мало вам на работе выговор сделали, так теперь совсем прогонят!

— Садись, Евочка. Почему не на работе? Конвейер идет, а тебя нету. С хахалем прохлаждаешься в рабочее время.

— Уволилась. Временно не работаю. И не с хахалем, а с женихом. У нас свадьба через две недели.

— Твой жених в курсе, что ты с сионистами якшаешься? С Зуселем Табачником, например. Возишь его на себе в Остер. Грозишься Довиду, чтоб Зуселя хранил как зеницу ока.

Евка опустила руки. Вид у нее поубавился.

— При чем тут сионисты? Меня Лаевская попросила Зуселя в Остер отвезти.

— Ну-ну. А что ты беременная была от кого неизвестно, жених знает? Или ты ему девушкой предстала?

Евка села на диван, но от поспешности неудобно. Салфетка с подставки на спинке свалилась.

И ей на голову. Евка салфетку стала смахивать, зацепила сережку.

Закричала:

— Ухо порвала!

Я посмотрел — ничего. Капелька крови.

— Не паникуй, Евочка, до свадьбы заживет. Фатой закроешься. Никто не заметит.

Евка забилась в угол и поджала под себя ноги. Колени у нее были круглые.

Евка очухалась и спокойно сказала:

— Я не в том возрасте, чтоб девушкой притворяться.

Но я понял, что прошлая беременность для нее — камень. И мне надо этот камень хорошо кинуть. Попаду — мне польза. А мимо — зацепить Евку больше нечем. А через нее — Лаевскую.

Евка сидела уже привольно и платье на коленки не натянула. Красиво устроила ноги в красных туфлях на каблучках.

— А тебе, Ева, привет из Остра. От семейства Файды Мирона Шаевича. Сима Захаровна меня обедом кормила. Про тебя много рассказывали. Вспоминали.

Ева махнула рукой.

— Ну что они вам могли такого рассказать, когда они сами по уши в говне. И Сима. И Мирон. Я их как облупленных знаю со всех сторон.

— Хорошие люди. Напрасно ты их поливаешь. И сынок их хороший хлопец. Суня.

Тут Ева еще сдала свои позиции. Самую капельку. Как на ухе. На такую самую.

А я иду вперед:

— Да, Суня — хлопец на все сто. В техникуме учится. Правда, оказался вороватый. В мешок мой залез и финку украл. Я шума не поднимал. Зачем молодость губить за железяку. И папаше его не сказал. Но тебе, Ева, скажу. Надо беречь хлопца. Может оказаться на плохом пути. Сначала за мелкую кражу — это если по-хорошему. А если по-настоящему — так кража у сотрудника органов милиции при исполнении служебных обязанностей. Отягчение — лет на десять.

Евка молчала и испуганно пялилась в мою сторону.

— Да, Ева. У меня еще при себе важные документы имелись — тоже пропали. Наверно, Суня. Дело ясное. Прямое. Но хлопцу судьбу не вернешь.

Евка трогала ухо пальцем. Потрогает, пощупает — и уставится на палец. Смотрит, смотрит, потом опять за ухо. А глаза пустые. И в глазах ее я увидел Суньку.

Я прикрикнул:

— Ева, смотри сюда! Не на палец смотри. А сюда, на меня! В глаза! Пойми, твоя жизнь в твоих руках. Ты на карту Хробака поставила со всей его заботой о тебе в будущем. Осознай глубину, Ева. По-хорошему осознай. Все, что скажешь, будет у меня в тайне и секрете. Я хочу тебе помочь. Не по долгу, а по совести. По-человечески. Говори, Ева.

— Что говорить?

Я ответил, как обычно на допросах:

— Всё.

И она рассказала.

Евка и правда ходила беременная в 1936 году в возрасте двадцати двух лет. И ребенок у нее внутри оказался от Файды. Оказался не случайно, а целенаправленно, так как Файда в то время занимал должность в партийных органах райцентра Козельца. А с Файдой семья Евки познакомилась помимо своей воли следующим mannerом.

В тридцать пятом Соломона Воробейчика обвинили голословно во вредительстве на пуговичном производстве. А там и Евка с Лилькой трудились. Их начали приплетать. Не крепко, а малопомалу. В рамках обязательной нормы раскрытия вредительских сетей и организаций.

В дом часто приходила Лаевская Полина Львовна на предмет фурнитуры для шитья. Соломон ей таки из артели таскал понемногу пуговиц и пряжечек по сходной цене. Конечно, Полина оказалась в курсе тревожных обвинений и, как лицо заинтересованное, искала защиту от возможных преследований.

В 1936 году Лаевская познакомила Евку и Лильку с Файдой. Вроде для того, чтоб в случае чего Файда оказал помощь семье через жалость к красивым еврейским двойняшкам.

Файда, как районный козелецкий начальник, имел влияние, а в глазах Евки и Лильки являлся

богом. К тому же Файда красиво читал наизусть из головы всякие стихи. Евка в него втрескалась, так как он не считался опасным, и родители даже способствовали по соображениям будущей помощи.

То, что Файда был женатый, выплыло позже. Он тогда работал в Козельце, и не все из его жизни лежало прямо на тарелке. А Лаевская про его жену ничего не упоминала. Таким образом, Евка забеременела, что часто бывает.

И вот именно в этот решительный момент появилась жена Файды и одновременно двоюродная сестра Полины Лаевской — Сима Захаровна. Эта самая жена Файды подстерегла Евку в пустом месте и прижала к стенке. Прямо вместе с животом и прижала. И сказала: «Я знаю про Мирона. У меня условие. Простое. Ты ребенка выносишь и мне в подол родишь, и будет мой ребенок в полном смысле. Я с Мироном обговорила. Он не против. А людям скажешь: скинула. Мне все равно, или будут у нас с мужем дети. Хоть я так уже считаю, что не будут. У меня здоровье слабое, и мне рожать нежелательно. Но этот — мой. Не сделаешь по-моему, я Мирона настрою, и всю вашу семейку засудят в Сибирь».

Евка с перепугу согласилась. А Файду с того дня не видела.

Малка по всем еврейским обычаям устроила роды в Козельце, Евка в подол Симе родила хлопчика, вопрос оказался закрытый.

Лаевская перестала ходить к Воробейчикам и через некоторое время исчезла из Остра со всей семьей. Многие утверждали, что ее мужа отправили на работу в Среднюю Азию. А ее муж, между прочим, в Остре появлялся редко, и вообще про него говорили, что он или инженер, или про- раб и работает по всей необъятной стране. Лаевская гордилась и всегда ни в чем не нуждалась материально и морально. Шила только себе — фик- фок на один бок. Ну, детям своим, конечно. Но себе всегда лучше. А фамилию, между прочим, оставила себе свою, на мужнюю не позарилась.

Правду про роды знала только Лилька, Лаевская, Малка и Файда с женой, будь она неладная. Змеюка.

Отец как упал когда-то в перепуг при содействии Лаевской, так из этого состояния не вылез аж до начала войны. Мать тоже. Когда объявили войну, они трохи оправились, так как в Остре распространялись слухи, что советской власти конец и можно будет жить как раньше. Тут уже дочери с ними не согласились, Евка уцепилась за чью-то подводку и уехала в эвакуацию в чем была, а Лилька пропала в неизвестном направлении.

Евка вернулась из эвакуации в Остер, а Лилька — нет. Евка жила с Малкой, которая прибилась в качестве приживалки и свидетельницы ее некрасивого поступка.

Пару лет назад в Остер перебрался на жительство Файда. В связи с тем, что его турнули из больших начальников в Козельце. Возглавил хо-

зайственную работу в клубе, который располагался в бывшей синагоге. Так он себя аттестовал. Слова «завхоз» стеснялся.

Так что Суня оказался на глазах Евки. Что постоянно мучало и внутренне стыдило ее. И она б хоть что сделала, чтоб вырваться из Остра на другой простор. Свой дом Евка пыталась продать и на те деньги прикупить что-нибудь в другом месте. Но давали мало. Дом с виду хороший, а так — труха.

Намекала сестре, что им можно было б воссоединиться в Чернигове, но Лилька ее к себе не допустила без объяснений.

А какие еще объяснения могут быть, если они с самого рождения в тягость друг другу по причине одинаковости. Их никто не разделял, считая одним целым. А им хотелось отдельности.

И вот Лильку убили, и получилась возможность уехать из Остра на новое место.

Лаевская свела Евку с Хробаком. Дело шло к свадьбе.

И не вытянул бы я из Евки ни единого слова, если б опять-таки не Лаевская.

Полина Львовна недели две назад приходила с намеками, ворошила прошлое и наконец прямо высказала такое: «Лильки нету, Малки нету, теперь я одна знаю про Сунечку. Мирон и Сима не в счет. Я тебя, конечно, ни за что не выдам. Устраивай свою личную судьбу. Это святое дело. Я всегда за всех рада. Не подумай, что я у тебя что-то попрошу. Это и не просьба, а пшик. Скажи Цуп-

кому, если спросит, а он обязательно спросит, что тебе Зусель сам своим ртом рассказывал, как его Цупкой заталкивал в землю».

Евка от такой просьбы чуть с ума не сошла. Но вида не показала. Пообещала. Назавтра ей Лаевская привела Зуселя и велела отвезти в Остер к Довиду. Зусель не говорил ни звука. Евка удивилась, так как раньше Зусель без остановки громко молился и всех наставлял на свои правила.

Лаевская сказала, что Зусель в результате болезни чокнулся и сейчас совсем безответный. Евка спросила, можно ли считать, что Зусель онемел. Лаевская успокоила Евку утвердительно. И особо отметила, чтоб Евка на словах передала Довиду насчет неприкосновенности Зуселя для кого бы то ни было, особенно и в частности для Цупкого.

Евка немножко успокоилась, так как посчитала, что ее вранье ляжет на совесть Лаевской, а сам Зусель ничего против не заявит. Как было на самом деле — не важно. Важно, что Лаевская останется довольная и Хробак ничего не узнает хоть на данный момент.

Отрицательное отношение Лаевской к Цупкому, то есть ко мне лично, Евка давно заметила и почувствовала. Но на недоуменные вопросы Лаевская отмахивалась и смеялась: «Было дело».

Евка решила, что ладно.

И вот она доставила Зуселя в Остер.

Скоро свадьба с Хробаком. А тут я. И что теперь ей делать? Она мне все выложила с-под ног-

тей, потому что на Лаевскую особенно не надеется. Сегодня — одно, завтра — другое. Если у нас с Полиной контры, так она ни при чем. А получается, я сильно тяну за Суню, а если я за него потяну, Сима с Мироном кинутся к Лаевской, а Лаевская со мной играет в свои идиотские игры, и, наверно, тут без нее не обошлось. Полина ездила только что в Остер, сама рассказывала, вчера забегала и сообщила, что была у Довида и у Файды. И что я там был. И что я у Файды с Симой выпытывал про Евку. Вроде есть подозрение, что Евка свою родную сестру убила или являлась близкой пособницей. А Файда, как давний сожитель, вспомнил якобы старое и опять с Евкой крутит, и тоже замешан. А в результате может так получиться, что приплетут Суню каким-то боком и пойдут они все куда надо. Так что имеется ясная необходимость Цупкого укоротить. Вот через Зуселя они и укоротят.

Но только так Евка не согласная. Она никого не то что не убивала, а вообще. И чтоб я знал — она не виноватая. Если отдельно Суня что-то сделал — пускай и отвечает. Но за неправду отвечать Евка не будет. Каждый по отдельности пускай отвечает, а не всей кодлой. Она натерпелась с детства за всех разом, и больше в ней страха нету. То есть за всех — нету. А за себя лично — дело другое. За себя она, конечно, боится. Потому что Хробак. Жалко терять такой момент. Может получиться выгодный муж, хороший, с любовью, а годы уже не те.

И чтоб я прямо сказал, подозреваю я Евку в убийстве сестры или нет.

Я честно ответил, что нет, нет и еще раз нет. И что никогда таких мыслей не высказывал никому. Тем более — Лаевской.

Евка передохнула:

— Ну вот, конечно, Лаевская придумала. А с Суней разбирайтесь. Он взрослый человек. Он давно от меня отдельный.

Евка встала с дивана, подошла к зеркалу, расчесалась.

Губы намазала помадой, повернулась через плечико и спросила невинным голосом:

— Может, вы на самом деле Зуселя закапывали? Я вам правду, и вы мне правду. Чтоб мы остались квиты.

Что за люди?

Только что неприглядные слова рассказывала про собственную жизнь, аж захлебывалась. И тут же на себя в зеркало любуется. Тем более при постороннем мужчине. И устраивает провокацию при этом.

Я не выдержал:

— Ева, имей совесть. Я зараз уйду, тогда и прихорашивайся.

Про Зуселя даже вроде не заметил.

Она усмехнулась.

Я поднажал:

— Ева, а тебе не удивительно, что их никого уже нету?

Дознаватель

— Кого? — рассеянно спросила Евка.

— Ясно — кого. Лильки, Малки. А ты — есть? Евка застыла с открытыми губами.

Я наступал:

— Вот ты есть — и целиком в руках Лаевской. Понарассказывала мне целую корзину грязюки. Думаешь, я тебя от нее отгорожу? Рот ей заткну? А как? Какая у меня на нее управа? Любит она меня или не любит — пускай как хочет. А ты у нее на крючке. Ты одна-однисенькая у нее на крючке. И будет она с тобой делать что захочет. Сегодня — Суня, завтра — что ты сестру убила, послезавтра — что всех засудят. И будет тянуть свое. Одно другого непонятней. Если б хоть знать — для чего ей. Для чего, ты мне скажи. Вот вопрос. Выйдешь ты за Хробака. Успокоишься. Она — опять тут как тут. Учти, чем меньше рыбок на одном крючке, тем они лучше держатся. А если одна — так вообще насмерть зацепленная.

Евка машинально схватилась за свою помаду и опять завозюкала по губам. Получалось мимо и мимо.

Я подошел к ней сзади, приобнял за талию и шепнул в ухо, в то, что с царапиной:

— Ева, подумай. Пока Лаевская тебя держит, тебе покоя нету. Вся твоя жизнь у нее в руках. Хоть с Хробаком, хоть с кем другим. А держать она тебя будет до самой кончины. До смерти. Или своей, или твоей. А про Зуселя, так Лаевская разве правду когда говорила? У нее ж язык не повер-

нется правду сказать. А ты распространяешь. Стыдно. Я к тебе с добром.

И пошел. Через дверь. Как положено.

Евка крикнула вдогонку:

— Подождите. Еще скажу.

Я вернулся. Стал в дверях вполоборота.

— Говори.

Евка замялась.

Потом вскинула голову и сверху процедила:

— А Лаевская говорила, что у вас с Лилькой было. И сильно было.

Я махнул рукой:

— Идите вы все до биса. Бабы дурные. Ты на своем крючке сиди, а меня не трогай. Не подцеплюсь.

С тем и ушел окончательно. И дверью не грюкнул. А если и грюкнул, так тише, чем надо б.

И хоть я проявил сдержанность, в душе у меня бушевала буря.

Успокаивало одно — в голове, что у Лаевской, что у Евки, царила полная каша.

Почему я нуждался в спокойствии? Потому что нервы у меня находились на пределе. Я переживал за Любочку, за детей. Довид с Вовкой и Гришкой не выходили у меня из сознания. Зусель опять же.

Правда, Зусель — особый разговор. Недоразумение. Но теперь недоразумение становилось во главу угла, и этим проклятушим недоразумением Лаевская тыкала мне в лицо.

И, конечно, Лилька Воробейчик. И то, что у меня с ней якобы было.

Я двинулся домой. Время близилось к пяти, и меня еще ждала Светка.

Хотелось переодеться в чистое. Нижняя рубаша под кителем взмокла. Ремень передавливал ребра, аж в сердце отдавало. Я нарочно перетянул еще ту же на одну дырку. Не знаю для чего. Но нарочно.

Что Лаевская каким-то образом подключила к своим играм Светку, стало для меня ясно. Но за каким чертом Светка ей поддалась? Да хоть за платье в горошек. В талию. С вырезом. Как у покойной Воробейчик.

И Евка, и Светка — несознательные. Их возьми за руку и веди. Они и поплетутся за своей выгодой. А выгода копеечная или совсем убыток.

Лаевская — другая. Лаевская в полном сознании. И опасная.

Женщина так устроенная природой, что с ней что угодно может случиться — а она потом будет жить как с гуся вода. Потому что крути — не крути, а надо мужа обихаживать и за детьми смотреть плюс старики.

Но если случится сознательность — пиши пропало. Сознательность — самое страшное, что может произойти с женщиной. Тогда баба отходит от своей природы. И уже на нее управы нету. С Лаевской — так. Я только сейчас понял всю глубину.

А если она и Любочку подключила к себе? Подцепила за что-то?

Нет. Вот такого быть не может. Ни по природе, никак.

В белой рубаше-апаш, в хороших брюках с тонким гражданским ремешком я постучался в дверь Светкиной жилплощади.

С соседней двери высунулась непротрезвевшая морда.

— Нема Светки. К ей баба расфуфыренная приходила. Обе выскочили и побежали. Светка, видно, с работы только — и опять куда-то. Бежала, аж сорочка снизу вылезала. С кружевцами, с розовыми. Я все ее сорочки знаю. Она на дворе сушит. А еще милиция! Хоть бы постеснялась!

Мужик засмеялся и подмигнул.

Я показал ему кулак и проговорил хорошим голосом:

— Будешь вякать — убью.

Мужик побледнел и загородился руками.

И хватит с него. Больше не вылезет. Я этот свой приемчик знаю. Работает без осечек. И не на таких пробовал. Главное — культурно.

Да. С Лаевской не работает. Если она пошла вперед — значит, пошла. Поперла! Танк! Значит, ей ни тюрьма, ни смерть нипочем. У нее на первом месте не факт, а сознание. Вот что непоправимое.

По своему опыту знаю — для подобных людей факта как такового не существует. Они факта не боятся. Они его так перевернут, так перекроют, что он станет вроде перелицованный. То же, да не

то же. Притом целей, чем на самом деле. Что и ставит окончательную точку в логике.

Я пошел на Вал — постоять над Десной, полюбоваться водным простором. Подышать воздухом акаций. Немножко успокоился. Разложил в уме все по порядку.

И порядок получился следующий.

Что главное? Главное — моя родная семья. Любочка, дети.

Что потом стоит? Потом — чистая совесть.

И только дальше — Лаевская с ее измышлениями.

Евка теперь свой язычок против меня прикрутит. Выболтала мне с перепугу про Суньку. Это сведение мне полезное. Во всяком случае, тут я во влиянии на Евку сравнялся с Лаевской. Так что про Зуселя Евка замолчит навек. И меня начнет обходить десятой дорогой.

Дальше — Зусель. Совсем отдельно. Несчастный случай и основного не задевает. Надо будет — ответу по закону, отсиджу свое.

Я вдруг подумал спокойно про отсидку. Выходят же люди из тюрьмы и живут себе. Если не по политике — так ничего страшного. Семье ответственности никакой. Будет материально трудно. Но много мне не дадут. Учтут личность Зуселя. И мою тоже учтут. Боевые награды. И так далее. Главное — Зусель живой. А закапывал я его, не закапывал — доказать трудно.

Но спокойствие посетило меня только на минуту.

Оставался еще неразобранный вопрос. И он поднялся ребром.

Намеки про Лильку Воробейчик.

Обсмотрелся вокруг. В пустоте я находился один. Впереди — Десна со своей чистой водой, сзади — заросли акаций и других деревьев с кустарниками, в том числе жасмина и сирени, которые так обожала нюхать Любочка.

И все это отдать? Кому? Лаевской? Да она ж этим подавится. Ей же все равно счастья не будет. Ни семьи у нее больше не будет, ни детей. А у меня — счастье уже есть. Мне другого не надо.

И какой вывод?

Я посмотрел в небо. Мне показалось: сейчас я найду вывод.

Но меня окликнула Светка.

— Миша! Как хорошо, что ты тут! Я так и знала, что обнаружу тебя. — И обратилась ко мне на «ты», конечно, специально. Я это принял. — Весь Вал обегала. Меня мой сосед проклятуший аж на улице подкарауливал. Пропустить боялся. Я как вернулась из магазина, он меня чуть не под ручки на крылечко завел. Причем с такими словами: «Вы и сами, Светлана, не знаете, как я вас и вашу маму уважаю. И с этой минуты буду уважать еще больше. Тут ваш знакомый приходил. Высокий, красивый, чистенький такой, наглаженный.

Только что ушел. По направлению к Валу. Бегите за ним спокойненько, я за всем тут присмотрю, чтоб хулиганы окна вам не побили, как месяц назад». Представляешь, Миша? Сам наши окна раздербанил по пьянке, а теперь смотреть будет за хулиганами. А я ж сразу поняла, что это ты заходил. А я с работы ровно без десяти пять пришла, чтоб тебя встретить, а ко мне соседка забежала, модница страшная, у нее такие сведения, что в магазине на Менделеева материя продается хорошая. А мне сильно надо. Мы с ней и побежали. Я рассчитывала, ты подождешь. А ты не подождал.

Светка сделала обиженную гримасу лица.

— Какая знакомая? Как фамилия? Где живет? Где работает? Быстро отвечай одним махом!

Светка выпалила:

— Стороженко Нина Владимировна, Валовая улица, дом три. Через дорогу от нас. Работает в порту, диспетчерша. Не замужем. В годах. Совсем не интересная. Толстая.

Я ласково улыбнулся.

— Слишком быстро ты, Светка, ответила. Не брешь. Говори, куда и с кем бегала.

Светка потупила глаза.

— Ну какая разница. По женским делам. Тебе не обязательно.

Я настаивал. Даже руку Светке крутанул.

Она вырвалась и закричала:

— Больно! Ну и ласка у тебя, Миша! Полегче не умеешь?

— Не умею. Ну?

— Если скажу, пойдём ко мне? — Светка перестала скрывать свои коварные намерения. Смотрела на меня призывно и безотступно.

— Пойдём. Говори.

— Сначала пойдём, дома скажу.

Я перешел на другой прием:

— Светочка, сейчас не время к тебе идти.

Я и сам хочу. Только мне еще сегодня надо дел много переделать. По службе. Пойми. Да и пошутил я. Зачем мне в твои бабские дела мешаться? Подумал, может, ты с другим мужчиной куда бегала. Заревновал. Прости.

Светка радостно засмеялась.

— С каким таким мужчиной? Ладно. Скажу. Лаевская Полина Львовна ко мне прибежала. Портниха. Но точно — мы с ней за материей пошли. Она побольше хотела купить, а в одни руки нельзя. Так она ко мне. Взяли на двоих семь метров. Она заплатила. Мне блузочку с рукавом «японка» пошьет — задаром. За мое одолжение.

Светка схватила меня под локоть и потянула.

Но вдруг опомнилась.

— Ой, Миша! Ты меня на провокацию взял? Взял. Гад ты, Миша!

Я переменял местоположение своей руки и теперь крепко держал Светку сам.

— Да, Светлана. Работаешь ты в органах, а живого опыта работы с людьми нету. Пошли к тебе. Поговорим. А там как получится.

Светкин сосед увидел нас издали и демонстративно пошел в другую сторону от барака. Объяснил таким образом, какой он деликатный.

Светка уселась на кровать, опустила голову и сказала:

— Что рассказывать? Я ничего плохого не сделала. Тем более не совершила. Познакомилась с Полиной недавно. С месяц назад. Она меня подстерегла после работы вроде случайно. Разговорились. Она меня похвалила за мою фигуру. Прогулялись с ней по Валу. Она сказала, что портниха, что шить приходится на одних только начальниковых жен. А они все как колоды. Ни талии, ничего. А она б мечтала пошить для души. Попрощались с ней. А через несколько дней она опять меня встретила и пригласила к себе домой. В гости. Я пошла. Она мне сказала, что кроме шитья у нее есть одно увлечение. Она сваха. У нее в Киеве и в Харькове, не говоря про райцентры, много женихов. И после войны вдовых и молодых. И она ищет им порядочных невест. Красивых, конечно. И что по всем статьям я подхожу для одного из Киева. Он сейчас в длительной командировке, но скоро вернется, и она нас познакомит. Я, конечно, по ее внешности сразу отметила, что она по нации еврейка. Потому и заинтересовалась, какой нации жених. Она заверила меня, что русский или в крайнем случае украинец.

Светка бубнила, глаза не поднимала. В этом месте остановилась и замолчала.

Маргарита Хемлин

— Так ты меня матросила?

— Ты женатый. Не считается.

Я согласился, не считается.

Светка осмелела.

— Ты мне давно нравился. А тут одно к одному. Что, я должна сиднем сидеть и жениха ждать? У меня нутро есть. И нутро требует. А кто осуждает, тот пускай за собой следит.

Я поддержал:

— Правильно, Светлана. Правильно.

— Ну вот.

Светка принялась взбивать подушку. Огромную, в вышитой наволочке. Белым по белому. С обшитыми дырочками. Взвалила себе на колени и взбивает. Как тесто.

— Сама вышивала?

— Нет. Мама. Приданое ее. Я тоже умею. — Светка отвалила подушку от себя, подsunула за спину и уселась, вроде в кресле. — Я много чего умею. Только никому не надо. — Светка сделала вид, что будет плакать.

Я выждал.

Она не заплакала. Не смогла.

— Поплачь, Светлана. Поплачь.

— Не получается. Ты столбом торчишь, прямо в глазах темно от тебя. Садись. Хоть рядом присядь.

Я сел.

Обнял Светку за плечи и сказал так:

— Если не хочешь, не рассказывай больше. Я и сам тебе понарасказываю. Потом Лаевская

попросила тебя распространить среди меня слух, что она приходила в отделение со Штадлером. А еще просила достать ей почитать материалы дела Воробейчик Лилии Соломоновны. Из архива взять. Вроде для интереса. Вроде она ей родственница. И ты сделала, как она просила.

Я даже и не гладил Светку по плечу, а так — поддерживал. Повода никакого ей не давал, чтоб она передо мной расстелилась в полном смысле слова.

Но она, конечно, не так меня поняла.

А я не железный.

На вопрос Светланы, люблю ли я ее после этого, я честно ответил, что не люблю. Но уважаю как женщину и человека, который просто запутался.

Светка спросила мое мнение, обманет ли ее Полина с женихом.

Я заверил, что обязательно обманет. А до этого Светке еще придется на Полину поработать. Не первая Светка такая у Полины и не последняя.

На вопрос Светки, что я Полине сделал, что она под меня копает, я промолчал.

Задание Светке дал следующее: контакты с Полиной прекратить по-хорошему, сказать, что сама себе нашла жениха и не нуждается больше в ее услугах, и что никаких блузок ей не надо. А что Светка раньше сделала — в том она призналась лично мне, и я ее простил без дальнейшего хода по начальству.

Я также заверил Светку, что Полина заткнется. Ей скандалы ни к чему. Она насквозь в брехне. Сама запуталась и боится, что брехня в любом тонком месте обвалится и ее первую придавит.

Дома первым делом написал письмо Любочке. Вложил в него всю теплоту, которая во мне была. В конце сделал специальную приписку, чтоб она не пускала Ёську купаться голого, потому что дети будут смеивать его. В селе так: что видят, с того и гогочут. Правилами не интересуются. И предрассудками чужими тоже. А нашему хлопчику не надо, чтоб был лишний смех в его адрес. Еще натерпится.

Потом подумал.

Подумалось вот что. Светка теперь будет тихая. Опасности от нее никакой. В этом я был уверен.

Но Лаевская! Прямо завзятая шпионка с сетью. И цепляет за самое чувствительное — за любовь. Евку зацепила. Светку.

В голове у меня стучало кувалдой: «И Любочку мою, и Любочку зацепила!» Но такая мысль меня б убила целиком, и я ее отогнал.

Я — человек. И должен был жить. Ради своей семьи.

Таким образом я назначил себе передышку от Лаевской и всех, кто с ней.

Прошло несколько дней. Я окончательно пришел в свое нормальное состояние уверенности.

Действия Лаевской я уже расценивал как зло-
стное хулиганство и ничего больше. Бабские
штучки. Пшик. Если я не буду поддаваться на ее
выходки, ей надоест меня травить.

На службе дела шли хорошо, даже успешно.

Я спокойно сидел и разбирал рабочие бумажки.
И только меня позвали к телефону, почувство-
вал, передышка закончилась.

Звонила Евка. Сказала, чтоб я имел в виду про
ее свадьбу. Мне приглашение от Хробака. Будет
Свириденко, еще много начальства со стороны
жениха. Что самостоятельно она б меня не позва-
ла, но Хробак распорядился, чтоб она обеспечила
мою явку. Праздновать будут в доме Евки. То есть
Лилии Воробейчик.

Сначала решил не ходить. Но потом оператив-
ный опыт перевесил: надо.

А пока на повестке дня у меня стоял Штадлер.
Зачем-то Лаевская наказала Светке разыграть
спектакль. Даже делала упор в своей брехне на то,
что именно явился Штадлер, а она при нем как со-
провождающая инвалида.

Шел к Штадлеру с улыбкой. Вот шкандыбаю
к нему. Чтоб спросить про Зуселя, который те-
перь тоже бессловесный.

Штадлер встретил меня грустно. Сразу при-
нялся за писанину.

Я читал за ним каждую букву. А он их от быстрого волнения сильно пропускал и путал местами.

Изложил, что его долго выпрашивала Лаевская про меня. Но он ничего не сказал. А каким манером ей стало известно, что он со мной слишком хорошо знаком? А таким, что ей рассказывал покойный Гутин, как она заверила Штадлера.

На мой вопрос, куда Штадлер пошел после того, как я его отправил от себя в вечер прихода Зуселя, Штадлер написал, что домой и что других мыслей у него тогда и быть не могло.

Штадлер, когда писал, часто слюнил химический карандаш, и на лице у него образовались следы. В частности, на губах и на лбу, потому что он то рот мусолил кулаком, то лоб тер.

Я сказал, что только недавно видел Зуселя и что Зусель просил передать привет. И напомнил про деньги.

При упоминании денег Штадлер заволновался, членораздельно замычал и замахал руками, показывая отрицание.

Я прямо, но мягко спросил, зачем Зусель тащил с собой гроши? Может, хотел мне хабар дать?

Штадлер ничего не написал. Но плечами не пожал и руками не развел. Даже головой не помотал.

С чего я сделал вывод: обманывает и скрывает. Тогда я перешел на другие ноты.

Сгрел его писанину, скинул на пол и растер сапогом.

Показал пальцем вниз для наглядности:

— Это твоя писанина. Пока. А можешь и ты сам так лежать. И тебя сапогом будут растирать в муку. Где деньги?

Штадлер не пошевелился. Карандаш оттолкнул — он как раз подкатился ему под локоть. Я карандаш поймал и нацелил прямо в глаз Штадлеру. Карандаш не сильно острый. Но Штадлер — опытный с органами. Знал, чем может дело кончиться.

— Ну, Вениамин Яковлевич?

Штадлер смотрел на обслюнявленный грифель, как на страшного врага. Вроде в руках у меня пистолет.

Смотрел-смотрел и вдруг опустил голову, руки свободно свесил вдоль спинки стула. Откинулся назад. А ноги вытянул. Даже нахально вытянул. Чуть-чуть шаркнул меня по сапогам.

И так замер.

Я крикнул, чтоб он вел себя как человек, а не как рецидивист-отказник на допросе.

Штадлер встал, вытянул руки по швам. Задрал подбородок и засмеялся. И смеялся долго. И пялился мне в глаза. И плевался синими слюнями.

А я и не такое видел.

Собрал бумажки с пола, сунул в планшетку. Не торопился, застегнул на все пряжечки.

И сказал на прощание:

— Спасибо, гражданин Штадлер. Что надо — вы сообщили органам в моем лице. И поплевались

хорошо, от души. За всю свою жизнь отплевались. А только чем вы плевали? Какими слюнями? А теми слюнями, которыми карандашик свой доносный мочили, чтоб яснее мне видно было. Противно на вас смотреть.

Штадлер на мои слова что-то замычал, но негромко. Я не слушал.

Все, что мне от него надо было, все было у меня.

А было у меня вот что.

Первое. Штадлер за мной не следил, как я тащил мнимо покойного Зуселя.

Второе. Лаевская как-то связана с Гутиным.

Третье. Грóши у Зуселя все-таки были. И они куда-то задевались. И Штадлер знает, куда и для чего Зусель эти несчастные деньги тащил за собой в Чернигов. И главное, знает, что у меня их нету. Если б он думал, что грóши у меня, он бы не так себя проявил. Он бы всячески показал, что это не его дело — знать про деньги. А он, наоборот, не сильно глубоко скрывал, что знает. А не выдает своих познаний в этом вопросе из принципа. И плевался он для показа принципа.

И вот итог.

Грóши у Зуселя были такие, что касаются не только его, но и еще кого-то. То есть если понятно выразиться — общак. Не воровской, но на какое-то общее дело. А Зусель вроде казначея или сборщика.

И тут я зацепился за слово — «сборщик». И вспомнил, как мне Евсей рассказывал про Зусе-

ля. Ходит по людям, надоедает с разговорами и пропагандой.

А может, он как раз грóши и собирал? И не милостыню, а именно что собирал. То есть ему давали не на пропитание, а на какое-то дело. На какое-то сионистское дело. Он же исключительно до евреев наведывался. Кто по идее давал. А кто — отцепиться.

И к Евке с Малкой как свой забежал. А Малка — та и слова не по-своему не прокаркает. Гыр-гыр. И хлопцев у Евсея Зусель обрезал. По наказу Довида. Они с Довидом и Малкой и воссоединились, и вместе свои молитвы плели.

Кубло. Настоящее кубло.

И что? Евсея нету. Малки нету. Зусель на ладан дышит. Довид совсем плохой. Бэлка в больнице доходит. Евка запуганная, собакой уцепилась за Хробака.

Только Лаевской хорошо. Она всех за ниточки дергает.

Думает, и меня привязала. Нехай думает. Пока может думать. А может же и так получиться, что думать она и не сможет.

Если за горло как следует схватить и спросить ребром:

— По какому праву ты, сучка, меня мучаешь? Что ты знаешь? Что ты видела?

Тут я понял. Не ответит мне Лаевская ничего. Ничего. Умрет, а не ответит. На халате своем шелковом с драконом вышитым удавится, а не ответит.

Мысли мои перескочили на Моисеенко и его безвременную смерть. Если б он над собой этого не совершил, ничего теперь не было б.

Он бы ответил, как полагается, за смерть гражданки Воробейчик Лилии. И дело б не списали. И никто б в нем не копался. Не раздувал загадки на пустом месте. Не поливал меня грязюкой.

Я поставил себе задачу: закрыть все буквы «и». Без исключения.

А означало это одно: навести порядок у Лаевской в голове. Чтоб она или заткнулась навек, или рассказала б мне окончательную правду про свои намерения и мотивы.

В тот же день товарищ, про которого говорили, что он всегда подпекает начальству — Крук его фамилия, Федька, в одном закутке сидим, рядом, — завел со мной разговор.

Начал с моего здоровья, перешел на личность.

— Ты, — говорит, — Михаил, меняешься прямо на первый взгляд. Седой почти весь. А ты молодой еще. И походочка у тебя стала как в море лодочка. Ты выпивать не начал? Работа у нас нервная, конечно. Я в том смысле, что если выпиваешь, так я тебе всегда могу компанию составить. Ты сейчас один козакуешь? Пригласил бы б меня, выпили б трошки. — И посмотрел на меня долго и сильно пристально.

Я ему ответил, между прочим, твердо и непреклонно:

— Ты мне наливал? С чего взял, что выпиваю? Дух от меня идет?

— Духа нету. Я и так принохивался, и так. А по виду — выпиваешь и вроде постоянно с похмелья. И учти, не я один сомневаюсь. Ходят всякие рассуждения. Для тебя вредные. Тебе и квартиру, и поблажки. А коллектив видит. Ты дела ведешь сквозь пальцы. Бегаешь в рабочее время не по назначению.

Федька развалился на стуле и говорил мне такую и подобную дурницу с удовольствием, вроде малолетке, который на базаре срéзал у дамочки с пальто пуговицы.

Я ему:

— И какие мне поблажки, например?

— За свой счет отпускают. А работа стоит. Работа не двигается в нужном направлении. Явился с отпуска — а работа опять стоит. А тебя по городу видят люди, а ты к одной бабе заскакиваешь, к другой. Дошел до того, что не отказываешь себе на рабочем месте девку прижать.

— Ну, например?

— Ну, например, некая Лаевская Полина Львовна. Ты к ней бегаешь. Потом к Воробейчик Еве бегаешь. Сам Хробак на тебя жаловался. Светка наша тоже в твоём поле зрения, так сказать.

Я даже не удивился:

— Понятно. Светлана развивает деятельность. Точно?

Маргарита Хемлин

– Не скажу. Отрицаешь?

– Пошел ты до бисовой матери!

Я хлопнул дверью, аж стенки картонные затрещали и штукатурка посыпалась.

Светку схватил за шею и пригнул к машинке. Чуть лбом не стукнулась об каретку.

– На Федьку перекинулась? Стучишь, гадость! Ты на машинке своей поганой стучай, а не языком своим гадским! Предупреждаю по-хорошему!

Отпустил руку.

Светка задрала голову:

– Мишенька, я никому ничего!

Я кивнул на дверь кабинета Свириденко.

– Там?

Светка кивнула. Хоть бы покраснела или слезу пустила. Нет.

Максим Прокопович сам встал навстречу.

Я, не глядя, что старший по званию стоит на ногах и тем более направляется ко мне, уселся на стул возле стола.

Свириденко аж побелел.

– Ты что себе позволяешь?

– Я позволяю себе написать в вашем присутствии рапорт об увольнении. Хотите, сами меня увольняйте. Я работать больше не считаю возможным. Я все силы отдал. Больше нету. Раз вам мало – так увольняйте. А разговоры за своей спиной терпеть не буду. Вы мой характер знаете. И все знают. Наизусть.

Свириденко вернулся за стол.

Разложил локти широко и с ходу мне ответил:

— Не ори. С какого числа? С сегодня? Уходи с сегодня. Райком тебя трудоустроит. На хлебзавод директором даже может быть. И что, хорошо тебе там будет горячий хлеб каждый день жрать? Хорошо?

Я молчал.

Свириденко продолжил свои мысли:

— Да, люди говорят. А я им говорю: «Цупкой — наш лучший сотрудник. А временные трудности бывают у каждого». У каждого! Понимаешь, Миша?

— Я — не каждый.

Свириденко поднял указательный палец высоко вверх:

— Вот тут и есть твоя единственная на сегодняшний день ошибка. Ты считаешь, что все — каждые. А ты — не каждый. А если б ты считал, что и ты — как весь советский народ — каждый, так ты пришел бы ко мне и сказал: «Товарищ подполковник, Максим Прокопович, я обычный человек, у меня случилось много горя, у меня и жена, и приемный сын, и так далее. Я нагоню упущенное со всех своих сил». И товарищам своим так же сказал бы. Разве они тебя не поддерживали б? Поддержали. А ты сам и сам. Сам и сам. А люди обсуждают и будут обсуждать. И что-то полезное тебе скажут, точно тебе говорю. Сколько тебе надо, чтоб закончить со своей бе-

готней? Неделя? Две? Да, сколько скажешь. Дела твои перераспределю. Никто не пикнет. Мы в органах работаем, а не где-нибудь.

Я сказал, что мне нужно две недели. Пускай как нужно, так и оформят — за свой счет, за счет будущего отпуска. Хоть как.

Составил план оперативных мероприятий с намерением действовать в строгом соответствии. И напролом. Потому что хватит. Терпения больше нету. Будем откровенны.

Бэлка. С этой стороны я не заходил давно. Она оказалась на отдалении от моих направлений.

Я поехал к ней в больницу.

Дашевский встретил приветливо, сходу заверил: у Бэлки небольшое просветление. Надолго ли — наука определить не в состоянии.

На мой вопрос о посетителях шепотом сказал:

— Никого. Я вас уверяю — никого. Недели три как никого.

— Она сама не интересуется?

— Нет. Говорит, рада, что ее оставили в покое. Я вам даже посоветую ее сейчас не трогать. Посмотрите со стороны. С санитарками поговорите, они, как самые к ней близкие, знают лучше врачей. Я распорядюсь, чтоб вас приняли вежливо и не избегали разъяснений. Вы ж понимаете, у нас с родственниками персонал разговаривать не настроен. Люди нервничают от непонимания, а объяснить иногда и нету возможности.

Бэлка гуляла вокруг яблонь. Срывала зеленые маленькие яблочки, и не яблоки даже, а только завязи, надкусывала и бросала. Надкусывала и бросала.

Я позвал:

— Бэлка! Что ж ты домой не идешь?

Бэлка спокойно ответила:

— Пока не хочу. Как захочу — пойду. Я пока яблочек не наемся — не пойду.

— И я с тобой поем. Я тоже сильно хочу.

Мы с ней стали рвать будущие яблоки наперегонки.

Бэлка засмеялась:

— Ты выше, я не дотянусь. Давай ты рви, а я буду прятать. Под рубаху. У меня под этой еще одна. Я ее завяжу на подоле, туда буду запихивать. Запихаю до самой шеи. И будет у меня живот. Мне нравится, когда живот. И Евсею тоже нравится. А тебе?

— И мне нравится, Бэллочка.

Она завязала нижнюю рубаху и подняла ее выше колен. Вроде большого мешка.

Некрасиво и неаккуратно.

Я ей посоветовал:

— Мы сейчас не будем собирать. От этих зеленцов живот некрасивый. Нужно крупные, большие, понимаешь?

Бэлка кивнула и стала развязывать узел. Но, видно, затянула слишком и теперь не получалось.

Я хотел помочь. Присел перед ней на колени. Только руки протянул к узлу, Бэлка оттолкнула меня ногой.

Я упал от неожиданности на спину.

Она стала надо мной раскоряченными ногами, с поднятой рубахой. Я как в загородке между двумя столбами. Сумасшедшая, а неприятно, все-таки женщина, надо иметь стыд.

Тронул ее за ногу, хотел сдвинуть. Стоит как вкопанная.

Немного приложил силу. Она чуть отступила.

Говорю строго:

— Бэлка, что Евсей подумает про тебя и про меня? Нельзя так стоять с мужчиной. Подумай своими мозгами, Бэлка.

Бэлка подняла голову вверх и выдохнула:

— О-о-о-ох.

Но с места не ушла. Только рубаху выпустила, и она над моим лицом повисла мешком.

С Бэлкой я справился. Уложил ее лицом в траву. Затихла. Закрыла глаза. Я ее покачал за плечи, как маленькую. Вроде приснула.

Сквозь ее сон спросил:

— Бэлочка, скажи мне, сонечко, ты на Лаевскую не обижаешься? Она ж с твоим Евсеем что-то имела. Я знаю. И ты ж знаешь?

Бэлка глаза не открыла. Выпустила пузырь из губ.

Потом вытолкнула по буквам:

— З-н-а-ю.

И так глубоко заснула, что ни тряски моей не почувствовала, ни громких слов в ее адрес.

Бэлка дала мне наводку.

Опять Лаевская.

Дознаватель

Но идти к Полине еще не время.
Надо в Остер.

В Остре, в хате у Довида, я застал Симу Захаровну и Суньку.

Сима что-то варганила в печке, Сунька читал вслух книжку — Вовка и Гришка слушали.

Для завязки я спросил с порога:

— Что читаем, поколение?

Сунька оглянулся и четко ответил:

— Гайдара читаем. «Чук и Гек». «Судьбу барабанщика» прочитали, «Тимур и его команда». Еще ряд произведений. В перевес мракобесиям, что Зусель им в головы вдалбливал.

Я похвалил. Хороший писатель, к тому же военный человек, погиб на фронтах войны.

— Нравится, пацаны? — Вовка и Гришка кинулись ко мне, обняли за живот. Мычат — приветствуют, как телята.

Я взял обоих на каждую руку. Тяжелые. Растут.

Довид не удивился моему появлению.

Сам он сильно похудел. А в остальном внешний вид удовлетворительный.

Говорит:

— Ну, пойдем до Малки на кладбище? Зусель там.

— Зачем сразу на кладбище? Мне и с живыми хорошо. Тем более у вас чистота. Сима старается?

Сима повернулась с чугуном в руках:

— Я только набегаю. Сунька в основном и целом занимается. Подружки его тоже. Взяли шефство.

— Ага. Правильно. Дети — наше будущее. А старики — наше уважение. «Молодым везде у нас дорога, старикам везде у нас почет». Да, Довид Срулевич?

Довид не ответил.

Я обратил внимание, что он не держит на коленях свой еврейский молитвенник и вблизи поля зрения нет подобных книжек.

Спрашиваю Довида:

— Как самочувствие Зуселя?

— Самочувствие есть. Трохи заговорил. Ерунду всякую. Но голос подает.

Довид особой радости от поправки Зуселя не проявил, видно, внутри думал что-то особенное, не принимал мою речь вполне. А мне надо, чтоб принимал.

Говорю:

— Ладно, Довид. Пока тут Сима с Сунькой управляет, пошли на кладбище. Поклонюсь Малке. Рабочая была женщина. Темная, а рабочая. Не ладили мы с ней. А поклониться надо. Так? Довид, слышишь меня? Надо?

Довид кивнул.

Природа цвела.

Я поинтересовался насчет денежных средств. Хватает ли.

Довид не пожаловался. Не голодные — и хорошо.

Дознаватель

В свою очередь спросил про Ёську. Я заверил, что с ним все сильно хорошо. Мальчик целиком здоровый, развивается правильно, в настоящее время находится с Любочкой на отдыхе.

Довид остановился, уперся глазами в землю, сказал:

– Не отдашь назад?

– Не отдам.

– Окончательно?

– Окончательно.

Довид без перехода сказал дальше:

– Тебя Малка за грóши мучала. Зусель сказал, где грóши закопал. Надо пойти – откопать. Тебе отдам. Ты государственный человек, употребишь по закону.

– Что за грóши? Откуда у Зуселя?

Довид отмахнулся.

На кладбище у могилы Малки стоял Зусель. В красной железнодорожной фуражке, правда, с отковыренной кокардой, но в остальном непоношенная. Занимался своим обычным делом – молился. С-под фуражки набекрень чернела ермолка.

Я толкнул в бок Довида:

– Ну, Зусель фраер! А я думал, старый картуз только с головой у него снимется!

Довид показал на Малкино постоянное место упокоения:

– Она купила. У нее кофта оставалась, еще с до войны, поменяла. Зусель, как его Евка с Чернигова приволокла, хватался за пустую голову

и сильно кричал, чтоб закрыли. Малка и принесла ему. Сильно он полюбил. Первые слова его, когда опять заговорил: «Меня Малка закрыла».

Довид присел на скамеечку. Закачался, как Зусель, повторял за ним слова.

Ну что, Зусель на меня ноль внимания. Зыркнул вроде на незнакомого. Даже слова не прервал.

Я спросил Довида:

— Скамейку кто делал?

Довид ответил без задержки:

— Сунька. — По-хозяйски огладил сиденье. — Гладкая, как колено. На совесть сделал. — И языком прицокнул от удовольствия.

Старики молились долго, под конец Довид встал рядом с Зуселем.

Я прилег невдалеке на траву между могилами. Ждал, пока закончат голосить и так далее.

Довид рассмотрел меня в траве не сразу.

Позвал:

— Михаил! Где ты?

Я отозвался.

Старики пошли на голос.

Я говорю:

— Лягайте. Травичка мягкая, где еще полежим спокойно, как не тут? Тенек, птички поют. Чистый рай.

Довид присел на траву первый. За ним и Зусель прилег.

Я приступил:

— Ну, товарищи, давайте теперь сначала. Рассказывайте, кто может. Первое слово тебе, Довид Срулевич. А там посмотрим-послушаем, вдруг и гражданин Табачник подтянется языком своим. Хорошо, что при Малке получится разговор. Она и в гроб пошла с думкой про меня, что я гроши украл или как.

Довид посмотрел в сторону Зуселя. Тот лежал на спине. Дремал. Козырек торчал в самый верх. Фуражка даже не ссунулась — сильно врезалась в голову. Маловатая. Вроде вросла.

Я показал пальцем на голову Зуселя.

— Не больно ему? Давит.

Довид уверенно ответил:

— Не мешает. — Помолчал, оглянулся на все боки, кинул глаза на небо, потом на землю под собой.

Я спросил:

— Что ты кругом смотришь? Кто напугал?

Довид усмехнулся. И я подумал, что он проснулся только теперь, в данную минуту. После Евсея, после Бэлки, после всего. Лицо у него разгладилось. Даже помолодело. Насколько можно. Ясно ж, обманчивая видимость, но я обрадовался. Ему еще Вовку с Гришкой тянуть и тянуть.

Я подбодрил:

— Не журишь, Довид Срулевич. Государство не оставит. Добрые люди также помогут. Вот Симма с Сунькой, и сам Файда к тебе с заботой. И Зусель поправляется. На светлый путь выходите.

С потерями, конечно. Но выходите. И я под боком. И Любочка. Согласен?

Довид согласился.

Но с трудом выговорил:

— Я за Ёськой не скучаю. Плачу горькими слезами, аж задыхаюсь. А не скучаю. Я после этого кто? Скажи, Миша.

— Я тебе скажу честно. Не скучаешь, потому что рассудил и пришел к правильному выводу. Ёське у нас с Любочкой лучше. По возрасту он родителей уже забыл. По крайней мере они ушли на второе место. Мы ему теперь самые родные и близкие. И ты, как грамотный человек, это отмечаешь в своих мыслях. А старшенькие — им забывать тяжелей. Им — с тобой лучше. И ты после этого — человек со здравым размышлением. Значит, с тебя в дальнейшем будет толк.

— Может... Ты правда так считаешь? Есть возможность жить?

— Есть. Точно есть.

— Я сразу после Евсея и Бэлки сомневался. А теперь вроде и не сомневаюсь. Я плохо тебе хотел. Сильно плохо. В мозгах у меня засело, что ты виноватый. А ты ж не виноватый?

— В чем? — Я чувствовал, что сейчас пойдет нужная мне ниточка. Надо ее потянуть. Самостоятельно Довид не справится. Тонкая работа. — Тебя дурманом обкурили. С одной стороны Зусель, с другой — Лаевская. С Зуселя спросу нету. Религиозный пережиток. А Лаевская свою корысть соблюдала. Правильно? Я все знаю, ты мне только

подтверди. Мы по косточкам разберем. Как рыбу разделаем. Чистый фарш будет. Прожужим и не подавимся. Не подавимся, Довид! Тебе хлопцев поднимать, подумай!

Довид смотрел на мои ноги. Сандалии на мне запыхались, в дырочки набилась земля. Широкие гражданские брюки задрались высоко, и моя белая нога в волосах выглядела некрасиво.

Я поправил штанину. Отряхнул.

Сказал для перемены:

— Я, Довид, без формы. Жарко. И свободней. Люди не ожидают, что я их к чему-нибудь привлеку. Хоть если совесть чистая, так милиционеру только радуются. Внушает спокойствие. Тебе как, в форме я больше нравлюсь?

Довид заметил без участия:

— А я смотрю, ты без сапогов. Летом без сапогов прохладней. И в доме не грюкают. Евсей любил грюкать. Дети просили — он и грюкал. Чечетку бил.

Зусель зашевелился. Я повернулся в его сторону.

Он открыл глаза, что-то сказал по-еврейски одним словом, с вопросом.

Довид погладил его по фуражке:

— Спи, Зусель, спи. Шлофн.

Я приступил к Довиду вплотную:

— Давай дальше. Не сбивайся с курса. Курс твой правильный. На искоренение допущенных ошибок. Тем более я теперь не при исполнении. Ну! — Я для близости сильно тронул его за плечо.

Показания он дал следующие.

После войны в Чернигове поселилась Лаевская. Басин ее знал наглядно как интересную женщину.

Однажды он увидел Евсея, который прогуливался с этой дамочкой в неположенном месте — возле Еловщины, где начинается лес. Причем гуляли они близко под ручку, фактически вплотную. А Басин в лесу находился по делу: с неким товарищем воровали древесину на дрова по договоренности с лесником. В сложившихся обстоятельствах Басин не мог себя обнаружить и отложил выяснение до удачного случая в спокойных условиях.

Встретил Евсея с работы и спросил, или у него есть совесть. Растерянный Евсей ответил: имеется. Басин спросил, как же при наличии совести муж его Бэлки гуляет с чужой женщиной под ручку от посторонних глаз в лесной местности?

Евсей смекнул, что тесть настроен скандально, и заверил, что получилась роковая ошибка. Дамочка — есть негласный сотрудник милиции, и у них в лесу состоялась явка. Но говорил сбивчиво и без напора. Тянул подальше от здания милиции и оглядывался, вроде его режут на месте.

Басин сделал вид, что поверил. Но в душе переживал.

Евсей уезжал с заданиями в районы Черниговской области. Иногда с ночевкой. Всякий раз Басин это внутренне отмечал, имея в виду свои подозрения. Оценивал с новой силой совместную жизнь дочери и зятя. Особенно по ночам, когда оставался

в их доме. Для чего устраивал так, что засиживался до глубокой темноты, и ему стелили на полу. Довид прислушивался, ловил свидетельства отношений между Евсеем и Бэлкой, тактично засыпал, когда кровать начинала под ними ходить ходуном.

Наконец Довид пришел к выводу, что у них все идет надлежащим чередом. С тех пор на эту тему царило строгое молчание.

Довид продолжил так:

— В сорок восьмом — сорок девятом, правда, Евсей стал крепко выпивать. Я подсел до него с разными своими мыслями. Говорю, как положено, шепотом. Так и так. Люди рассуждают на интересную тему. С сорок восьмого года говорят, говорят. Думали, до кого надо дойдет, а не дошло. Или дошло, но в сильно неправильном виде. Теперь из-за этого гонения. Получается разрез с еврейским народонаселением по линии партии-правительства. Ходили слухи среди евреев, что всех их гамузом отправят в только что образованное государство Израиль. В мире неспокойно. Империалисты и так далее. Если опять война — на евреях отыграются с новой силой, потому что не всех же поубивали. А советское государство ощущает ответственность за своих граждан, хоть и евреев, и потому рассматривает вопрос, чтоб их отправить куда-нибудь. Если возникнет в ходе новой неизвестно с кем войны необходимость большой эвакуации масс, так хоть за евреев будут спокойные. А потом, когда в мире все окончательно уляжется, вернут всех обратно по прежним мес-

там жительства. Мне Зусель рассказывал. Он по еврейским домам ходит, слушает людей. Люди недоумевают. Теперь получается неразбериха. То вроде хотят собирать евреев для оживления, то опять сворачивают. Я не от себя излагал, я Зуселя повторял. Еще Зусель сказал, письмо напишет на самый верх.

Евсей зыркнул на меня — спяну, конечно, — и заорал: «Куда на самый верх? Что он людей баламутит? Что он выспрашивает? Он людей может под статью подвести».

Я говорю Евсею: «Какую статью, Израиль пойдет по коммунистической дороге. Это всем известно. Его империалисты не развернут. Евреи всегда впереди революции. Все знают».

Евсей опять мне орет: «Дурак ты старый, тебя и развернут, и свернут, вроде гармошку, ты только пернешь! Государство — не для того, чтоб ответственность ощущать, а чтоб быть». Я понял так, что евреев будут гонять в союзном масштабе.

Вот такой был единственный раз противоречий Довида с Евсеем. Но так как к семейной жизни это касательства не имело, Довид внимания не заострил. А сейчас рассказал мне, чтоб показать, как Евсей реагировал на еврейский вопрос. По-советски реагировал, по-партийному. Правильно.

До смерти Евсея, до его похорон, Довид видел Лаевскую несколько раз. Случайные столкновения на базаре не считаются.

А считается следующее.

Она прибежала под темноту к Евсею — Довид как раз остался ночевать. Вызвала Евсея из дома на двор и долго с ним говорила на повышенных тонах. Когда Евсей вернулся, был весь красный и злой.

Я спросил, когда примерно состоялась встреча.

Довид быстро ответил, как по писаному:

— Восемнадцатого мая пятьдесят второго года.

Я от неожиданности подскочил. День смерти Лилии Воробейчик.

— Почему запомнил? Быстро отвечать!

Довид испуганно промямлил:

— Что ты на меня кричишь? Ты ж не в милиции. Сам сказал. Запомнил, потому что в этот день малой Ёська имел день рождения. Народился он восемнадцатого мая пятидесятого года. Я всех своих внуков отслеживал, как рождаются.

— Дальше?

Дальше не получилось. У Довида какая-то резьба сорвалась. Я вовремя заметил, что он стал качаться, и придержал его в надежном положении.

В какие глупости человек верит! Не влазит в нашу действительность. И в газетах пишут — а не влазит.

— Ладно, Довид. Сима обед сготовила. Или ужин. Поедим. Буди Зуселя.

Зусель очнулся сам. Встал, пошел к Малкиной могиле, постоял минуту. И двинулся в сторону нужного направления.

Он шел, как маяк. Кладбище большое. Старое. Лет за триста много скопилось. Сколько тут евреи жили, за столько и образовалось.

В доме никого не было. На столе — накрытый рушником чугунок, миски.

Зусель отказался с порога, помотал головой и поплелся за занавеску.

Я отметил с сочувствием:

— Голодовку объявил? Насквозь худой, куда еще?

Довид объяснил, что у Табачника кошер, а Симма не соблюдает. Все одним ножом кромсает. И сало принесла. И кровь с курицы до конца не спускает. Малка старалась. Зусель в ней был уверен. А за Симой ходит, пальцем тыкает. А толку нету. Еврейская старушка по соседству носит ему свой хлеб, сухари. С водой пьет из своей чашки.

— Мне казалось, до конца с глузду съехал наш блаженненький. А он рассуждает. Удивительно.

Довид развел руками.

— Вот ты и сало кушаешь, и прочее. Быстро опять переучился. Вы ж тут с Зуселем синагогу устроили. И хлопцев учили по книжкам.

— А-а-а-а. Не помогло мне. Только хуже стало. Читаю, читаю — все неправильно в жизни делал. Нету сил осознавать.

Я терпел, пока не закончили обед.

Потом сказал шепотом, чтоб угодить Довиду:

— Пошли. Далеко?

— Далеко.

Довид вел меня огородами, потом через колхозное поле, потом через лесок, потом через железную дорогу. Я шел за ним и обдумывал.

И надумал.

— Стой! Довид, стой смирно! Повернись! Лицом!

Довид замер.

— Довид, куда ты меня ведешь? У меня оружие. Подумай, Довид.

Довид медленно повернулся, и еще даже и не повернулся, а на половине вдоха закричал:

— Пришли, гад!

И кинулся на меня. С финкой. Я узнал свою финку. Из сидора моего. Я на Лаевскую грешил. Я на Суньку думал. А это Довид.

Старика я, конечно, скрутил. Его же рубахой руки за спиной ему и связал. Аккуратненько. С уважением к возрасту.

Говорю:

— Довид Срулевич. Неужели ты мог подумать про меня, что я окончательный дурак. Говорил, что надо откапывать грóши, а лопату не взял. За занавеску пошел вроде на Зуселя посмотреть перед выходом, а вышел с оттопыренным карманом. Наплел мне. Ну что тебе Зусель мог про грóши сказать, если он в таком бедственном положении рассудка. Ну для чего б ты мне тайны свои еврейские выдавал, если б не замыслил какой-то обман зрения и слуха. Чтоб я поверил, что я у тебя на полном доверии. Я ж сильней. Я ж заранее сильней. Ну что молчишь, Довид Срулевич?

Довид не то что молчал. Он выл и плакал. Выл и плакал. И катался по земле. И землю ел. И харкал. И опять ел.

Но в тот момент меня именно по-человечески интересовало другое.

— Узел тебя Евсей научил завязывать?

Довид лежал недвижимый. Грязный, мокрый от усилий и еще чего-то. Испуг получился у него страшный, конечно.

Не ответил.

Простой вопрос. Из бытового обихода. Хороший вопрос для перехода к серьезному.

Я вопрос повторил настойчивей.

Довид кивнул.

— Бреешь, тут надо ловкие пальцы. У тебя скрученные и толстые. Бэлка тебе примочки готовила против скрипа в суставах. Евсей рецепты по знакомым собирал. Знаю я, кто развязывал-завязывал. Гришка. Гришка, ясно. Его, наверно, Евсей учил. Не отвечай! Надо ж дойти! Родной дед родного внука несовершеннолетнего привлекает к подготовке преступления. Зачем в сидор полез? Грóши искал? А если б они у меня и были от Зуселя, я не дурак, чтоб таскать за собой в сидоре. Тем более никаких ваших грóшей я и в глаза не видел. Между собой ищите. Плохо вы все сговорились.

Довид молчал.

Попытался подняться. Я ему помог. Развязал руки. Напялил рубаху. Спросил, где речка — ему слегка помыться, простирнуть штаны.

Довид на меня смотрел спокойно. Я его понимал. Дело сделано. Не вышло как надо. Но дело сделано.

Финку я крутил в руках, пока беседовал. Когда поднимал-одевал Довида, положил орудие покушения на траву на отдалении.

Установил старика крепко на ногах.

Говорю:

— Вон финка валяется. Хочешь, дам тебе. Хочешь, тут кинем. Может, еще попытаться? Ночевать буду у вас. За хлопцами соскучился. Книжку им почитаю на сон. Ночью попробуешь. Я спать буду крепко. Устал с тобой варнякать. Ну?

Ответа не ожидал. Взял финку, засунул Довиду в карман штанов. Гидко в такие штаны рукой залазить. Но ничего.

Довид шел медленно. Сомневался, в какой стороне речка. Но нашел скоро.

В сумерках мылся. И я тоже.

Выжал насухо Довидовы штаны. Пока дошли домой — совсем обсохли.

Ночь прошла, как я предполагал, удачно. Хлопцы возились со мной до упаду, книжку слушать отказались, я им рассказывал устно истории из нашей с Евсеем службы.

Зусель храпел за занавеской.

Довид ночевал на дворе.

Финку из кармана при мне не доставал. Куда дел ее, я не следил. Не имело роли.

Я твердо знал: утром расскажет правду. Про все.

С самого утра пришел Файда. Мы еще спали. Зусель только не дрыгал. Молиться начал до рассвета. То есть с ночи. Мычал, конечно, не словами молился, а как получалось в связи с его положением.

Я тихо крикнул ему за занавеску, чтоб поосторожней — хлопцев перепугает.

Файда явился веселый, объявил окончательную побудку.

Я разозлился.

— Мирон Шаевич, дети спали крепким сном, а от вашего крика очнулись.

Файда смутился, стал объяснять, что принес от Симы гостинцы в горячем виде и хотел, чтоб вовремя успеть к столу. К тому же полвосьмого утра, и все уже на рабочих местах в поле или в учреждениях.

Говорю:

— А вы что ж? Делать вам нечего? Суньку б прислали. Или комсомолок его.

Общий вид Файды вывел меня из себя. Рубаха расхристана до пупа. Ремень затянут под животом. Стоит себе с портфелем, большой начальник. А в портфеле — Симкина готовка.

Я встал, несмотря на то что фактически голый, подошел и взял портфель из рук Файды. Вытащил на стол завернутые в газету продукты, бумага промасленная, запах идет сильный — вроде оладьи, дируны на сале. Развернул. Так и есть. Взял один, запихал себе в рот.

— Сначала сам попробую. Вдруг вы отравили. Или Сима. Или Сунька. Вы ж тут все меня ненави-

дите. А я как рассуждаю: сдохну — пускай. Лишь бы хлопцы живые остались. Дети — ни при чем. Правильно?

Файда застыл. Потом ручками задрывал. Пуговички у него на рубаше в петельки не входили. Как ни старался застегнуться от пула до горла.

— Михаил Иванович, что вы говорите... Какая отравка... Без оснований обвиняете. Я от сердца. И Сима тоже. И Суня. Отравка...

Моя шутка слишком его задела. Конечно, сказалось текущее время.

Но испуг Файды натолкнул меня на новую мысль.

— Мирон Шаевич, а чего вы вчера не пришли? Неужели Сима не доложила, что я у Довида?

— Доложила. — Файда пуговички застегнул — через одну. А под горлом так руку и держал. Не было под горлом пуговички. Не было. — Я и шел уже, под самый вечер. Увидел, что вы с Довидом куда-то направились. Издали увидел. Не сблизка. Сблизка я б подошел, хоть поздороваться. А изда-лека — чего мешать. Я мешать не люблю. Не лезу. Никогда не лезу. Ну. А вы далеко. Идете себе и идете вперед. Я развернулся и обратно домой двинулся.

— Вперед-назад бегаете, как пацан. Почему не крикнули?

Я сохранял спокойствие и ел стоя. Сало шкварочками прилипло к дируну со всех сторон, и я облизывал пальцы. Некультурно, но какая культура в данный момент?

Файда покраснел. Махнул рукой — не той, которой за горло держался.

— Михаил Иванович. У вас прямо подозрительность. Подозрительность, а не основания. Делаете из мухи слона. Может, я в уборную захотел и не смог бежать за вами. А потом вы удалились с глаз. Бурьян. Будяки. Колючки разные. Вы с Довидом буквально напролом шагали.

Гришка и Вовка давно слушали и прыскали в кулаки. Особенно насчет уборной.

Я им выдал по дируну, но приказал рядом, которым укрывались дети, не утираться. В крайнем случае облизывать руки вплоть до локтя.

Хлопцы ели весело, я на них любовался.

Подал голос Довид.

— Мирон, рот закрой. Иди домой или куда тебе надо. Спасибо за еду.

И так сказал, что Мирон аж выветрился из хаты. Портфель, правда, хапнул. Не забыл. И горло не отпустил.

Довид пошел на двор.

Я за ним.

Он neodетый, и я.

Говорю:

— Не за финкой, а, Довид?

— Нет. Я ее в уборную вчера бросил. Хочешь, поищи в дырке.

— Надо будет — поищу. И найду. И не в таких местах находил. Я руки запачкать не брезгую.

— Что со мной сделаешь?

Довид спросил спокойно. Не удивительно, что он не переживал. Испуга не было. Что-что, а испуг я различаю.

Я ответил, что делать с ним ничего не намерен. Мне только надо, чтоб он не считал меня за дурака. Вот моя исключительная просьба и приказ похорошему. А что он на меня с финкой кинулся, так всякое бывает. На меня и Евсей однажды кидался. С пистолетом. Выпивши мы были. Поспорили из-за политики.

Довид кивнул.

— А у нас с тобой, Довид Срулевич, не политика. Не она между нами стала. А стала между нами гражданка Лаевская Полина Львовна. Умный и коварный враг.

Довид и тут кивнул.

Я продолжил:

— Сейчас мы с тобой умоемся, и все такое подобное. Хлопцев умоем. Поедим. А потом пойдем на Десну с детьми. И Зуселя возьмем. Пускай все в Остре видят, что мы с тобой заодно. А разговор пока отставим.

Мы с Вовкой и Гришкой смолотили все, что притащил Файда.

Старики к Мироновой еде не притронулись. Довид выпил чай. Зусель — не знаю, чем червячка заморил. Из-за занавески и звука не долетало.

Дети обрадовались походу на Десну.

Довид оставил Зусея дома. Что-то сказал ему по-еврейски.

Расположились на бережку под вербой. Детей я держал в видимости и постоянно окликал, чтоб имели совесть и не ныряли на глубине.

Довид кидал ракушки с берега в воду. Кидал и кидал. Они делали круги.

Я тоже стал кидать. Мои летели дальше.

Хлопцы заметили игру и выразили желание устроить соревнование.

Я не спешил расспрашивать Довида по существу интересующего меня дела.

С полчаса возился с хлопцами на мелкой глубине, кидал ракушки с различными детскими прибаутками.

Довид за нами не следил. Улегся и, кажется, заснул.

Я не препятствовал. Сон — лучшее лекарство. Во сне человек переносится от себя самого. Мне и надо было, чтоб Довид перенесся, чтоб он отвлекся от себя. Если такого человека внезапно принудить к пробуждению, задать ему вопросы, можно хорошо выяснить необходимое.

Я так и сделал.

Довид рывком раскрыл глаза.

Я не дал ему окончательно возвратиться в себя:

— Почему Евсей застрелился? Быстро.

Я использовал свою интуицию. Оказалось, правильно. Довид не ждал. Он ждал про Лаевскую. А я ему с другого конца. С самого ему больного.

Дознаватель

Он лежал и рассказывал прямо в небо. Глаза его на меня не смотрели.

После того как Лаевская 18 мая 1952 года явилась в дом Евсея и вызвала его для разговора, Довид заподозрил неладное. Обстановка вокруг и почерпнутые из газет и радио сведения насчет космополитов держали Довида настороже.

Глубокой ночью Довид не смыкал глаз. Евсей выходил на двор курить несколько раз. Причем помимо запаха табака Довид учуял и запах водки. Из чего был сделан вывод — Евсей не столько курил, сколько выпивал в своем тайном месте — в сарайчике.

К утру Евсей совсем захмелел и громко спал. Довид обратил внимание на его руки — со следами земли и травы. В коридорчике Довиду бросилось на вид, что отсутствует лопата. Ее хранили здесь, а не в сарае, так как инструмент могли украсть посторонние из корыстных побуждений. Только что вечером Довид лично вскапывал палисадник и потом тщательно помыл лопату и пристроил во всегдашний угол возле ведра с водой. А копал он перед сном для моциона и чтоб избежать жары.

При утреннем свете Довид обошел палисадник и обнаружил схованку. На самом краю. У заборчика — наполовину в траве, наполовину в голой земле. Свою вскопку Довид мог отличить по тому, что он после землю обязательно переворачивал, а не разрыхлял. А тут имелась не

только перевернутая земля, но и мелкое разрыхление.

Довид углубился в землю и обнаружил сверток из газеты. В газете находился нож со следами засохшей коричневой массы. И потеки по всему лезвию. Нож кухонный. Большой.

Довид испугался, замаскировал схованку, сверток затаил в завернутом пиджаке. Пиджак при возвращении в дом оставил в коридоре.

Разбудил Бэлку, весело попрощался и бегом домой.

Дома подземную находку из газеты не освободил, а спрятал, в свою очередь, на огороде. Тоже в земле.

По соображениям ужаса он ничего у Евсея не спрашивал. Имея в виду сохранить тайну при любых угрозах. Одно мучало Довида — вдруг Евсей полезет за ножом, между прочим, по служебной надобности или какой другой необходимости, не найдет и может сойти с ума от ответственности. Но признаться, что нож извлечен и перепрятан, Довид в себе возможности не находил. Собирался со дня на день.

В голове у него сложилось следующее.

Нож принесла Лаевская. По-видимому, со следами крови. Довид видел кровь как таковую во всех ее состояниях и мог отличить. Тут для него секрет не состоял. Секрет состоял в том — для чего Полина притащила кровавое орудие к Евсею.

Довид решил, что Евсей втянут в что-то страшное. Если б дело шло о задании по службе, Поли-

на б не таскала ночью всякую дрянь и Евсей бы эту дрянь ночью, сильно выпивши, не прятал. Значит, нож имел прямое отношение к личности Евсея, если Полина такое устроила.

Вскоре по городу поползли достоверные слухи об убийстве Лилии Воробейчик. Среди еврейской общественности ходило мнение, что это началась резня по одному в связи с космополитами и другими, им подобными.

Довид сплюсовал Воробейчик в уме с Евсеем. На основании ножа. Больше ни по чему. Отправился к Полине и поставил ультиматум, что пойдет в милицию и расскажет про ее визит с ножом.

Полина удивилась и заверила, что действительно заходила к Евсею. Но никакого ножа ему не приносила. А что касается ножа, так мало ли что может у Евсея находиться — он работает в органах и связан с различными элементами по службе. И не Довиду судить, для чего и зачем.

Подозрения Довида мгновенно развеялись. Но до тех пор, как он увидел Евсея тем же вечером.

Зять взял Довида за грудки, вывел на двор и угрожал, что надо всем немедленно исчезать с лица земли, так как он, Евсей, всех подвел под монастырь и теперь выхода нету ни в какую сторону.

Общий вид Евсея не оставлял надежды ни на что. Тревога Довида возрастала с каждым днем.

Он нуждался в совете. Рассказал Зуселю. Зусель выслушал, попросил нож, получил его в газете с-под земли и заверил Довида, что никакого но-

жа больше нет. И не было. Что Довиду приснился страшный сон. А что до Евсея и его панических настроений, то время покажет. И сказал: «Что в земле, того нету. А ты взял, и оно стало. Сам виноват».

А через какое-то время Евсей застрелился.

Я выслушал с вниманием и задал дальнейший вопрос:

— Ну и с чего ты взял, что я при чем? Меня и в городе не было в тот день. А ты трезвонил направо и налево. Выводил меня на воду. Письма писать собирался. С чего?

— Так Лаевская объяснила, что ты при всем.

Довид перевел глаза с неба на меня и ласково посмотрел в мое лицо:

— Вот ты, Миша, красивый был. И Евсей красивый был. Он теперь в земле. То есть его нету. Того нету, красивого. Мне самое больное, что он теперь там, — Довид показал в землю пальцем, — некрасивый лежит. Сильно некрасивый. А моя Бэлка красивого полюбила. За нее обидно. Ты ее давно видел? Я не выберусь. То одно, то другое.

— Видел твою Бэлку. Поправится.

— Красивая она?

— Красивая. Не такая, как раньше, но ничего.

Довид опять уставился наверх.

Я спросил:

— Почему ты сказал, что я был красивый? Теперь что ж, не красивый?

Довид не ответил.

Дознаватель

Я увидел, что он рукой нащупывает большую ракушку. Раскрытую, с острыми краями.

Ракушку я у него вырвал. С силой, но не обидно для него.

Сказал:

— Поранишься. У нее края — ножи.

Довид радостно подтвердил:

— Ото ж.

Я посмотрел на Довида — на его вид в целом. Из него мне больше ничего не достать.

Оделся, крикнул хлопцам, что ухожу.

Они выбежали из воды и стали на берегу. Не просили остаться, не спрашивали, побуду ли я еще в Остре.

Я подошел к ним, поцеловал каждого в мокрую голову. Если б я мог плакать, так заплакал бы. Хлопцы были в капельках воды. Показалось, они только вышли из Бэлкиного живота. Мне стало неприятно.

Вопрос с деньгами оставался открытым.

Отвернулся от воды, крикнул Довиду:

— Так где грóши? Довид! Грóши где? Я тебя спрашиваю!

Довид не ответил. Перевернулся на живот и уткнулся лицом в песок.

Гриша подал голос:

— Я знаю.

Довид поднял голову и тут же опустил. Вытянул вперед руки со скрюченными пальцами, вроде хотел уцепиться за что-то. Не уцепился. Под-

нялся на локти и колени, потом на весь рост, развернулся и кинулся по направлению Гришки. Бежал с крепким разбегом. Я не успел сообразить. А он толкнул хлопца в воду, на мелкоту, правда, но сильно прижал ему спину двумя руками, Гришка лицом ушел в тину.

И страшно закричал:

— Тони, гад! Тони, я тебе говорю! До смерти тони!

Гришка махал руками и брыкался. Я кинулся на Довида, оттащил.

Басин сидел в воде, там, куда я его отшвырнул.

Вовка около него возился вроде без дела, но, по правде, гладил по рукам, по плечам, по спине. Хлюпал носом то в мою сторону, то в сторону брата.

— Ничего, хлопчики. Мы с дедушкой специально игру придумали. А вы и не знали. Про грóши дед давно рассказал. Я на минутку забыл. А ты, Гришка, что мне крикнул, я не расслышал?

— Ничего, — буркнул Гришка.

— Ну и молодец. Айда! Дед, вставай! Поведу тебя под ручку. Надо голову закрывать, как Зусель себе делает. Он дурной-дурной, а голову бережет. И ты береги.

Гришка первое время шел с оглядкой на меня. Собачонка побитая. Но скоро оглядываться перестал.

Я шел и ждал, что Довид подтянется. Оглянулся.

Довид тер лицо, грудь, где сердце.

Я вернулся вплотную.

Позвал Гришку. Тот подбежал.

Довид простонал:

— Мне посидеть треба. Трохи. Хлопцы сами доберутся. Ты им скажи.

Я сказал.

Выгреб из кармана немножко денег, засыпал Гришке в карман, проверил, нету ли дырки, засунул его кулачок туда же:

— Задание. Купите халвы или там что — по выбору.

Гришка преданно закивал головой.

— Спасибо, дядя Миша.

Вовка без благодарности припустил через будяки.

Я разъяснил Гришке:

— Дед отдохнет, мы с ним погуляем. Ты старший. Имей в виду. Не бойся. Я вас не брошу.

Довид сидел смирно. Когда я подошел, он уже владел собой. Вытащил из кармана штанов большую раскрытую ракушку — ту самую, что я у него отнял только-только.

— Ну что ты за человек, Довид. Я сказал — кинь.

Он кинул. Далеко не получилось, но из травы не блестело.

— И ладно. Забыли. Все прежнее забыли. Ты понимаешь, я мог бы Гришку тряхануть. Но я с детьми не связываюсь. Тем более в присутствии близких родственников. Вам вместе жить. Тебе его воспитывать дальше и впредь до конца. Он не мне про грóши хотел сказать. Он во мне отца увидел. Евсея. Он Евсею хотел сказать. Понял?

Довид кивнул всем туловищем. И ногой дрыгнул.

— Как же ты неосторожно поступаешь... Ребенок в курсе. Нельзя. По человеческим законам нельзя ребенка втягивать.

Довид молчал. Нога дрыгалась и дрыгалась. Правая. Он схватил ее руками и припечатал к земле.

— Идти не смогу. Ногу не чую.

Довид попытался встать. Упал. Попытался еще.

— Эх, инвалидная команда. Грóши, секреты... Сами на ладан дышат, а туда же.

Взвалил Довида на плечи и потащил. Не Зусель. Тяжелый.

За рощей встретилась подвода. Дотрясла до дома.

Гришки и Вовки не было. Я попросил мужика-возницу найти Файду, чтоб тот организовал фельдшера или кого-то подобного.

Примерно через час явился Мирон. С фельдшером, с подводой.

Довид лежал без ясного сознания. Прибежали хлопцы с халвой. С порога кинулись к деду угощать. Обмазали его всего, пока я их не отогнал с объяснениями, что дедушке плохо по здоровью и надо соблюдать тишину.

Зусель выглядывал из-за занавески с непонимающими возгласами.

Я попросил его подойти ближе к Довиду.

Зусель не подошел. Уцепился за материю и тянул, тянул вниз, пока веревочка не порвалась и он

Дознаватель

целиком не закрылся дырявой ряднинкой. С-под нее он продолжал свои непонимания, срывался на крик. Но не молился. Точно, не молился. Молитву я б различил.

Вовка и Гришка сидели рядом. Кулек с халвой растерзался у них на коленях, и они тыкали туда пальцами. Потом слизывали.

Довида погрузили на подводу и повезли в больницу.

Я не поехал. И Файда не поехал. Я засомневался, может, надо б проследить.

Файда довольно заверил:

— Если я приказал, исполнят все в лучшем виде. Мы там только мешать будем. Медицина! Я знаю. Я в госпиталях повалялся. Вы тут заночуете, товарищ Цупкой? Если нет, я к себе хлопцев заберу. Зусель останется. К нему позову соседку. Не волнуйтесь.

— Заночую тут. До выяснения.

Гришка с Вовкой долго перешептывались перед сном.

Гришка спросил, что с ними будет, если дед умрет.

Я сказал, что Довид будет жить, пока они вырастут. У меня сведения.

Хлопчики заснули.

Я пошел за занавеску к Зуселю.

Он лежал с открытыми глазами.

Адресуюсь прямо к нему как к нормальному и говорю вполголоса:

— Видишь, Зусель, как получается. Довид в больнице. Положение шаткое. Ты осознаешь?

Говорил я фактически без надежды на взаимность.

Но Зусель ответил шепотом:

— Зачем ты меня выкопал?

Я растерялся. Не от его звуков. Притом связанных. От смысла вопроса.

Зусель продолжал:

— Выкопал, а жить не даешь. Малке не дал. Довиду не дал. Ты лучше мне не дай.

— Зусель, ты что, придурился? Можешь говорить?

— Трохи могу. Не хочется. Зачем ты меня выкопал?

Я молчал. У Табачника в мозгах перевернулись произведенные мной действия. Он их с загробной, с подземной стороны оценивал. Я его закапывал. А он запечатлел, что откапывал.

— Ладно, Зусель. Спи спокойно. Довид оклемается. Утречком с тобой поговорим. Грóши куда задевал, про которые Малка меня замучила? Надо вопрос закрыть.

Зусель не ответил. Глубоко дышал. Спал.

Если б он так глубоко и сильно дышал, когда я его закапывал, разве б я его в земле оставил? Ни за что.

Голова у меня шла кругом. Тошнота подступала к глазам. Жар палил изнутри.

Дознаватель

На дворе легче не стало. Воздуха для меня не было. Он меня обтекал. Вроде я находился в чем-то завязанном на сто узлов. Вроде в мешке. Вот по мешковине воздух и шел пополам с ветром, а внутрь — хоть бы на мою кожу — не попадал. Не то что внутрь меня.

Побрел к реке.

Там забылся — ногами в воде, чтоб остыть через воду.

Проснулся на рассвете. Сразу все вспомнил.
Побежал обратно.

Дверь в хату распахнута. Сплошной сквозняк. Занавеска Зуселева гойдается. Топчан пустой. Ушел Зусель сквозь мои пальцы. Как сухая земля. Или как вода.

Когда ушел — неизвестно. Может, за мной — с ночи, может, только что.

Меня сжала усталость. И было мне уже не жарко, а холодно. Так холодно, как под землей.

Я упал там, где стоял.

Очнулся в доме Файды.

Сима бегала кругом меня с мокрым полотенцем, уксусом, гоголь-моголь мне изготовила и в рот вливала с ложечки.

Человек от испытаний здоровей не становится. Крепче — да. Но не здоровей. Что-то во мне порвалось, где тонко было. Тонко оказалось в не-

известном мне месте. Но так как я живой человек — наступила реакция организма.

Мирон приносил известия из больницы от Довида. Дело было плохо.

Гришку и Вовку Мирон перевел на постой к себе.

Я не помнил себя два дня, объяснила Сима. Врача не приводили, так как единственное, что я приказным голосом просил в бреду: «Врача не надо!»

И при этом грозился плохими словами вплоть до матерщины.

Когда я почти оклемался и сам встал на двор, прибежал Сунька и объявил, что Довид скончался от последствий сердца.

Это известие Сунька прокричал мне в спину, я оглянулся, но остановиться не сообразил. Пошел дальше — в уборную. Только там насело на меня сообщение про смерть Довида.

Прямо на голову мне насело непреодолимым грузом. Думал, не поднимусь.

На семейном совете вокруг моей постели собрались Мирон, Сима, Сунька.

Вопросы похорон Довида обсуждались недолго. Там все ясно. Хоронить по-советски, без молитв, без савана, в пиджаке. Тем более Зусея нет и завывать по правилам некому.

Застряли на детях.

Файда предоставил слово Симе как женщине и матери.

Сима сказала, что не знает, как надо поступить. Теперь дети круглые сироты. Это с одной стороны. А с другой — не круглые. Бэлка живая. От живой матери можно всего ожидать. Выпустят ее из больницы, она придет сюда за хлопцами. Тогда что?

Если б Бэлки не было на свете, так Сима, в свою очередь, взяла б детей на воспитание. Тем более что Суня вот-вот уходит в армию и три года его не будет. Места много. А там он, может, захочет проживать где-то в большом городе и работать по специальности строителя. Остер пылью припадает. Село. Население не то. Развернуться молодому человеку негде. Не то что раньше.

Мирон пресек рассуждения Симы.

Спросил:

— Михаил Иванович, вы же мальчика Иосифа усыновили по закону при живой Бэлке и живом Довиде. Как теперь ситуация, подъемная? Можно так сделать и с хлопчиками?

Я вроде находился в себе, но различал их голоса неважно. Хоть и улавливал суть. На серьезные вопросы отвечать с кровати не хотелось. Ответственность все-таки.

Сказал:

— Все можно сделать. Абсолютно все. Только надо Довида похоронить. А потом уже. Точно он умер? Вы мне скажите: точно Довид на том свете? — Я непростительно сорвался на крик. Хоть и негромкий, с хрипотой.

Мирон, Сима и Сунька переглянулись между собой. Каждый с каждым. Я специально по всегдашней милицейской привычке следил за их глазами.

Мирон положил мне руку на лоб, положил тяжело, даже со смыслом:

— Отдыхайте, Михаил Иванович. Довид точно мертвый. У нас бумага есть. Оформлена как надо. Он и по закону мертвый, и вообще. Обратного хода не даст. Не волнуйтесь.

С трудом я принял участие в похоронах. Держали меня за руки Гришка и Вовка. А я их держал. Чтоб не разбегались в разные стороны.

Прошло дисциплинированно.

Файда организовал музыкантов из клубной самодеятельности. Похоронный марш сыграли в ногу. Еще когда гроб к могиле подносили. И потом. Когда закапывали.

Слов не говорили — некому говорить. Довид в Остре на новых правах, душевных знакомых не завел. Все с Зуселем и с Зуселем. А Зуселя и нету.

Поминки не входят в еврейские правила, потому с кладбища посторонние разошлись кто куда, а мы с Мироном, Симой, Сунькой и хлопчиками пошли домой.

Оркестр плелся за нами и, чтоб не тащить инструменты без толку, играл невеселое.

Я сделал замечание Файде, что не надо б.

Мирон возразил, что это добрая воля людей и не стоит обижать. Пускай играют.

Гришке и Вовке дали по литавре. Они били не-впопад — тянут руки на одном уровне, а как до дела — один сильно выше, другой сильно ниже. Не соединяются. Чиркают краями. Мы с Мироном показали как надо. Понимания не встретили.

Сима накормила обедом. Мы с Мироном выпили по чарке за помин души Довида. Сунька убежал по своим делам.

Мирон засобирался в клуб. Я с ним.

— Ну, Мирон, что делать будем?

Мирон с готовностью изложил свою программу:

— Гришка и Вовка живут у нас. Оформить их, конечно, надо. Поможете?

— У меня свой план. У меня Ёська. Без Вовки с Гришкой получается между ними разрыв. Одно дело — они находились с родным дедом, другое — пойдут к чужим людям. Хочу хлопцев взять к себе. У нас с Любочкой не то, что у вас с Симой. У нас — как я скажу, так и будет. Мнение Любы, конечно, учту, но сделаю по-своему.

Я говорил от всей души. Обдумал по дороге с кладбища под музыку. Так и сказал, как обдумал.

Мирон остановился и смело сказал:

— Почему это мы им чужие? Мы не чужие. Они еврейской национальности. И мы с Симой тоже. Мы им никогда «жиденята» не скажем в упрек. Хоть бы такой довод вам привожу. Немаловажный, между прочим. А вы Ёське скажете. Ска-а-а-жете. Не обижайтесь, Михаил Иванович. Скажете.

— Может, и скажу. Но на данный момент представить такого не могу. Он мой родной сын. И Вовка с Гришкой тоже будут мои родные. По закону. А вы, Мирон Шаевич, говорите лишнее. За такие разговоры можно и ответить.

Мирон смутился.

— И кроме того, горячего желания у вас с Симой я не чувствую. Вы хотите от людей похвалу заслужить. Особенно от еврейской национальности. Евреи своих не бросают. У вас же кагал. А почему это вы, Мирон Шаевич, первый вызываетесь? Вы что, друг Довиду? Вы его знать не знали, пока он не перебрался в Остер. А тут — первый по всем вопросам. Он вам что, завещал хлопцев забрать? Поручение вам такое давал прижизненное? Бумажку писал?

— А вам писал? Знаю я, что он вам писал. Довид мне лично вслух читал. Такое, знаете, Михаил Иванович, и в страшном сне не приснится, что он про вас расписывал. Если там хоть капелька правды, так голова кругом идет. А вы его внуков себе заграбастать хотите. Или охранять они вас будут? Заложники они у вас будут? Ну, заложники? — Мирон ухмыльнулся. Но вытер ухмылочку рукавом и серьезно заключил: — Конечно, я против вас — ноль. И космополит, и с руководящей должности меня поперли. А вы в органах. Все можете. Одного взяли и остальных возьмете. Берите! Берите! Всех берите-собирайте! Переделывайте под себя! Они вам спасибо скажут. Вот тут я не сомневаюсь. Скажут.

Дознаватель

Терпение мое растягивалось пружиной. Но не без предела. Дало обратный ход.

— Ну да. Я жиденят беру. Вам и обидно. А вы своего жиденка у матери вырвали. Сунька. Мне Евка призналась. Да и по лицу Сунькиному видно. Мамаша вылитая. Вы свою чистую совесть засуньте куда-нибудь. А то она сию минуту в говне будет. Если по совести вспомните, как было по правде.

Файда выгарашил глаза. Рот раскрыл, но слова не выходили.

Мы стояли друг против друга молча.

Сколько стояли — не знаю. Долго.

Мирон сказал:

— По правде, говорите, вспомнить? Я вспомню, вспомню. Пошли. Доклад сделаю. С трибуны сделаю. С графином. Со стаканчиком сделаю.

В магазине по дороге Файда купил две бутылки вина — под вздохи продавщицы про безвременного Довида Срулевича. На отчестве не выдержала, прыснула, но тут же закрыла рот и нос уголком платка и громко высморкалась.

Потом одобрила:

— Як же, помянуть треба. Надо помянуть. А то вскочит и вернется. А ему все равно не жить. Мучить всех будет. Детей пугать. Надо, надо на помин. И остатки на могилку полить.

Мы закрылись в завхозовской каморке — в большом здании бывшей синагоги перегородки закутка не доходили до высоченного потолка. Полки завалены барахлом. Все как положено.

Конторский стол чистый. Файда расположил на нем бутылки, достал стаканы.

Бутылку протянул мне.

Я не раз замечал, как люди умеют изменять свой внешний и внутренний вид за секунды. Не специально. Специально как раз сразу можно различить умысел. Когда специально, получается напряжение. Человек весь подбирается, держит себя в придуманном узле, следит за всеми своими частями. А уследить нельзя. Потому что уже есть у него и тело, и голос, и манеры. А если без умысла, под воздействием глубокой потребности — тогда можно человека враз и не узнать. Он — и не он.

Файда передо мной был не Файда. Раньше он стоял трюхи пониже, жил передо мной вроде снизу наверх и так далее. Теперь наоборот. Смотрел сверху вниз.

Я присел на табуретку. Выбил пробку. Нарочно повозился. Пускай немножко успокоится. Лишние нервы ни к чему.

Когда разливал вино, сделал вид, что рука дрогнула.

Файда заметил. Но ничего не сказал.

— Видите, Мирон Шаевич, рука дрожит. А вы меня в бесчувствии обвиняете. Обвиняете. Не спорьте. Вам напоказ выпить охота, а вы ж не пьющий. Меня напоить думаете. А я не пьянею. Тем более вино. А вот вы пить будете. И сильно будете. Вам надо. Надо?

Файда сказал, что надо.

Быстро выпил полстакана.

Я только пригубил.

— Ну, Мирон Шаевич, начинайте доклад. С до войны начинайте. С Евки. И учитывайте. Сейчас ваша смелость пройдет. На полуслове пройдет. И вам станет стыдно, что вы передо мной выступаете. Вы на меня от ненависти смотреть не сможете. Ну так в другую сторону и глядите. Главное: рассказывайте. Я вас за язык не тянул. Я к вам со всей душой.

Файда выпил еще.

Уперся кулаками в стол, вроде на собрании, наклонился вперед. Для разгона.

В общих чертах его рассказ совпадал с Евкиным.

Забрать ребенка у Евки придумала не Сима. Правда, грозилась прижать Мирона по партийной линии. Моральное разложение и далее по списку. Мирон не сразу испугался — хорохорился. Отвечал на все угрозы жены, что из семьи уйдет по направлению к Еве и будущему ребеночку. И партия его сильно не осудит, потому что Сима бесплодная, а Евка родит еще одного советского человека. И что стране польза. А от Симы — пользы нету. Отвечал, в общем, ей с тех же партийных позиций, на которые она его сама и толкала.

Сима притихла.

Но однажды к Мирону по месту работы пожаловала Лилия Воробейчик. Он их с Евкой, конеч-

но, различал. Но в первую секунду испугался, потому что не обнаружил живота. До такой степени Евка ежесекундно сидела у него в печенках. Думал только про нее и ее живот.

Лилька сообразила, почему Мирон испугался до побеления. Засмеялась. Сказала: «Вот, Мирон Шаевич. Видите, как хорошо. Вроде и Евка. А без живота. Как ничего и не было. Пойдемте прогуляемся. Я к обеду зашла. Чтоб ваше рабочее время не занимать ерундой. Пирожков привезла. Домашние. Мы с Евкой пекли. Покушаем на скамеечке где-нибудь. Пошли, Мирон Шаевич».

И так посмотрела, что Мирон понял: будет решительный момент в его жизни. И придет этот момент от Лилии.

На скамеечке в сквере Лилька ему изложила план. Если он бросит жену, хорошо не станет. С Евкой ему все равно не жить. Евка из сомнительной семьи. Лилька ему предложила: «Хотите, так устрою, что ваш с Евкой ребенок будет у вас с Симой?» Мирон не понял сути. Лилька разъяснила: Евка рожает и добровольно отдает ребеночка Симе и Мирону. И все. Все понятно. Был живот — и нету живота. Чтоб живот исчез — это главное. Распространят слух, что Евка скинула. Люди поговорят — и забудут. А у Мирона с Симой останется ребенок. И Евка опять свободна до новых встреч.

Мирон спросил, согласна ли сама Евка. Лилька заверила, что с сестрой уладит. Мирон попросил пару дней на размышление. Лилька ответила, что

надо сию минуту. Пока она доест пирожки. И ела пирожки в количестве пяти штук один за другим. Ела и смотрела в глаза Мирону. Ела и дышала на него куриными потрохами с луком и шкварками. Когда она потянулась в кулек за очередным, Мирон согласился.

Лилька дала ему пирожок. Руки себе вытерла травой. И сказала: «Вы Симе ничего не говорите. Вы в стороне. И покушайте обязательно. Чаем запейте. А то в горле застрянет. Горло у вас ходуном ходит. Подавиться можно».

Как, что дальше — Мирон не знает.

Евку он до самого переезда в Остер после того, как его турнули с должности с понижением, не видел. А Сунька — вот. Вырос у них. Родной сын. Симма в нем уверена как мать. И он как отец уверен и жизнь за него отдаст, если, конечно, потребуется.

Нового для меня оказалось только, что сюда свою голову сунула Лилия Воробейчик. И ее роль на данный момент и на данные обстоятельства меня мало интересовала. Хоть предстояло еще осмысление.

Меня важнее интересовало другое.

Разбег у Мирона кончился. Но я чувствовал, что он меня еще не ненавидит. Не разозлился он еще на меня до безумия. Не выложит последнюю правду. А что последняя есть — я не сомневался. Если б ее не было — он бы так легко предпоследнюю не выложил. Про Суньку — это только предпоследняя.

И я приговорил:

— Это я и без вашего рассказа знаю. Вы пейте, пейте потихоньку, Мирон Шаевич. А что Лаевская у вас в доме по милицейским карманам шныряя, вы в курсе?

И тут не то что разбег, а сердце у Мирона кончилось. Тут он меня в порошок бы и стер. Именно тут. На Лаевской. А когда человек другого стереть не имеет возможности, он себя стирает. В пыль стирает. Себе же и назло. Чтоб силу свою выпустить. А то разорвется. Лопнет.

— А, Полина... От нее моя Симка всю жизнь терпит. И я терплю. Родственница. Она мне девок Воробейчиков подсунула. Чтоб я спасал. Она знала, что Сима бесплодная. Сима всех врачей замутила. Толку нема. Полина перед ней вихлялась — у нее трое детей было. Одна другой лучше. И умные, и красивые. Высшей марки. Сима ночами плакала: зачем Поинка ей глаза колет своими детьми. Поплачет, поплачет — и на меня лезет. Вдруг у нас получится. У нас не жизнь была, а пытка. Каждую ночь мне пытка была. Сначала нервы, потом это самое. И что? И ничего. На меня такая усталость прилепилась, что я ничего не мог. Так и сказал Симе: «Ты бесплодная, и я теперь без сил. Давай помиримся на этом месте. Живут люди без детей. И мы будем». Я, между прочим, еще молодой был. У меня кровь играла. А на Симку гляну — и вся игра к черту летит. Симка к Поинке. Чтоб мне или врача устроила для совета, или бабку какую-нибудь нашла. Поинка ей говорит:

«Тут не врач нужен, а молодая красивая девка. Я устрою». Ну, подсунула мне. А я на ответственном посту, как опора нуждающимся. С Евой закрутилось. Я считаю, Полина заранее рассчитала. И Лильку подключила.

Я кивал и не пил.

Миرونу поддывал.

Файда отхлебнет, подышит в глубину и опять заводится, как «студебеккер» от рукоятки. Он и руками такие движения проводил, вроде рукоятку заводит. И не сел ни разу. Я ему табуретку под колени — он отшвырнет пяткой. И дальше.

— Мирон Шаевич, вы про свои нижние потребности перестаньте. Противно слушать. Вы мне про Полину. Знали, что она по моим карманам лазила? У вас же в доме?

— Знал. В комнату зашел, когда она хотела мешок развязать. У нее не получалось. Попросила меня. В окно выглядывала, чтоб вас не пропустить. Я не смог. Она в карман кителя полезла. Лично. Что-то достала и в лифчик себе засунула. Я ей, конечно, сказал, что не надо. Тем более из кителя. Из мешка еще так-сяк, а из кителя с погонами... Она шикнула и смылась. Что взяла? Важный документ?

— Ерунду. Пшик она взяла. А вас повязала. Сообщник вы. Все вы сообщники.

Мирон присел на край табуретки. Не придвигал к столу. Помнил, что она дальше стоит, что оттолкнул он ее. Оттолкнул вроде в сердцах. А запомнил. Сел, не промахнулся.

— То есть как? По какому делу я ей сообщник?

— Это тайна следствия — по какому. Вы мне расскажите. Без баб своих. Без детей. Зачем Лавевская к вам приезжала? Чего она вообще моталась туда-сюда?

Мирон сидел тихо. С отвращением смотрел на стакан. На бутылку почти пустую.

Я спросил:

— Вторую начинать?

Он отрицательно заявил, что видеть не может больше эту гадость. Чтоб я под стол убрал. А то на душе тошнит.

Я не убрал. Вылил себе в стакан остаток из первой, долил из второй до краев.

Поднял стакан и провозгласил:

— Давайте выпьем, Мирон Шаевич, чтоб вы и ваша семья оказались ни при чем. А заодно за помин души Довида. Или лучше сначала за помин Довида, а потом, отдельно, за то, чтоб вы сухими из воды вышли. Смешивать не надо. Точно? Не надо смешивать? Вам — жить, а Довиду в земле лежать.

Я выпил залпом. И снова налил себе.

— Вот это уже за вас и вашу семью. За Суню, Симу, за вас лично. Надо чокнуться. Вы за Довида не выпили. А за своих живых выпейте.

Я налил полный стакан Мирону и твердо поставил перед ним.

Он не чокнулся, не посмотрел на меня, выпил.

— Ладно. Будем считать, что вы с повинной явились, Мирон Шаевич. Говорите.

Дознаватель

Мирон вскочил и выбежал из каморки. Я слышал, как он грюкал по каменным плитам. До улицы не добежал. Вывернуло его еще в помещении. Понятно по звукам.

Я сидел и ждал. Думал, умоется, вернется назад. Пять минут ждал, десять.

Вышел на стон Мирона. Он лежал почти на пороге, на камнях. И так хорошо лежал, голова немного на возвышении. А то б захлебнулся.

Я позвал кого-нибудь. Подошла баба-уборщица. Поохала, поохала.

Сказала:

— Горе у него. Приберу. Пускай на холодке полежит. Очухается. Тут камни всегда холодные. В чувство приведут бедного. А вы милиционер с Чернигова?

— Да. Мы Довида поминали.

Она кивнула, что-то пробормотала по-еврейски.

На улице было светло. От сумрачности в каморке глаза устали. Теперь я смотрел новым взглядом. И делал план.

Еще до ночи — раскалываю Мирона на пару с Симой. Вместе посажу и буду колоть.

Потом — в Рябину. Наведу порядок с Любой.

Потом — в Чернигов к Лаевской.

Судьбу Гришки и Вовки я решил. Забираю.

Шел по направлению к дому Довида. Ключи находились у меня — забрал у Мирона, как только восстал от болезни. Мирон отдал без особого

желания. Он, наверно, считал этот дом уже своим. Если б хлопцы остались у него — так и дом у него тоже.

Когда я забирал ключи, Гришка с Вовкой еще не оформились у меня в мозгу. Но теперь они точно мои. И дом тоже мой. Когда вырастут — получат и распорядятся втроем с Ёськой. По закону.

В пустом доме обошел все углы. У Зуселя перевернул тряпки на топчане. Обсмотрел под и над. Ничего. Ни листочка из религиозных книжек, ни еврейских причиндалов. Если б Зусель все с собой утащил — ему б тележка понадобилась или чемодан большой. А он и сам на ногах своих стоял сомнительно.

Обстучал половицы, стены в комнатах и в сенях.

Спустился в погреб. В темноте зажег свечку — там же на приступочке нашел вместе со спичками.

Пустота. Собрался вылезать, но споткнулся о поломанный ящик — гвоздем распорол брючину. Со зла толкнул ящик ногой. Верхняя планка треснула, и нога попала как в капкан. Дергал и так, и так. Не получалось освободиться.

Свечка погасла.

Волоком дошкандыбал до лестницы — сверху падал свет. Высвободил ногу и руками понял, что к боковой стенке ящика изнутри прикреплена торбочка. Скорей, кисет. С твердым. Но не куском. В кисете на ощупь перекаtywалось отдельное друг от друга. Также тугая трубочка, плотная, небольшой длины.

Наверху я развязал. Узел был мой. Потому и развязал. Иначе б долго возился. Или скорей всего разрезал.

Узел-то мой. Только с отклонениями. С отсебятиной. Но, видно, старался человек. Завязывал терпеливо. В местах связки широкая тесемка разглажена. Вроде бант расправляли. Снова вспомнил Евсея. Он даже шнурки на ботинках таким узлом вязал. Постоянно совершенствовал скорость.

Внутри находилось следующее: коронки золотые — четыре штуки, обручальные кольца — семь штук; царские золотые червонцы — пять штук; брошка желтого металла, предположительно золото, цветком с камешками синего цвета — одна; булавка длинная с заверткой в форме бутона розочки серого металла — предположительно серебряная с чернью — одна. А также советские денежные знаки бумажные, скатанные и перетянутые резинкой от лекарства. Денег две тысячи разными мелкими купюрами.

Я сложил все обратно внутрь. Но не завязал крепко, а абы как.

Побежал к Миرونу.

Мирон сидел за столом.

Сима поила его куриным бульоном. На меня зыркнула с осуждением.

Я не отреагировал. Шваркнул развязанный кисет на стол. Высыпалось внутреннее богатство. И червонцы, и коронки, и кольца, и брошка, и булавка, и гроши трубочкой.

Сима ахнула. Уронила черпак в супницу. Брызги на все стороны.

Мирон только глазами повел. И то — не на золото, а на меня.

Я сказал:

— Граждане, будете сейчас понятыми. Пересчитаем, оформим.

Файда потянулся через блестящую горку к хлебнице, заграбастал сразу несколько кусков, положил возле чашки. Стал крошить хлеб в бульон. Крошит и крошит. Крошит и крошит.

Говорю:

— Вы, гражданин Файда, так понимаю, не в первый раз видите содержимое данного кисета. Оно вам даже кушать не мешает.

— Не мешает. Я на это содержимое столько смотрел, что и не мешает. И вы садитесь, Михаил Иванович, покушаем. Успеется. Все успеется теперь.

Меня не удивило спокойствие Мирона. Это спокойствие входило в мои планы. В синагоге я чувствовал: будет последняя капля, после которой он успокоится и расколется. Но что это за капля такая образуется, мне было неизвестно. Я и обыск устроил без ясной цели. Оказалось — вот последнюю капельку и принес. Прямо на стол.

Мирон смотрел на меня без зла. Зло уже не нужно было ни мне, ни ему. Он смотрел с освобождением. И я понял, что давить не придется.

— Симочка, и мне бульончика налейте. Я туда тоже хлеба покрошу, как Мирон Шаевич. И са-

ми садитесь коло нас. А то у вас и руки, и ноги трусятся, и все на свете.

Сима дрожащими руками протянула мне полную чашку.

Сама есть не стала.

Мы с Мироном пили бульон, потом ложками выгребали размокший хлеб — не наперегонки, а наоборот. Каждый старался медленней.

Наконец Мирон не выдержал.

— Сима. Иди отсюда. Куда-нибудь подальше иди. К хлопцам на луг. С ними поиграй. Сунька там?

Сима ответила, что уходил с хлопцами, а там они сейчас или нет, ей неизвестно.

Мирон приказал выяснить и ждать дальнейших распоряжений на том месте, где дети.

Сима спросила:

— Я не знаю, где их найду. Может, на речке, или на Волчьей горе. Какие твои распоряжения мне ждать, если ты не знаешь, где нас с ними обнаружить?

— Иди, Сима. Иди подальше. — Мирон встал, погладил жену по спине и подтолкнул к двери. — Иди. Я найду. Вы шуметь будете, вы тихо не умеете. Вот я по голосам и найду.

Сима пошла.

Мирон сел.

— Вы ж, Михаил Иванович, уже пересчитали. Не ломайте комедию. Понятые-шмонятые. Мы с вами и есть понятые. Других не надо. Если хотите знать, я рад, что вы кисет нашли. Он мне поперек горла висел. Где нашли?

— В погребке у Довида. Умеющий человек прятал. Не говорите мне кто. Сам знаю. Евсей прятал. Точно?

— Точно.

— Кто знал, что схованка в погребке?

— Я и Евсей.

— Как? А Зусель не знал? А Довид не знал? А Малка? Про какие грóши они талдычили?

— Про другие, наверно.

— Почему Евсей у вас не спрятал?

— У меня не спрятал, потому что у меня Сима умная. И погреб она содержит в порядке. И варенье там держит. И другое полезное. А эту гадость я в свой погреб не пустил. Мне гидко, чтоб в моем родном погребке, где моя еда располагается, которую мои родные сын и жена кушают, в том числе и я сам, находилось вот это вот я не знаю что.

Мирон говорил хоть повышенно, но без нервов. Нервы он выпустил раньше, в каморке. Вместе с блевотиной своей пьяной. Которую я видел своими глазами. И он знал, что я видел и наблюдал. Теперь он был мой.

— Ну, Мирон Шаевич, рассказывайте.

Показания Мирона сводились к следующему.

Евсей явился в Остер вместе с Лаевской. Остановились у Файды. Лаевская показала Мирону кисет и распорядилась в приказном тоне, что надо спрятать. Но так, чтоб быстро достать в случае необходимости. Евсей был в форме, показал удостоверение личности.

Евсей посоветовал сделать схованку где-то в доме, чтоб под неусыпным контролем. Мирон отказался наотрез. В качестве выбора предложил дом Евки Воробейчик. Дом тогда стоял заколоченный, Евка перебралась в Чернигов. Так и сделали.

Евсей сам все устроил. Ходил самостоятельно ночью под прикрытием темноты. Дверь там держалась на честном слове, и Евсей проник фактически беспрепятственно. О чем весело рассказал впоследствии. Место описал Мирону точно и предупредил, чтоб развязывать не пытался. Потом не завяжет как было. Если понадобится — Мирону дадут знать, и он доставит кисет куда надо.

Утром он и Лаевская уехали в Чернигов. Перед отъездом гостей Мирон не выдержал и спросил, кто может распорядиться, чтоб кисет отдали, как он определит, что это не провокация. Кроме Лаевской и Евсея, конечно. Лаевская ответила, что если не она и не Евсей, так никому никогда и не отдавать. А точно сказала так: «Кто когда-нибудь найдет, того и будет».

Потому, когда в Остре стало известно про смерть Евсея, а Довид с хлопцами объявился тут на жительство, Мирон заволновался и первым делом связался с Лаевской на предмет дальнейшего. Полина успокоила советом не думать про что не надо.

Вскоре Довид с Зуселем, Малкой и хлопцами заселился в хату. Это когда Евка окончательно перебралась в Чернигов. Считалось, что дом Довид купил. Мирон стал часто к ним ходить. С одной стороны, по совести, а с другой — от постоянного

беспокойства за ценности в погребе. Ввиду неминуемой зимы он высказал предположение Довиду, что хорошо бы запастись картошкой и другими овощами. Жалко, что погреб у Воробейчиков всегда славился сыростью и протеканием. Вызвался оказать содействие по этому поводу.

Спускаться и обследовать Довид и Малка отказались, так как лестница на вид была гнилая. Что правда. К тому же Евсей перебил несколько поперечин для отвода глаз.

Мирон возился в погребу показательно, а когда вылез, сделал заключение, что надо забыть про это горе. Весь дом стоит на честном слове, а погреб — первая угроза. Там подпорка на подпорке, и все гнилое. Лучше забить крышку. От хлопцев. Чтоб не лазили. Довид сам забил огромным гвоздем. Овощи решили запастись в яме на дворе. А также Мирон обещал предоставить свое помещение без ограничения.

Между прочим, я никакого забитого гвоздя не обнаружил. Откинул крышку и залез.

Потому уточнил:

— Кто гвоздь выдернул? Не вы? Я тут валялся без памяти, Довид в больнице. Больше никому.

Мирон заверил, что не он. Что он не то что на гвоздь, а вообще в сторону погреба и не смотрел даже в страшном сне. И спросил:

— Верите?

Я ответил:

— Верю. Теперь вот что я вам окончательно скажу. Ваша роль мне ясная. Роль нехорошая. Вы

Лаевскую боитесь. Ваше поведение с Евкой неблагоприятное. Да, Лаевская вас к девке толкнула. Но дальнейшее — на вашей личной совести. Не буду вас пугать, что Суньке расскажу. Сунька взрослый. Он понимает: не та мать, что родила, а та, что воспитала. Хоть с него портрет Евкин рисуй. Считаю, догадается хлопец самостоятельно. Или кто-то подскажет невзначай. Но Сунька вам именно поведения вашего и не простит. А я ему про поведение и расскажу. Если понадобится. Мать матерью, а поведение поведением. С Вовкой и Гришкой вам понятно. Я их забираю. Симе передавайте привет и благодарность. Я сию минуту уезжаю. Ждать-прощаться не буду. Хлопцам скажите, что скоро вернусь за ними. Кисет у вас пока. Хоть под подушку засуньте, хоть куда. Спрошу с вас.

Миرون выслушал мой приговор обреченно. Но я знал, что в голове у него другое: в голове у него своя правота. И с этой правоты я его не свернул.

Сейчас у него в голове радость. И радость эта от того, что он мне не все выложил. С-под ногтей своих не все. Но мне надо было оставить ему хоть что-то. Чтоб он меня не до смерти ненавидел. Не до смерти.

Брехня про то, что Довид был не в курсе, — меня не обманула. Довид, конечно, про кисет знал. Такой хозяин, как Басин, — чужого человека в свой погреб запустит и доверит выносить заключение: пригодно там картошку держать или нет?

Нет. Довид находился в курсе.

Но почему Мирон мертвого выгораживает?
Наоборот, свалил бы на Довида и кiset, и все.

В голове у меня сложился ответ.

Когда Довид переселился в Евкин дом, Лаевская распорядилась, чтоб ценности Довид принял под себя и у себя спрятал. А чтоб он спрятал и не посмотрел, что внутри и сколько, — недопустимо. Он смотрел. Тайно от Лаевской. А узел ему кто завязывал? Пацан? Гришка? Если Гришка, так кiset мог и после Евсеевой смерти к Довиду попасть. И рассказы Мирона про то, что Евсей с Лаевской заодно приезжали, копейки выеденной не стоят.

Тогда от рассказа Файды не оставалось ничего. А так не бывает. Человек если дает неправдивые показания, обязательно какую-то правду использует. Опирается хоть на что. Чтоб не запутаться окончательно.

Начал размышлять сначала.

Для надежности присел на траву — на обочине Киевского шляха — в ожидании попутки время зря не терялось.

Какая мне разница, как золото оказалось у Довида буквально?

Разница именно в том, была ли Лаевская в это замешана.

Мирон утверждает, что была.

Главное, безоговорочное и ясное — первоначально узел делал Евсей. Значит, Евсей и привез

кисет. Мирон ему чужой. А Лаевской не чужой. Евсей бы к чужому с таким грузом не заявился. А Лаевская к родному, да еще и зависимому по всем швам, явилась с уверенностью, что все приказанное исполнит. Мирон Евсея не знал. Придумать его образ со слов Лаевской — зачем путаться лишнее?

Нет.

Тут и содержалась капля правды, на которую Мирон опирался всем телом.

Кисет привезли Лаевская с Евсеем. Потом Мирон отдал его Довиду.

Это мне свидетельствует про что?

Это мне свидетельствует про то, что Евсей был с Лаевской в чем-то крепко заодно. И до того крепко, что потом застрелился, оставил своих троих детей и любимую жену на произвол.

Грóши, которые Зусель в Чернигов тащил и где-то потерял или еще что, — отдельная история. Может, они и не с кисета. Они — посторонние.

И может, Гришка про эти именно грóши и имел в виду.

Я даже не размышлял, а внутренне ползал и ползал вокруг кисета с золотом и бумажками в виде денег — про которые, кстати, Мирон ничего отдельно не сказал и даже вроде не заметил их особо, — аж до кружения во всем теле — с головы до пяток, с пяток до головы, и врался в землю, вдавливался. А гора надо мной высилась и высилась. Высилась и высилась. Высотка, ко-

торую надо было взять. Несмотря на жертвы. Назло врагу.

В Рябину вошел ночью.

Вслед мне брехали собаки. И сам я себе показался собакой.

Бегаю, бегаю, как за своим хвостом гоняюсь. И нюх у меня вроде заварен: сильно горячим накормили. Или сам хватанул.

Сколько раз делал план. И каждый раз план срывался или отодвигался. И отодвигала его пухлыми руками Лаевская. Отодвигала и отодвигала. И не в определенную сторону, а так — вроде тарелку с невкусной едой.

Потому что она — Лаевская Полина Львовна — сытая по горло. Ей не к спеху.

А я — голодный. Мне срочно.

И ни разу за все время пути не вспомнил про исчезнувшего Зуселя. Про грóши, что у него якобы присутствовали, — сто раз. А про него как такового — ни разу.

В хату к Диденко не стучал.

Завалился спать прямо в саду под вишней. Рядинка там валялась. Сухая трава в изголовье — наверно, старик дремал днем. Я на его место и пристроился.

Подумал с радостью: повезло. Никаких слов объяснять не нужно. Никого будить не пришлось.

Дознаватель

Встал до петухов. Тихонько стукнул в окно.
Выглянула Любочка. Открыла дверь. Мы об-
нялись крепко-крепко.

Я шепнул, чтоб она пошла за мной.

Люба спросила на ходу:

— Что случилось? Ты надолго?

Повернулся к ней всем телом:

— Ничего не случилось. Сегодня мы с детьми
уезжаем. Садись, надо важное тебе сказать — и па-
куй вещи. Садись, садись.

Любочка опустилась на скамейку, на самый край.

Сказал:

— Довид Басин умер. Гришку и Вовку мы бе-
рем к себе. Где двое — там и четверо. Да, Любочка?

Люба заплакала.

Но произнесла твердое:

— Да.

Диденко к моему появлению отнесся спокой-
но. Радости не проявил, но и не бурчал.

Сказал:

— Увозишь, значит, своих. Срочная эвакуация.

Я не ответил ничего.

Дети мне обрадовались, конечно. Я их долго
обнимал и прижимал к сердцу.

Ганнуса взяла меня за руку и секретным голо-
сом прошептала:

— Пойдем в сарай, я тебе покажу что-то.

Ёська побежал за нами. Я, чтоб он не спотк-
нулся, взял его на руки.

Вошли в сарай. Ганнуся, как в музее, показала пальчиком на что-то у стенки. Доски, инструменты.

— Папа, дедушка себе делает гроб, чтоб в нем лежать под землей. Мы ему помогаем.

Ёська прижимался лицом к моей шее и повторял каждое Ганнусино слово неразборчивым детским языком.

Ганнуся подвела меня близко. И правда, на двух пеньках стоял гроб. Еще не до конца сделанный. Доски обструганы гладко.

Ганнуся с гордостью провела по ним ладошкой:

— Ничего не должно колоться. Мы с Ёськой сами проверяем. Мы любим дедушку и хотим, чтоб ему было хорошо. Еще осталась крышка, и дедушка будет умирать.

Я слушал и смотрел. Но в какой-то момент упустил нить. Показалось, что я во сне. Только тяжесть Ёськи не дала мне окончательно прикрыть глаза и опуститься на твердую землю, хоть сильно хотелось.

Ёська запросился с рук.

Он пошел к раскрытой двери и позвал:

— Деда, мы тут! Покажи папе, как ты лежать будешь.

Зашел Диденко. Засмеялся.

— А ну, кыш, дурныки малые!

Дети весело клянчили, чтоб он улегся.

Я молча наблюдал.

Но когда Диденко стал примеряться, как удобней залезть в гроб, не выдержал. Схватил его поперек живота — со спины и откинул вбок.

Старик упал лицом вниз.

Дети перестали смеяться. Ёська закричал. Ганнуся заплакала.

Диденко повернулся на спину, завозился, сходу подняться не смог. Дети бросились помогать.

Я выскочил из сарая на солнце. К нам шла Любочка. В сарафане. Ноги через материю светились высоко.

Я сказал:

— Мне плохо. Сильно плохо.

Неясная улыбка ушла с лица Любочки.

Я добавил:

— Сейчас пойдем на речку. Вдвоем. Да?

Люба кивнула.

Она отнеслась ко мне без нежности, но и не оттолкнула. Конечно, я, как мужчина, в такой момент не стал дожидаться, но все-таки.

Мы лежали в траве и не смотрели друг на друга. Вроде только что имела место не любовь между мужем и женой, а недоразумение между чужими людьми.

— Люба, о чем ты думаешь?

Я спросил, чтоб подать свой голос. Чтоб она вспомнила, что это я. Чтоб уяснила, что я тут и это я был с ней минутой назад.

— Собираться пора. Думать некогда, Миша. Некогда думать.

Люба заплакала. Не как бывало иногда с ней — украдкой, а в голос, прямо мне в лицо.

— Как мы будем жить, Миша? Как мы будем кормить детей?

Я понял: у женщины истерика. Я трохи мазнул ее по щеке, не пощечина, а я не знаю что. Во всяком случае, не сильно больно. Как еще прекратить?

Она затихла. Но взгляд оставался неуместный. Откуда-то изнутри, из глубины.

— Любочка, детей вырастим. Нам бы с тобой быть вместе. И любить друг друга. Ты не против?

Люба молча поднялась, оправила сарафан. Попыталась приладить оторванную спереди шлейку, но оторвала ее совсем и откинула далеко в сторону.

— Как скажешь, Миша. Скажешь — вырастим, скажешь — буду тебя любить. Как смогу.

И быстро побежала назад. В речку ополоснуться не зашла.

Когда я вернулся — Люба сидела на узлах с вещами.

Диденко суетился, перевязывал чемодан. Крышка не закрывалась. От усилий аж погнулась вся.

— Что вы там напихали? — Я откинул верх. Сало в тряпочке, хлеб, огромный рушник, рядинка — та, с-под вишни, полотняная рубаха,

кальсоны, нательное мужское белье на тесемках, сапоги почти сношенные, валенки. Какие-то неопределенные тряпки, допотопные, само-тканые.

Я убрал все, кроме сала и хлеба.

— Микола Иванович, спасибо вам, конечно, что вы для меня гостинцы-подарки собрали. От себя отрываете. Но у нас с Любочкой все есть. А вам и самому пригодится. Где вы новое купите?

Диденко сгреб барахло на полу в кучу, помял, потом стал запихивать обратно в чемодан.

Люба махнула рукой:

— Миша, надо забрать. Ему так спокойней будет. Я просила, чтоб оставил себе, — ни в какую. — И ласково обратилась к Диденко: — Микола Иванович, Миша не со зла. Он даже сильно благодарный. Мы заберем. Мы обязательно заберем, и Миша носить будет. Будешь, Мишенька?

Она так на меня посмотрела своим новым внутренним взглядом, что я кивнул.

Диденко от усердия распластался на крышке, но сил завязать вокруг не хватало. Про замок не могло быть и речи. Крышка отставала сантиметров на десять.

Я завязал веревку.

Машинально. Тем самым проклятым узлом.

Посидели пару минут перед дорогой.

Дети не шумели.

Тишина стояла ужасная.

И в тишине раздался голос Петра:

— А ну, выходи! Ганнуся, Ёсип, на Ворсклу підемо! Сонечко високо, вода глибока!

Дети выбежали на двор. Люба — следом.

Ганнуся кричала, Ёська ей подкрикивал.

— Петро, Петро, любесенький, мы уезжаем до дому, в Чернигов! За нами папа приехал! Мы сейчас уезжаем! Мы на поезде поедем! И кушать будем в поезде, и все-все в поезде! Прямо на ходу! И спать будем!

Петро стоял в плащ-палатке памятником. Ему было жарко, пот стекал по лицу. Обтекал повязку на глазах — и тек дальше, на подбородок, оттуда капал на брезент.

Петро молчал. Всей головой повернулся к Любе. Она голоса не подавала. Но он ее учуял.

Люба погладила его по руке.

Сказала:

— Прощай, Петро. Доследи за Миколой Ивановичем. Дай я тебе плащ сниму. Ты в нем прямо в землю врос. Жарко ж.

Петро ответил бодро:

— А я с ночи. Ночью не жарко. Ночью прохлада. Я цельную ночку гулял. И коло Ворсклы, и так, по шляху. А снять я и сам могу. Я не инвалид. У меня руки есть.

Он оттолкнул Любочкины руки и сам сбросил плащ. Под плащом на нем были одни штаны.

Ноги босые, черные от земли и травы.

А тряпочка на глазах белая-белая.

Люба тряпочку потрогала. Вроде погладила.

Дети на хату диденковскую не оглянулись.
И на Петра не оглянулись.

Добрались до Чернигова кое-как.

В дороге поведение Любы меня насторожило. Она молчала. Молчала и молчала. И с детьми молчком, и со мной.

Дома Люба сразу обсмотрела все, и первые ее слова были такие:

— Надо еще раскладушку купить. Ты с хлопцами в комнате, а мы с Ганнусей на кухне будем спать. Стол оттуда надо вынести в комнату — чтоб для занятий был. На кухне к подоконнику приделаешь досочку — для широты, там кушать будем.

Я спросил, как она себя чувствует, не надо ли ей к врачу. Судя по ее выражению лица. На всякий случай.

Она сказала, что чувствует себя сильно хорошо.

Я ее обнял, и она меня тоже обняла. Но вместе, заодно, мы не обнялись. Не получилось.

На поездку в Остер я отвел себе день. Потому срочно отправился. В полной милицейской форме.

У Мирона дом стоял пустой. Все на работе. В хате Довида тоже пусто. Дверь нараспашку.

Я там и устроился. Посидел немножко, успокоился с дороги.

Пошел на Десну — к Гришке и Вовке. Не сомневался, что они там.

Хлопцы бултыхались в воде наряду с другими товарищами разного детского возраста.

При виде меня кто-то крикнул:

— Гришка, Вовка, тикайте!

Гришка с Вовкой выскочили из воды и побежали в неизвестном направлении.

Я их не останавливал.

Сказал спокойно, но громко:

— Кто сказал, чтоб хлопцы тикали, сейчас же выйти ко мне. Иначе плохо будет всем. Если ты не трус, конечно. Если трус, сиди на месте. Пускай выйдут остальные. Они получатся не трусы, а наоборот, честные советские граждане.

Вышло пятеро пацанов. На небольшой глубине остался один, старался прятаться с головой.

Я спросил у близко стоявшего:

— Как его зовут? — и с презрением кивнул в воду.

— Васька.

— Нехай сидит до посинения. Найдите Гришку с Вовкой и приведите домой. Я там буду. Скажите, чтоб не боялись. Чтоб ничего теперь не боялись. Я их перед всеми вами объявляю родными своими детьми. Поняли?

Повернулся и ровным шагом потопал обратно.

Был определенный расчет на впечатление, но дети особенно впечатление и понимают. Им представляется, если по-простому, так это неправда.

Гришка с Вовкой нагнали меня еще в пути. Не крикнули, плелись сзади. Перешептывались.

Я не подавал вида. Резко обернулся и засмеялся смехом, который им всегда нравился.

Хлопцы застыли на месте.

Гришка сказал:

— Ты нас в милицию не посадишь?

— За что? — Я удивился и все свое удивление показал голосом и руками.

Гришка промямлил:

— Ну... Я подумал... Беспризорников в милицию сажают. Потом в детдом. К Макаренке. Мы с Вовкой обсудили и против такого. Дед умер, правда, но Зусель не умер? Он живой? Он куда-то пошел и придет. Мы с ним будем жить. Да, Вовка?

Вовка кивнул.

Я спросил:

— Вам передали хлопцы, что я объявил? Вы — мои. Ваш отец был моим лучшим товарищем до смерти. Ваш брат Ёська у меня. И вы будете у меня. Мы заживем вместе. В Чернигове. Я ваш отец теперь. По закону.

Гришка замотал головой:

— Нет. Нам сейчас хлопцы сказали, что ты придурялся перед ними, навроде в кино. Они тебе не поверили. И мы не верим.

Я разозлился.

Схватил за руки Вовку и Гришку и потащил за собой:

— Пошли домой! Я вам объясню кино! Не понимаете по-хорошему, поймете по-плохому!

Я на них не смотрел. Не оглядывался по сторонам. Вовка хныкал. Гришка сцепил зубы. Я слышал, что он их сцепил и скрипел. Евсей так делал.

Дома я как следует объяснил, что и зачем. В ходе разъяснительной беседы обнаружилось, что Сунька отрицательно настроил малолетних на мой счет. Он заверил, что я намерен отдать их в детский дом, в то время как Мирон с Симой хотят их оставить у себя. То есть в их понимании — на свободе. И чтоб они ни за что не соглашались со мной ехать, несмотря на любые мои обещания и возможные хорошие подарки.

Подарков у меня не оказалось. Это смутило особенно Вовку.

Он спросил:

— Ты можешь купить целый велосипед?

Я сказал, что на велосипед у меня денег нету.

Вовка сказал Гришке:

— Ну видишь!

Что означало «видишь» — я не понял. Но понял вот что: надо сажать рядом Мирона, Симу с Сунькой и устраивать общий окончательный разговор. При детях.

На улице я задержал какого-то паренька, велел ему бежать в клуб и сказать Мирону, чтоб вместе с Симой и Сунькой шел в дом Басина. Приехал Михаил Иванович из Чернигова.

В ожидании Файды я внимательно и целенаправленно обследовал крышку погреба. Причем в

присутствии детей. Нарочно спрашивал, не замечали ли они большого гвоздя, которым забивали крышку. Не играли ли под полом в войну, в разведчиков или другие игры. Тайно от деда, Малки и Зуселя или с ними вместе.

Гришка сильно тщательно елозил по крышке и возле нее, искал след от гвоздя или сам гвоздь.

То спичку горелую мне сунет, то щепочку и орет:

— Вот гвоздь! Вот гвоздь!

Так ему хотелось найти.

Но я видел, что никакого особого запора на крышке не существовало никогда. Крышка только плотно налегала на половицы. Для поднятия — пожалуйста, скоба. И ничего больше и дополнительно.

Я прекратил поиски и сказал Гришке:

— Гриша, ты старший из всех братьев. За тобой стоят следом Вова и Ёся. Тебе было б приятно, если б про них говорили, что они брехуны? И все вы, братья Гутины, брехуны.

— Почему все?

— Потому что если один брат сбрешет — скажут на всех. Такой закон. Тебе б было приятно, если б из-за Вовки или Ёськи на тебя показывали, что ты лично — брехун, ни за что ни про что?

Гришка молчал.

Сказал Вовка:

— Гришка не брешет. Он не знает. Я видел, как дед ходил тут с молотком и здоровенным гвоздем, хотел погреб забить, чтоб мы не лазили. А по-

том и говорит сам себе: «Жалко портить». И не забил. А гвоздь на подоконник положил с молотком. Я гвоздь взял. И молоток. Без спроса. Мы их потеряли на речке. Потом. Дед молоток искал и на нас сразу подумал. А про гвоздь не спрашивал. Ты теперь спрашиваешь. Мы и сами не знаем, куда гвоздь делся. Молоток большой, и то мы не знаем. Гвоздь тем более.

— Хорошо. Понятно. А внутрь, под пол вы лазили?

— Лазили. Много лазили. — Вовка взял инициативу. — Но потом дед сказал, что в погребе живет папа. Он мертвый, потому там и живет. И чтоб мы не лазили и не тревожили. Мы больше и не лазили.

Глаза у Гришки были на мокром месте. Он шикнул на Вовку.

— Ну так вы, значит, в погреб не лазили после того, как вам дед запретил?

Гришка ответил за двоих:

— Без Вовки мне там делать нечего, а он боялся. Аж до мокрых штанов доходило. Что я его, мучить буду за это? Ничего там интересного нету, в погребе. Ни жратвы, ничего. Одна дурня. А где гвоздь, мы не знаем. Зачем вам гвоздь, дядя Миша?

Первый раз за этот день он назвал меня как раньше — дядя Миша.

— Просто. Я гвозди собираю. Некоторые марки собирают. А я гвозди. Мирон Шаевич мне рассказал, что дед Довид интересным гвоздем погреб

забил. Вот я и подумал, найду — себе попрошу. Вы б отдали?

— Конечно, — серьезно ответил Гриша. Вовка повторил за ним. Как клятву.

И ничего хлопцы про кисет не сказали. Если б видели хоть раз в погребе — доложили б. Значит, не видели. Если б видели, ниточка потянулась бы под такое настроение, Гришка б вывалил и как хитро узел развязывал-завязывал и так далее. По списку.

Про какие грóши говорил Гришка в таком случае? Сейчас жать — можно и пережать. Сломать. Я отложил.

Явились в полном составе Мирон, Сима и Сунька. Сели за стол.

Дети — тут же.

Говорю:

— Вот мы все собрались на большой совет по поводу дальнейшей судьбы наших детей — Григория и Владимира. Они остались сиротами, это известно. И первый вопрос тебе, Самуил. Ты признаешь, что пугал их детским домом?

Сунька пробормотал, что не пугал, а только обрисовал ситуацию по их же просьбе.

Я обратился к Гришке, чтоб повторил слова Суньки про детский дом.

Гришка молчал.

— Чтоб этот вопрос закрыть, я делаю вывод: никакого детского дома или приемника не может быть. Григорий и Владимир едут ко мне на жи-

тельство, чтоб воссоединиться с своим младшим родным братом Иосифом. У них будет в Чернигове благоустроенное жилье и все условия для дальнейшей учебы и взросления. Моя жена Люба их ждет и уже любит, как своих родных детей. У кого есть вопросы? Григорий? — Гришка молчал и скрипел зубами. — Владимир? — Вовка тянул носом, но ни соплей, ни слез я не заметил. — Мирон Шаевич? — Файда хотел что-то сказать, но не сказал. — Сима? — Сима держала голову вниз глазами, пожала плечами, но ясно прошептала согласие. — Самуил?

Сунька встал, отодвинул табуретку, поправил ремешок на штанах и говорит:

— Я за то, чтоб всем стало хорошо. А это надо еще взвесить. Я уйду в Советскую армию. Мои родители остаются одни. Им хотелось бы взять к себе Гришу и Вову. К тому же комсомольская остерская организация полностью в курсе и разработала ряд мероприятий. Например...

Я подошел к Суньке, положил руку на его плечо, тепло сказал:

— Суня, ты комсомолец, а я коммунист. Твоя инициатива хорошая. И людей ты поднял на хорошее дело. Но ты не прав. Ты сейчас думаешь про благо своих родителей, которым хотелось бы иметь в опустевшем после тебя доме и детский смех, и игры, и так далее. Но Остер — это Остер. А Чернигов — Чернигов. К тому же у меня права по совести. Евсей Гутин — мой друг.

И как я ему в глаза посмотрю, хоть где бы он ни был, если я его детей оставляю без своего влияния?

Сунька покраснел до неузнаваемости.

— Ну, Самуил, отвечай. — Я понимал, здесь должна поставиться точка.

Сунька отчетливо сказал:

— Если в глаза, я согласен. А так нет.

И вышел на двор.

Гришка с Вовкой смотрели на меня. Мирон и Сима тоже.

Я сказал:

— У нас тут не суд. У нас — собрание. Потому голосуем. Суня против. Кто еще против?

Против не было. Воздержавшихся тоже. Гриша и Вовка тоже проголосовали за.

Я объявил собрание исчерпанным и отправил хлопцев на двор с условием, чтоб гуляли близко. Скоро едем.

Мирон принес с собой кiset. Завязан он был кое-как. Отдал мне без слов.

Я без слов принял.

Сима сидела тихо, немножко качалась. А в остальном хорошо.

Я спросил, не объявлялся ли Зусель. Может, кто в Остре видел или слышал. Мирон заверил, что Табачника не замечали. Остер гудит по поводу его пропажи, но в то же время и удивления мало. Высказывают мнение, что Зусель мог пойти в Чернигов, как раньше.

Я спросил у Мирона, зачем он придумал, что забил погреб.

Мирон не ответил твердо.

Я попросил Симу помочь собраться. Из хозяйственных вещей брать ничего не говорил, а только носильное детское. Такового набралось один узел.

За домом обещали следить и не допустить полного развала. Если объявится Зусель — направить телеграмму.

До шляха я попросил проводить нас с хлопцами Суньку.

Он с радостью согласился, тем более что Гришка и Вовка горячо поддержали просьбу.

Гришка с Вовкой шли впереди. Настроение у них наблюдалось боевитое. Я дал им почувствовать себя взрослыми и решающими. И они почувствовали.

Сунька делал вид, что происходит обычное — дети уезжают домой, болтал про будущую службу, что стремится уехать из Остра, а после армии работать скорей всего в Киеве на большом строительстве.

Я спросил:

— Сунька, а что за история у Гришки с деньгами? Он не подворовывает? С детьми бывает. Они не со зла, цену грóшам не знают, относятся как к бумажкам для обмена на конфеты, например. Довид мне заикался, но не рассказал.

Сунька остановился, сбросил с плеча узел.

Я держал линию:

— Ну? Ругаться не буду. Дело прошлое. В любом случае. Но мне на будущее надо знать. Для воспитания. Ты понимаешь.

Сунька рассказал, что однажды к нему прибежал Гришка как к старшему товарищу посоветоваться. Вел себя серьезно, по-взрослому: они с Вовкой решили уйти от Довида и Малки с Зуселем, чтоб жить по-своему. Те их заставляли зубрить всякие талмуды и к тому же запрещали брать от товарищей на улице еду, потому что она могла быть на сале и некошерная.

Настроения протеста зрели у Гришки давно под воздействием рассказов Суньки про пионеров и комсомол. И вот Гришка с Вовкой решили убежать. Собирались в Чернигов к Михаилу Ивановичу, где Ёська.

Так как этот разговор был до знакомства Суньки со мной, он отнесся с подозрением на вранье. Но чтоб не настраивать Гришку сразу против, сделал замечание, что без денег нечего срываться, без денег они будут беспризорники и их заграбастают в детдом, не доезжая Чернигова. Или вернут Довиду.

Гришка ушел расстроенный. Через некоторое время он заявил, что грóши у них с Вовкой есть. И показал бумажные денежные знаки в количестве восьмидесяти рублей.

Сунька строго спросил, не украл ли Гришка такую сумму.

Гришка сказал, что не украл, а взял у Зуселя. И что отдаст. Когда они с Вовкой устроятся у Михаила Ивановича в Чернигове. Так как деньги они не имели намерения тратить на глупости по дороге, а будут показывать, если их задержат.

Сунька приказал немедленно грóши Зуселю возвратить в любой форме. Хоть подсунуть обратно, если взял без спроса. Сам он не сомневался, что Гришка грóши стащил.

Чтоб успокоить хлопца, Сунька сказал, что проведет беседу с Довидом насчет воспитания. И заверил, что добьется отмены ненужных занятий.

Назавтра прибежал Гришка и сказал, что Зусель куда-то ушел, грóши ему Гришка подсунуть не успел. Но когда Зусель вернется — обязательно незаметно отдаст.

Но тогда Зусель как раз в первый раз пропал и вернулся из Чернигова немой и окончательно дурноватый. Малка голосила по Остру, что пропали большие грóши.

Гришка в такой обстановке растерялся. По совету Суньки он передал их на временное хранение Суньке же.

Я спросил:

— Где они теперь?

Сунька сказал, что они у него в кармане.

Достал свернутые трубочкой бумажки. Протянул мне.

— Собирался отдать вам без объяснения. В последнюю минуту, как говорится.

Я засмеялся.

— Ой, Сунька... Кто знает, какая минута — последняя.

Деньги, конечно, взял — на дальнейшее.

Попросил, уже когда закидывал ногу — лезть в кузов попутки, нарочно, чтоб находиться спиной к Суньке:

— Если Лаевская к вам наведается, привет передай. Люблю я ее.

Почувствовал шкурой через китель и нижнюю рубаху, как меня обдало холодом от Суньки. Спрыгнул обратно на землю.

Сунька стоял бледный, как замороженный, рукой за колесо схватился. Вроде хотел остановить машину, если б она двинулась, а я не слез к нему.

— Что, Сунька? Говори сейчас. Поздно будет потом.

Сунька выпалил, и не из горла, а из самого живота:

— Полина с отцом обсуждала, что у нее все готово, чтоб с вас пшик сделать. Отец шепотом кричал, чтоб его не вмешивали, так как он не разделяет. А она настаивала. Сказала такими словами: «Мирон, тебя никто не спрашивает, что ты разделяешь. А Цупкого ты со мной разделишь. Уже разделил». Я не понял все до точки. Но мне важно знать, Михаил Иванович. Лаевская — шпионка?

Я серьезно ответил, что надо выяснить.

— Когда приезжала в последний раз?

— Когда я с вами познакомился. Она на минутку забегала. Вы в садочке сидели или где. Она вашу постель обмацала. Мама ей замечание сделала, а Полина отмахнулась. Она нахальная. Китель ваш щупала — сказала, ей такой крой надо выучить. Отец сказал, чтоб шла к вам в сад, если что надо. Она отказалась и убралась, как кошка. Прямо выскользнула. Думаю, шпионка. Вы как хотите. У нее все повадочки.

— Откуда знаешь, какие шпионы?

— Кто ж не знает?

Я пообещал на нужном этапе подключить Суньку. А пока чтоб молчал.

В кузове грузовика я думал не про Лаевскую и не про деньги.

Итог какой?

Итог такой.

Зусель имел в виду взять с собой грóши в Чернигов, когда шел ко мне защищать Довида. Малка ему дала или сам откуда-то выгреб. Или Довид дал. И именно эти грóши украл у него малой Гришка. Зусель ушел, думая, что грóши при нем. И Малка так думала, и Довид. А их у него и не было. Это если Гришка все взял. А если не все?

— Гриша, ты все грóши у Зуселя взял или осталось? — я спросил спокойно, между прочим, когда нас подкинуло на очередной ямке.

Гришка ответил на выдохе, весело:

— Все. — И спохватился. Но с вызовом продолжал держать улыбочку.

— Для чего, почему — не спрашиваю и не спрошу. Но как? Как ты их забрал, что никто не узнал?

— Просто. Малка думала, что я пошел на улицу. А я не пошел. Она грóши завернула в газету, потом в тряпочку, потом в карман пиджака Зуселя засунула. Засунула и сколько-то раз вынимала — обратно засовывала. Вроде пробовала, как там держится. А Зусель с утра собирался в Чернигов. Малка всегда говорила всем, что Зуселя нельзя трогать, он сильно мало соображает. Она за него все старалась делать. И ложку ему до рта несла. Он аж злился. Ну, она грóши ему в пиджак засунула, пиджак на гвоздь привесила в сенях и пошла Зуселя звать, чтоб шел сидать и в дорогу. Я, пока ее не было, пакунок вытянул с кармана Зуселя. Грóши взял, туда газету сложенную положил. По старым сгибам свернул, потом тряпочкой сверху. Как было. Я умею, как было. У меня получается. Зусель пришел, поснидал, пиджак напялил и попхался. Карман похлопал. У меня сердце захололо. А он похлопал, и всё.

Малка ему гирчит и гирчит, на карман показывает. Зусель головой дрыгает, держится за карман. Так и ушел. Как он вернулся, я хотел отдать назад. А куда назад? Малка кричит. Дед кричит. Зусель молчит. Я подумал — вдруг они подумают, что он грóши потерял? Или протратил? Пускай, думаю. А они у Суньки на сохранении. Восемьдесят рублей. Ого! Целых же ж восемьдесят!

— А торбочку эту видел? — Я достал из своего вещмешка кисет.

— Видел, — неохотно согласился Гришка. — Меня дед просил сначала развязать, а потом завязать, как было. Я и сделал. Вы папку учили. И я тоже научился. Лучше папки.

— И что тут внутри, знаешь?

— Конечно, знаю. Тут приданое Евки. Когда замуж соберется, ей отдадут, чтоб жених ее взял. А она сама растрачить боится и деду отдала, чтоб смотрел. Она сама приезжала и просила: «Давай откроем, возьмем трохи оттуда». А дед ее прогнал.

— И когда это Ева просила?

— Когда немного Зусея привезла. Я слышал.

— А ты сам внутрь не заглянул, когда завязывал?

— Хотел, дед запретил. Сказал, кто в чужое приданое заглянет, сам никогда детей не родит. Оно мне надо? Бабское к тому же. Если б финка или пистолет.

— Финка? Как у меня в сидоре? Да? Гриша?

Гришка совсем опустил голову.

— Зачем ты ко мне в сидор лазил, хлопчик? Кто тебя подучил?

— Никто. Я сам. Я думал, что у вас там пистолет. Или еще что. А там финка. Я хотел еще и фонарик. Но я только финку взял. Завязал по-старому. Финку спрятал. Дед нашел, отлупил. Финку забрал себе. Вы меня не возьмете теперь?

— Возьму. Всего тебя возьму. С потрохами твоими несчастными. Что ты мне рассказал — мо-

лодец. Имей в виду — если честно признаться, потом можно и забыть. Не совсем, а трохи внутри у себя притаить. Но глубоко — помнить. И не повторять. Я тебе обещаю, что не попрекну. А ты мне обещаешь, что запомнишь и не повторишь. Ты не вор. Ты сбился с пути. А теперь опять стал. Понял?

Гришка кивнул и подлез ко мне под бок. Он закрыл глаза и заснул. Вовка давно сопел с другой стороны.

И я тоже закрыл глаза для подведения очередной черты.

Хотел ее переступить. Но она уже оказывалась не черта, а борт повыше полуторки. И я ногу задрать не осилил. Заснул.

Но успел похвалить себя: правильно ощутил, что говорили Довид и Гришка про разное. У Довида — свое, у Гришки — свое.

У всех — свое.

Родной дом нас встретил вкусной едой. Борщ, пампушки, другие блюда украинской кухни. Узвар, например. Сухофрукты от Диденко, наверно. Больше неоткуда. Прошлогодний урожай. Этого года не успел.

Люба по большинству молчала, только принимала хлопчиков и уговаривала кушать. Ганнуся помогала ей и тоже ласково обращалась с Гришкой и Вовкой. Ёська трохи покапризничал — забыл братьев, потом начал с ними заигрывать.

Когда все утомонились, я спросил, для слова, что Любочка делала целый день.

Она сказала:

— Сидела.

На вопрос, кто приготовил пампушки и остальное, ответила:

— Лаевская.

Я спросил, под каким предлогом она явилась.

Люба ответила, что позвонила Лаевской от соседки.

Мое удивление Люба пресекала:

— Лаевская Ёську выходила, других подруг у меня нету. Мне поговорить надо было с кем-то, по-женски. Я б с ума сошла, если б не поговорила.

— Подождать меня и со мной побеседовать не могла? Я тебя и по-женски, и по-всякому знаю наизусть с закрытыми глазами.

Люба твердо сказала, что со мной больше говорить не намерена. Жить — да. Будет. И как жена, и как вообще. Но говорить и обсуждать — нет.

Мы перешептывались с ней через головы детей. Я побоялся, что они проснутся, и пригласил Любу выйти на кухню.

Она встала и пошла. Я — за ней.

И тогда она мне выложила.

Диденко ей рассказал про письмо якобы Зуселя. Что там писалось. И высказал предположение, что я что-то сделал против закона, потому органы — выше милиции — под маскировкой Зуселя собирают на меня материал. И чтоб Любочка береглась. И берегла детей.

Дознаватель

Письмо Микола Иванович оставил без ответа. Но когда я к нему пришел, связал мое появление с этой цидулкой. Потому и не удивился.

То, что не со слов Табачника письмо накалякано, Диденко не сомневался. И получалось, что теперь я припугаю и его к своему делу.

Что я вывел разговор на Зуселя, Диденко принял спокойно — подтвердилось его опасение, что имеет место провокация. Или с моей стороны, или черт знает с чьей.

Он вздохнул свободно, когда я уехал. Но после получения моей письменной просьбы приютить на лето Любочку с детьми окончательно растерялся. При этом для себя решил: пора ему сводить счеты с жизнью по-хорошему. То есть пора умирать от старости. Чем он избегнет участия во всей этой истории. Он сделал себе гроб и передал свои вещи в мою семью, чтоб они еще принесли пользу. Как сельскому человеку, ему невыносимо было думать, что добро пропадет в неизвестных чужих руках.

Люба закончила рассказ так:

— Петро за ним доследит до последнего вздоха. Мы с ним обсуждали. А ты мне, Миша, скажи от всей души, что ты сделал? Почему кругом тебя люди умирают и своей смертью, и особенно не своей? От какой причины? Ты меня попрекаешь, что я с Лаевской советоваться захотела, а не с тобой. Ну, теперь с тобой. Что ты мне скажешь?

Я попросил, чтоб Любочка сначала сказала, что ей посоветовала Полина.

— Полина ничего не посоветовала. Она тесто месила и в магазин за продуктами бегала. Ты выгрузил нас — и опять бегом-скоком. Ничего Полина не сказала. Боялась, что ты ее тут застанешь. Спешила уйти.

— А я тебе, Люба, отвечаю: я ни в чем не виноватый. Ты старику чужому веришь, Лаевской веришь, всем веришь. Только не мне. А что Лаевская тебя даже в больнице мучила белибердой всякой — ты забыла? Забыла, что она тебя Лилькой Воробейчик в глаза тыкала? — Я сказал лишнее.

Но Люба с готовностью ответила:

— А, Лилька... Вот про Лильку как раз Полина только и заикнулась. Что ей стыдно сейчас, что не надо было мне в больнице про твою Лилечку говорить. Так и повторила два раза, два: «Мишину Лилечку». Я захотела уточнить, но Полина зажала себе рот. И так зажала, что аж зубы у нее внутрь ушли. Но я поняла. Ты меня приготовился Петром слепым укорять. Я думала, подожду, когда начнешь. Потом и скажу. А теперь ждать не буду. Я хотела, чтоб с Петром у меня случилось. И он хотел. Не получилось. Второго раза не представилось. Это у тебя все всегда получается. Ты меня берег, и когда спали с тобой, берег. А я хотела, чтоб ты меня насквозь, как бабы рассказывали, чтоб я криком кричала. Ты меня до костей объел, а осторожненько. До самых костей. Доберегся. Пускай теперь детям — что осталось от меня.

Я спросил, если она приемных детей не хочет, почему не сказала заранее. Если наперед видела мои действия. Про личную часть оставил без внимания. Чтоб не заострять.

Люба пожала плечами:

— Почему я детей не хочу? Это ты хочешь или не хочешь. У меня таких слов нету. Ты захотел Евсеевых детей — всех, и привел. И я их буду любить и растить. Только не потому, что ты так решил, а потому что мне все равно, кого любить, кому себя на корм изводить. Только б не тебе. Не тебя собой кормить.

Люба стояла возле подоконника, про который раньше советовала, что к нему надо приделать доску — кушать вместо стола. Я прикидывал, какой ширины понадобится доска. Не меньше сороковки.

В основном не слушал.

Спросил, или давала она раньше ключ от нашей квартиры Лаевской.

Люба сказала, что давала. Перед своим отъездом в Рябину. Чтоб Полина по хозяйству, если понадобится, меня не тревожила, а сама приходила по договоренности со мной.

— А с чего ты взяла, что я могу с ней договорить про хозяйство или еще про что? Ты знаешь, я ее терпеть не могу.

Люба с готовностью ответила, что у нее есть причины давать ключи доверенной женщине. Без моего ведома. Она тут прописана наравне со мной.

— Так ты зачем ключи давала Полине? Чтоб она меня проверяла или чтоб борщ мне варганила?

Люба не ответила.

Я погладил ее по голому плечу и вернулся в комнату. Притулился с краю возле Гришки и Вовки.

Утром, до шести, тихонько снял мерку с подоконника. И ушел. Кисет прихватил с собой — от Гришки подальше.

У меня оставалось еще немного до выхода на службу.

К Лаевской я не спешил.

Люба нанесла мне удар в спину. И хоть говорила она не своим голосом и не своими словами и выражениями, а известно чьими — Полины, я испытывал сильную горечь.

Перебирал в голове время, которое мы прожили вместе. Кроме ее внутренней красоты и скромности, ничего не всплывало. Она добросовестно ухаживала за мной в госпитале, где проявляла самоотверженность. Пускай она привыкла в войну это делать и подняла на ноги сотни и сотни изувеченных в боях. Но меня она полюбила. Она сама сказала. Я ее не просил. Вопрос стоял, или достанет до сердца осколок. Операция ничего не обещала на все проценты. Перед тем как меня отвезли в хирургию, Любочка призналась в любви.

Дознаватель

Относительно того, что по-женски она недовольна, так могла мне сказать по-товарищески, как ближайшему человеку, а не делать трагедию теперь, после стольких лет совместной жизни.

Я только шел у нее на поводу и делал, как она разрешала.

К тому же я был уверен: Лаевская к ней и туда залезла. Понаплела чего-то. Известно чего. Как бывает и как не бывает. Сама б Любочка не додумалась. Ей и не надо ничего такого. Если б надо — я б почувствовал. Угадал. Между нами существовало доверие. А Лаевская его разбила. На какой-нибудь своей примерочке и разбила. Наливочки хлебнула и похабщину какую-нибудь Любочке внушила, вроде бывалой подруги. А Люба ей поверила. Получается, к ней доверие было. Раскрыта она была тогда для доверия. И доверие к Лаевской стало больше доверия ко мне. Значит, точил ее червячок. Червячок на сторону Лаевской лег — и перевесил все наши совместные годы. А мне вида не подавала. Вот в чем основное оскорбление.

И сколько я ради нее наделал! Ну ладно, не лично ради нее. Ради нашей любви.

Я долго не хотел порочить имя Лилии Воробейчик. Вытаскивать наружу, что никого не должно касаться. Настало время.

Да. У меня с Лилькой при ее жизни было. И долго было. Я считал, что никому это неизвестно. И она меня заверяла, что никто не в курсе. Ес-

ли б я хоть на минуту предположил, что наши отношения вышли в какой-то части с-под контроля секретности, я б с Лилькой порвал. Но я не знал. Я не знал и не думал, что она с Лаевской беседует на темы меня.

Я без осуждения. Женщина. Ей надо было от впечатлений избавляться хоть как. Она их в себе держать не могла. И надо отдать должное Полине. Не разнесла дальше.

Только теперь выдает по капельке. Как занозу из себя выдавливает вместе с кровью. И свою кровь с моей перемешивает.

С Лилией Воробейчик я познакомился в январе 1947 года.

В свой выходной день гулял по городу. Настрой у меня был боевитый, так как вся жизнь опять оказалась у меня впереди — несколько недель назад последний осколок вытащили из моей груди успешно. Как я упоминал, особенно за мной ухаживала в госпитале санитарка Любочка, которую я полюбил тогда же и условился с ней пожениться в ближайшее время.

Наше свидание было назначено на вечер в городском парке возле памятника Сталину Иосифу Виссарионовичу.

Я шел с самыми чистыми и хорошими надеждами на будущее. Смотрел в небо и представлял, как на нем зажгутся вечерние мелкие звезды и под этими звездами мы с Любочкой погуляем по снежным дорожкам.

Дознаватель

Завернул на базар с целью покупки подарка. Лучше всего — конфеты. Их можно кушать на ходу. К тому же сладкое располагает к доброте и покою.

Хотелось приобрести не самодельные леденцы, а именно конфеты в фантиках. Я б разворачивал их и давал прямо с руки Любочке. Кормил ее, вроде она птичка.

Но в обертках не нашел.

Тогда купил красивые коржики в виде кружков. Попробовал один и остался сильно доволен. Сунул кулек в карман фуфайки и развернулся, чтоб идти своей намеченной дорогой.

Тут меня легонько взяла за рукав женская рука без рукавички.

— У вас печенье упало! Вы мимо кармана промахнулись!

На снегу рассыпались мои коржики, и причем раскрошились, не выдержали удара. То есть оказалась халтура. Собирать по крошкам я не стал.

Посмотрел на продавщицу с осуждением.

Она заголосила, что я наступил и сам виноват. Но я знал, что не наступал. Просто уронил.

Женщина, которая дернула меня за рукав, сказала продавщице:

— Я сейчас все соберу и в рот твой поганый засуну. Со снегом. Гроши отдай товарищу. Ну!

И таким голосом сказала, что баба немедленно гроши мне в руку ссыпала, потом быстро сгребла крошки со снегом и кинула че-

рез плечо. Налетели воробьи и склевали. Без следа.

Я не привык, чтоб за меня заступались женским голосом.

Говорю:

— Ладно. Пускай скажет спасибо, не хочу связываться. Еще раз наткнуь на такое — в милицию отведу.

Торговка смотрела на меня невидящим взглядом, как у них принято, когда их шахеры-махеры выпирают наружу.

Я достал удостоверение и показал.

Она враз переменяла отношение.

— Ой, извините, товарищ милиционер. От мороза товар портится.

Моя защитница засмеялась. И так засмеялась, что красный язык чуть-чуть высунулся между белых зубов. И руками всплеснула, и согнулась от смеха. И закашлялась от морозного воздуха.

Я ее машинально по спине трохи постукал.

Пальто у нее оказалось толстое, мягкое. Ворсистое на ощупь.

Она и говорит:

— Так вы милиционер? А я за вас раскричалась! Ну ладно. В следующий раз вы за меня шикните на кого-нибудь. Шикните?

Я, конечно, обещал.

Она пошла. А я подумал, что и не узнаю ее, если увижу опять. Только рыжие волосы с-под платка. Но это примета, а не портрет.

И не хотел, а купил леденцы.

Дознаватель

Перед самой встречей с Любочкой забежал в общежитие — переоделся в форму. Одел шинель. Старую заячью шапку сменил на кубанку. Красоты, конечно, больше, но тепла меньше.

Любочка на свидание прибежала на секунду — сообщить, что в госпитале много работы и ее на вечер не отпускают.

Договорились на следующий день.

Так как в качестве гостинца у меня находились леденцы, я дал кулечек Любочке. Она и не посмотрела, зажала его в руках.

Почувствовала на ощупь:

— Леденцы?

— Леденцы.

Любочка быстро выдернула один и захрустела.

Я спросил с беспокойством:

— Сладкий хоть?

— Сладкий!

Люба убежала с леденцом за щекой. Я смотрел ей в спину и представлял, как леденец крутится у нее под языком, как леденец натывается на зубы и сахарные крошки тают во рту.

Надо было дождаться следующего дня.

Надо было немедленно идти к себе. Но я не пошел.

Я ходил вокруг памятника товарищу Сталину, в свете фонарей, кружил и кружил. Аж в голове помрачилось. Некоторые гуляющие, глядя на мою

милицейскую форму, считали, что я исполняю свой долг на посту, и обращались с различными вопросами. Где каток? До скольких работает? Дают ли напрокат коньки? Закрывают ли парк на ночь?

Я отвечал радостно, чем приносил пользу людям.

И вот ко мне подошла та самая женщина. С базара. Рыжая. Я рассмотрел ее лицо под фонарем.

Она с осуждением сказала:

— Товарищ милиционер! Я за вами давно наблюдаю. Что вы топчетесь? Вы б вглубь зашли, где освещения нету. А то вы тут гуляете, а людям страшно в темноте.

Я собрался что-то ответить в духе шутки.

Но тут она меня узнала.

— Это вы?

— Я. Ни на каком посту я тут не нахожусь. Гуляю. А если вам опасно идти в темноту, я вас в знак благодарности могу проводить.

Она опять засмеялась.

— Я не за себя боюсь. Меня провожать не надо. А если вы гуляете, так по кругу ходить не надо. Со стороны смешно.

— А вы гуляете или мимо проходите?

— Мимо. Иду от подруги. Домой. Я на Клары Цеткин живу. Вот там темнота — так темнота! Ни однисинького фонарика. Вот там страшно — так страшно!

— Проводить?

— Ну, проводите. Разомнетесь. В сапогах замерзли?

Признался, что озяб. И шинель насквозь промерзла.

Клары Цеткин — рядом. Метров триста.

Без слов мы прошли путь.

Без слов зашли в дом.

Без слов дальше все произошло.

До сих пор не понимаю, как у Лили Воробейчик хватило бессовестности сразу со мной и целоваться, и так далее. Я что? Я мужчина. А она все-таки женщина. Должна быть скромной, гордой.

Лиля была не гордая. Она сразу себя так поставила, что у нас особые отношения. Про любовь не говорила. Я подобных не видел. Хоть с девушками имел дело.

Мне, конечно, доводилось слышать, что есть сильно страстные женщины. Но сам я их не встречал в своем опыте.

И вот Лиля.

Она меня всего брала. А я сдуру отдавал и отдавал, до последней капли, как будто на будущее мне ничего не понадобится.

Мы виделись сначала сильно часто. И каждый раз я говорил себе и ей: «Больше не приду».

Особенно огорчало меня, что дом Лили находился в трех минутах ходьбы от госпиталя. Опасность встретить Любочку висела над моей головой поминутно.

Будем откровенны, всегда можно придумать, почему я оказался рядом. Ну раз, ну два. А если и три,

и четыре? И мое выражение лица, и общее состояние? Я не притворщик. У меня и совесть, и прочее.

Если б Лиля взяла моду меня провожать, как часто придумывают себе женщины: до поворота, до следующего фонаря и так далее, — я б не смог отказать.

Но Лиля и не порывалась.

Я вставал и уходил.

Она лежала, вроде меня и не было. Ни прихода, ни ухода.

Но ни разу за все время Любочку я в глаза не встретил.

Мы расписались с ней, как и планировалось первоначально. До Лили. Я не мог изменить обещание. Люба находилась в Чернигове совсем одна. Никого из родных у нее в результате войны не осталось. Снимала угол в хибаре возле базара. Хозяин — пьяница, хозяйка ему во всем подпевала и даже эксплуатировала Любочку на все сто. Люба и стирала на них, и готовила.

От меня она получила все, не говоря про теперешнюю квартиру. Таким образом я Любочку буквально спас. Она б со своим здоровьем долго не протянула в батрачках.

Обращался с Любочкой бережно. Она представляла для меня весь свет в окошке.

Однажды высказала:

— Мы с тобой — сироты. Потому никогда друг друга не бросим. У нас настоящая любовь до смерти.

Дознаватель

Я сразу хотел возразить, что сирота — она, а я не сирота. Но смолчал, потому что понял: она намного меня моложе и еще помнит своих родителей как живых. А я уже помню и осознаю их только как мертвых. Потому что мой возраст переварил их не слишком давнюю смерть. Не я лично, а возраст.

Объяснять Любе разницу не стал. Чтоб не тревожить ее мыслями.

С Лилькой — другое.

Она была старше меня. Я не интересовался — насколько.

Однажды она спросила:

— Сколько лет ты мне дашь на вид?

Я засомневался.

Честно сказал:

— Не знаю. Не умею определять у женщин.

Лиля погладила себя по шее — спереди, и засмеялась:

— У меня шея красивая. И руки. Молодые. Сама удивляюсь. На месте я застряла по возрасту, что ли? Вдруг меня уже нету, а я думаю, что есть?

И обхватила своими руками шею, как бы собралась задушиться.

Я испугался такой шутке.

Но сумел поддержать настроение:

— От того, что душат, остается некрасивый след. Странгуляционная полоса. Если веревкой или проволокой. Или если голыми руками — синяки кровавые. Все пальцы отпечатываются. Я насмотрелся.

Лилька еще больше засмеялась:

— Не пугай меня! В таком деле красота — на последнем месте. Я тоже насмотрелась. Ну, сколько дашь?

— Нисколько я тебе не дам. Ни на вид, никак. Ты такая, как есть. Ты всегда такая была и всегда такая будешь.

Лилька согласилась.

Но меня не пожалела:

— А ты скоро старый станешь.

— Почему?

— Потому что у тебя внутри громко, а снаружи тихо. Ты со мной кричишь в кровати. А не замечаешь. Меня приглушаешь. Я без крика не могу. Из меня крик выходит вместе с удовольствием. Заодно. Ты не понимаешь. У тебя даже внутри тайна и секрет. Я от секретов устала. Может, только когда ты во мне, у меня какая-то задвижка отодвигается — и я все из себя наружу выпускаю. Все-все.

Я даже обиделся. Лилька сильно кричала, правда. Но я? Не замечал. А она упрекнула. Не должен мужик кричать. Никак не должен.

Ничего я не знал про Лилькину жизнь. Ни кто родители, ни где раньше жила. Не знал про сестру-двойняшку.

Даже паспорт ее не смотрел. Специально. Знал, где лежит. А не заглядывал.

Если б проверил паспорт — получилось бы, что сознаю свои действия. Этого я допустить не мог. Не оправдался б перед собой и перед Любочкой.

Дознаватель

Случайно выяснилось, что Лилька работает на обувной фабрике.

Я пришел, а она палец бинтует.

— На конвейере поранилась. Слегка палец засунула под цепку, чтоб не проспать, когда пойдет. Поломка была, чинили, то-се. Думаю, подремлю. И заснула. А он пошел на всю катушку. Еле выдернула!

Спросил, где работает.

Она сказала — на обувной.

А то б и не знал.

У меня — форма. Ясно без слов. Лилька никогда про мою службу не проясняла.

С тех пор представлял ее в косынке за работой, как она заготовку берет, намазывает подметки клеем, как мастер ее ругает или хвалит. Как ей хочется спать после меня, и она закрывает глаза на секундочку, чтоб лучше вспомнить, и тыкает мимо банки с клеем. Или так — палец под конвейерную ленту сует и просыпается от боли.

Я не сравнивал свою Любочку и Лильку. Любовь есть любовь. И семья есть семья. И обязанности есть обязанности.

Но когда Лилька кричала, я боялся, что аж в госпитале слышат. И Любочка слышит. Она, конечно, не поймет — что, почему. Но кто-то может и объяснить.

Вот до чего я доходил в своем абсурде.

Были периоды, когда я силой заставлял себя отделиться от Лильки. Получалось плохо.

Маргарита Хемлин

Последнее время, перед своей безвременной смертью, Лилька сдала позиции. Иногда прогуливала рабочий день. Лежала и лежала на диване. Одета, иногда в ботах.

Говорила:

— Собралась на фабрику, а не пошла.

На вопрос «почему?» не отвечала.

Однажды спросил напрямик — или она не беременная.

Она взвилась и обидела меня до самых глубин следующими словами:

— Если б ты то место знал, куда мне будущих детей засунуть. А ты не знаешь. И никто не знает. И я сама не знаю.

Дурасá.

После подобного оскорбления я выдержал неделю. А потом уже увидел ее мертвую на дворе 18 мая 1952 года.

Кто ей делал медицинское освобождение в случае прогулов — я не знал. Теперь догадываюсь: Лаевская через своих подружек.

Остальное — измышления Лаевской, ее поганые намеки и бабские завистливые выпады.

Надо решать насущные задачи.

Первой на повестке дня стояла Евка.

Я не пошел напролом. Скрытно, задами, приблизился к дому. Обошел со всех сторон. Окна — настезь. Послушал воздух. Тихо. Мысли про то, что у Евки ночует Хробак и еще задержался до

Дознаватель

сих пор, — не было. Он — ответработник, хоть и вдовый, и ночует дома, в семье, рядом с своими отцом, матерью и ребенком. После свадьбы — да. А так — нет. Так — урывками. Люди ж все видят.

В позднее время — половина седьмого утра — Евка, как не работающая, спала. В связи с жарой — на диване в большой комнате.

Я осторожно слез с подоконника внутрь, но сапоги звякнули подковками.

Евка повернулась на другой бок и натянула простыню на голову. Через секунду схватилась, открыла глаза и без звука уставилась на мою фигуру против света. Лица не разглядела.

Я кинулся к ней со словами:

— Тихо, Евка! Это я, Цупкой. Привез тебе привет из Остра. Тебя что ж, Хробак без приданого берет? Голую-босую?

Говорил я понятно. Руками не махал.

Евка быстро опомнилась.

— При чем тут «голая»?

— Поговорка есть. Не вставай, не затрудняйся. Узнаешь? — Помахал перед ее глазами кисетом. Там шарудело и чуть-чуть мягко звякало.

Евка от неожиданности приподнялась.

Поднес кисет вплотную к ее глазам.

— Ты у Довида клянчила, чтоб он тебе отдал. Довид, между прочим, умер своей смертью. Теперь твоя просьба принимается. Бери.

Евка облизнула губы. Они и так у нее были полные и красные, а мокрые стали совсем стыдные.

— Я отвернусь, ты накинь что-нибудь. Говорить неудобно.

Повернулся, кисет положил на стол, в центр, где сходилась вязанный узор. Положил и держал рукой. Сам стоял прямо, чтоб она заметила мою выправку. Когда человек в форме перед тобой, хоть и спиной, — совсем другое дело. Все равно что лицом. Глаза в глаза.

Евка возилась, пыхла, наконец хрипнула:

— Довид умер?

Я повернулся.

Потом взял стул, присел аккуратно на край, говорю:

— Иди сюда. У нас беседа, не допрос. К столу давай.

Евка села. Нога у нее заплелась за ножку стула. Я помог. Она еле держалась в равновесии.

— Что ты волнуешься? Довид от сердца умер, в больнице. Тебе какая разница? Ты его знаешь без году неделю. Или плакать будешь? Бери кисет. На совесть полагаюсь. Лишнего не возьмешь. Или все — твое? Если все — бери все.

Евка взяла, покрутила, взвесила. Потом, вроде вспомнила гадкое, отбросила в мою сторону.

— Не надо мне ничего отсюда. Тут моего нету. Довид придумал.

— Довид, может, и придумал бы. Только он мне про кисет этот клятый не говорил. Сказал человек, которому я верю. Который придумать не мог. Ты когда Зуселя доставила в Остер беспмятного, требовала у Довида свою долю. Он не

дал. Факт. Этот факт про тебя не свидетельствует плохо. Он вообще не свидетельствует ни про что, кроме того, что ты хотела что-то получить отсюда, а Довид оказался против. Преступления тут нету. Не подкопаешься. Довид мертвый. Земля ему пухом на том свете. Ему кисет ни к чему. А ты — живая. Я и говорю: если твое — бери. Что непонятно?

Евка опять придвинула к себе кисет. Развязать даже не попробовала.

— Должно быть пять золотых царских червонцев. Это мое. Остальное — нет.

— То есть тебе известно, что тут еще есть, кроме монет? То есть что тут и твое, и не твое? И что тут не твое?

Евка передернула плечами.

— Развязывайте и смотрите. Я не намерена.

— Сама развяжи.

— Не буду. Вы принесли, вы и развязывайте.

— Ну, раз ты за своим брезгуешь лезть, я тем более не полезу. Для меня там все — не мое. Сдам куда следует, оформим в доход государству. По закону.

Евка схватила кисет и стала развязывать.

Не получалось. Она тянула не за тот конец. И не туда.

Я ждал.

Когда Евка устала, выдернул кисет у нее из рук. Развязал. Содержимое вывалил в непосредственной близости перед ней. Кое-что в узорных дырочках застряло углами — коронки, а червон-

цы легли аккуратно, один к одному, сверху, а уже на них — кольца и брошка. Деньги отдельно, деликатной трубочкой.

— Ну, Ева, смотри. Считаю. И я с тобой буду считать, чтоб ты не ошиблась.

Евка смотрела на скатерть — в дырки. Каждую измеряла взглядом. Глазами забирала червонцы. Сделала жест вперед, но остановилась.

— Что, Ева, гидко?

Ева кивнула.

— Рассказывай, Ева. Скоро у тебя свадьба. Жить надо. Хата твоя трескается. И заборчик, чтоб через щели не заглядывали, и рамы — все надо менять. И белье постельное, чтоб мужу приятно, и диван, и кровать. И посуду. И кастрюли-сковородки. И клееночку на стол надо новую. Модную. И одеться, и прочее. Рассказывай, Ева. Не звать же Хробака, чтоб он твое приданое выковыривал. А все честность твоя. Сказала б, что все — твое. Как-нибудь на пару с мужем потом разобрались бы. Когда гидота отхлынула б от тебя.

Евка рассказала следующее.

Когда девочкам исполнилось по шестнадцать, отец им показал тайник в столе. Пять золотых червонцев. Объявил это их приданым, чтоб они помнили, что не голодранки, когда будут примериваться к женихам.

Лилька ехидно заметила, что пять на двоих не делится. Разве распилить один.

Отец пресек ее рассуждения. Сказал: «Вы с Евочкой одно целое. Чтоб я больше подобного не слышал».

Само собой разумелось, секрет надлежало хранить и языком по Остру не разбалтывать. Но или Лилька, или сам Соломон Воробейчик кому-то намекнул насчет золота в столе — за себя Евка ручалась, — или просто люди обсуждали без должного знания, но по Остру заблуждали слухи про царские червонцы Воробейчиков.

При советской власти поговорили и перестали, а перед самой эвакуацией опять вспомнили. Даже бесчеловечно шутили, что с этими грóшами Воробейчик при немцах откроет коммерцию на широкую ногу и завалит пуговицами все кругом. Вероятно, предполагалось, что грóшей там на целый банк. В народном сознании грóши имеют такую силу — расти по мере их скрывания.

Соломон отмахивался и в шутки не вступал. Немцы были уже на носу.

Евка уехала в эвакуацию, Лилька исчезла, отец с матерью остались в доме. И грóши тоже остались. Вроде.

После войны Евка вернулась, узнала страшную правду про смерть отца и матери. Пошла по полицейским домам. Ей добрые люди указали, кто в тот проклятый день в хате Воробейчиков стол корежил. Ходила Евка не одна. С Файдой. Как с представителем власти. Он только вернулся с фронта, с медалями и одним орденом. Был сорок пятый год, только что объявили победу.

Обошли шесть домов. Трех полицаев в наличии уже не стало — отправили в Караганду на десять лет после открытого суда в здании бывшей синагоги. Еще трое не особо злостных показали, что правда искали гроши в столе. Но ничего не нашли. Евка бросалась на них с кулаками, Файда удерживал.

Стало ясно — по-хорошему никто ничего нужного не расскажет. К тому же Евку подвергли осуждению, так как она искала гроши, а не оплакивала родителей в первую очередь. Евка им отвечала, что родителей она будет оплакивать всю свою жизнь и это ее личное дело, а кто дом ее рушил, живут спокойно и никого не оплакивают, а оплакивают только то, что захватить ничего у Воробейчиков не удалось.

Файда от Евки отстранился. На ее требования помогать ей восстанавливать справедливость ответил: «Советский суд и народ восстановят справедливость. А мне работать надо вперед». Евка поняла, что воздействия на Файду она не имеет. Хоть у него и Сунька, и вся ее прошлая жизнь.

Евка ходила по Остру. Стучалась в каждый дом с криком, что ей надо посмотреть и забрать свое. Так как после убитых евреев имущество разбрелось по местечку и на этой почве скандалов было много, Евку пускали. Она находила где что. Таким образом собрала почти весь стол. Частями. Сама грузила на тележку и волокла к себе. Считалось, что она помешалась.

Но грóши она обнаружила. Там, куда Соломон их и заделал. Под столешницей располагалась большая емкость — вроде для складывания предметов обихода. Но дно этой емкости — двойное. На вид и от тряски второе дно никак не обнаруживается. А если вытащить крохотный колочек снизу — так маленькая доска, которая пригнанная без зазоров, отваливается. Как Соломон Воробейчик и показывал дочерям в далекий торжественный день.

Евка монеты взяла, а доски-ящички разнесла по еврейскому кладбищу — прилюдно. Устроила столу похороны.

Теперь Евка считает, что и правда тогда трóхи в голове у нее мутилось. Она б и без царских червонцев прожила своим трудом и своими руками-ногами. Но ей колола душу несправедливость. И она своим поведением выступала только за справедливость. Тем более она хотела на собрании где-нибудь свои монеты показать всем, чтоб знали, какие они падлюки и дураки.

В то же время к ней в приживалки оформилась окончательно Малка Цвинтар. От нее секретов у Евки не было. Узнала Малка и про червонцы.

Цвинтарша стала заводить в доме особые порядки насчет кошера, пекла мацу и тайно разносила по Остру. Евка ее пыталась вразумить, что будут неприятности. Но Малка заверила, что теперь, после войны, неприятностей быть не может. Деятельность свою немного утишила после того, как Файда накричал на нее: «Не для того мы пле-

чом к плечу сражались со всем народом вместе, чтоб в настоящий момент возвращаться к темным еврейским предрассудкам. Некоторые думают, что еврейский народ своими огромными и незаслуженными жертвами заслужил. Но он не заслужил. Жертвы — отдельно, а маца — отдельно». И пригрозил, что если прослышит про мацу по Остру из Малкиных рук, то ей сильно попадет по всем статьям. Тем более пострадают и невинные. И чтоб не пошла насмарку вся просветительская и культурная работа, за которую Файда отвечает аж на два района, Малке надлежит замереть и забыть свои выбрыки.

Мирон также наказал Еве не бояться Цвинтарши и насчет Суньки. Про Суньку Малка будет молчать. В этом вопросе ее и без Файды надежно окоротили. Выразился так: «Насчет Суньки — у нас Полина главная. А за остальное — отвечаю я. И мацы тут не будет. Даже если придется судить Малку справедливым судом. О чем сейчас обсуждение и идет где надо».

Евка опять испугалась, что через Малку может попасть в антисоветские кадры. И сказала, что в случае чего — у нее есть пять червонцев. Если надо кому заплатить. Файда рассмеялся ей прямо в лицо: «Ты когда-нибудь слышала, чтоб от советской власти откупались? Если за тобой придут по письму или как, не откупишься. Сами возьмут, что захотят. И тебя возьмут. И все подпишешь. От советской власти и ее органов не откупишься. А если при обыске царское золото найдут — еще

хуже». Евка уговорила Мирона взять червонцы на сохранение. Файда отказывался-отказывался, но взял. Из-за прошлой любви исключительно.

Таким образом, Евка жила относительно спокойно и устойчиво на одном месте. Малка мацу не пекла. Но говорить по-русски или украински перестала. Хоть Евка ее и умоляла при людях по-еврейски не голосить.

Евка надеялась, что Лилька и не появится. Некоторые утверждали, что она воевала в партизанском отряде Федорова, некоторые — что у еврейского командира Цегельника Янкеля. Евка ни у кого ничего не спрашивала, вроде специально. Люди между собой намекали, что Евка даже рада, что сестры в видимости нету. Все хозяйство — ей одной.

Так как Евка постоянно находилась в процессе продажи дома и мечтала о другом месте жительства, от действительности она оторвалась. Работала понемножку где придется на подсобных работах без определенных занятий.

Однажды, году в сорок восьмом, поехала в Чернигов потолкаться на базаре и узнать про цены на жилье. Цены не понравились, но была встречена Лаевская. Полина затащила Евку к себе и, в частности, торжественно раскрыла ей глаза на то, что Лилька проживает в городе с 1946 года. В своем доме. Дом оставила ей старуха, которую Лиля доглядывала. Только что оформила документы и теперь полноправная хозяйка.

Евка обрадовалась. И решила, раз Лилька при своем доме, еще и пользу получить можно.

Вместе с Лаевской пошли на улицу Клары Цеткин. Лилька после первой смены находилась дома. Состоялась встреча двух родных сестер. Поплакали. Евка упрекнула Лильку, что не приезжала в Остер. Лилька ответила, что если б Евка сама тут не вылезла, так и дальше их пути не соединились бы.

Евка упрекнула сестру, что та не объявлялась. Зато, мол, она про родную кровь каждую секундоочку помнила и родительские червонцы выдирала с мясом. И теперь готова их разделить по справедливости, хоть по всему видно — Лилечка ни в чем не нуждается и даже может, если, конечно, захочет, помочь сестре.

Лилька ответила, что червонцами Евка может с радостью подавиться и быть спокойной, что в Остре Лилька не объявится. И что она старается забыть про такое место на земле, а не то чтоб туда ездить своими ногами, и пускай Евка там живет, если ее не тошнит.

Ева спросила — если тошнит, так можно перебраться к Лильке? Как-нибудь сбегать отцовский дом и перебраться. Лилька с готовностью отбрила сестру. Никогда и ни за что. У нее своя жизнь, у Евки — своя. Хватит того, что она один раз устроила ее судьбу, освободила от ненужного ребенка. Тут Евка и узнала, каким образом и кто придумал комбинацию с рождением в подол.

Лаевская следила за двумя сразу и зыркала глазами со стороны в сторону. Поддакивала то одной, то другой. Евка при упоминании Суньки разревелась и упрекнула Лильку, что за нее решила.

Лилька ее не утешала: «Возможно, произошла ошибка с моей стороны. Ошибку не исправишь. Если б ты родила себе, и я б с тобой над дитем сидела и жизни б мне не стало, как и тебе. Я хотела, чтоб и ты освободилась, и мне жизнь не покалечилась. А ты как дурой была, так и осталась. И тащить твою дурость на себе, как я тащила всю жизнь до войны, не собираюсь. Пускай у тебя остается свой ум, какой есть, а у меня свой».

Евка ушла в слезах и непонимании, как поступает родная сестра. А Лаевская ее приласкала и обещала найти хорошего жениха в Чернигове. Евка из-за любопытства спросила, как у Лили личная жизнь. Лаевская по секрету сообщила, что личная жизнь у Лилии — закачаешься. На дальнейшие вопросы — что? кто? — не отвечала.

Спросила про червонцы и высмеяла Евку, что придает им такой вес. На жизнь как таковую их мало, а чтоб жениха прельстить — совсем смех. Не говоря про черный день. Евка обиделась за родителей. Они сберегли все, что могли, и упреки Лаевской в их сторону — ужасные. Лаевская сказала: «Я не к тому. Сами по себе эти червонцы — пшик. Тем более золото надо еще продать. А кому продашь? Попробуй. Пожалеешь, что связалась. Но если б ты мне их продала, я б купила. Ты мне — червонцы. Я тебе — жениха. Хорошая цена? Если веришь. Ты у Файды спроси — или можно Полине верить. Он тебе ответит. Я давить не буду. Надума-

ешь — дашь знать. Хоть и Файде. Я к нему наведу-ваюсь, от него к тебе заскочу».

Файда и правда охарактеризовал Лаевскую как честную женщину без обмана. Ева из-за самолюбия не сказала, что хочет произвести не продажу, а обмен: золото — на жениха. Не сказала, но решила — и так понятно. Таким образом червонцы оказались у Лаевской.

С Лаевской после передачи ей денег не встречалась. Писала письма с вопросом про жениха, но ответа не получала. Когда Файду кышнули вниз с руководящего места из Козельца и он поселился в Остре, Евка как-то забросила ему удочку. Но Мирон строго ее отчитал, чтоб она его в свои дела не вмешивала. Несмотря на Суньку в прошлом. Евка в мыслях простилась с червонцами.

Дом ее не продавался и не продавался. Время по женской части утекало. Что не входило в Евкины далеко идущие планы.

И вот как-то месяца за два до смерти Лильки в Остре появилась Лаевская. Быстренько шла под ручку с каким-то милиционером. Капитаном. Тогда темноло рано, Евка со стороны их увидела, но сама им на глаза не полезла, так как была в фуфайке и вообще расхлябанная после работы.

Евка подумала, что Полина намеревается устроить смотрины. Милиционер не молодой, так и Евке не восемнадцать. Как раз. Солидный. Он ей сразу даже в темноте понравился, и она надеялась, что Лаевская придет с ним к ней утром.

Евка с утра причепурилась и стала выглядывать в окошко Полину с милиционерским женихом. А нет. Никто не явился.

Евка закипела. Сама поехала в Чернигов и потребовала, чтоб Лаевская вернула ей золотые деньги.

Та отказалась и заверила Евку, что работа идет и жених найдется. К тому же червонец теперь у Лаевской нету. Если Евка хочет узнать их дальнейшую судьбу — пускай идет к сестре. Хоть Лаевская выразила недоверие насчет того, что Евке это неизвестно. Но чтоб Евочка нарочно делала вид и второй раз требовала деньги, которыми сама уже и распорядилась, такое Полина и думать не хочет. То дело семейное.

Евка спросила, не жених ли был с Полиной в Остре, милиционер. Может, Евка ему не приглянулась и Полина ее не желает расстраивать? Полина ответила, что то не Евкин жених, а Лилькин ухажер. Полина с ним приезжала в гости к Файде. Евка захотела уточнить, это тот ухажер, что и раньше, или новый. Лаевская туманно выразилась, что в Лилькиных ухажерах запутаешься.

Евка была разозленная, а еще и такое слышать — неприятно.

Двинулась напрямиком к Лильке.

Приоткрытую из-за натаявшего снега калитку Евка миновала беспрепятственно, постучала в дверь.

Ей открыл тот самый милиционер. Чуть глянул в ее сторону и кинулся напяливать шинель, после шинели — сапоги. Не по-людски.

Так, вполголоса, и говорит: «Лилька, мне бежать надо. Никто не приходил. Теперь сама дожидайся». Евка брякнула: «Я не Лилька». Милиционер поднял голову и охнул: «Купился!» — «Я сестра. Ева. Вы, если нужно, идите по своим делам, я Лилечку подожду. Вы ее жених?» — «Какой еще жених? Дурасятина. Скажете Лиле, чтоб немедленно позвонила мне на работу, когда придет. У нее смена давно закончилась. Шляется где-то». И выскочил из дома.

Ева честно ждала Лилю. Вещи не ворошила.

Лиля пришла через час. Увидела Евку. Рассердилась. Сказала: «Ну чего ты от меня хочешь? Считай, что у тебя сестры нету. Тебе лучше в конечном результате будет. Кручусь, кручусь, а без толку».

И так разрыдалась, как Евка и не представляла, что человек в мирное время может. Конечно, она тут же внутренне проявила сожаление, что своим враньем довела сестру. Но вид Лильки, ее красивое пальто с чернобуркой, боты на каблучке, красная помада — успокоили Евку, что все сделано правильно. Пускай подумает про свое поведение.

Тут Евка сообразила, что пришла ради справедливости — ради денег. Зачем Лилька у Лаевской взяла червонцы! Пускай или отдает все, или сейчас же честно они поделят. Чтоб поставить конец.

Евка спросила громко: «Лилька, где червонцы? Ты сама от них отказалась. И сама у Лаевской их забрала. Якобы причем от моего имени и по поручению. Как тебе не стыдно! Если это правда, конечно». Лилька сделала перерыв в рыдании

и замахала руками в лицо родной сестре: «Уходи, уходи, Евочка! Такая минута у меня была. Я отдам».

Евка осознала победу и ушла. А перед этим скромно попрощалась. Никаких сроков возврата она сестре не ставила. А через два месяца ее убили.

Ева дала себе передышку. На стол она уже не смотрела. Больше в пол. Бубнила, бубнила и перестала.

Я принес ей воды.

Понятно, Лаевская приезжала в Остер с Евсеем. И по крайней мере теперь понятно, что были они в Остре вместе не раз. И до смерти Лильки были, и после, когда кисет привезли. И в доме Лильки был Евсей. И что-то они, получается, втроем делали — Лилька, Лаевская и Евсей.

А Евка-дурында им карты трохи попутала.

Но так как она утверждает, что к Лаевской за возвратом своих червонцев раньше начала — середины марта 1952 года не обращалась, а Полина с Евсеем кисет привезли именно в это время Файде, как же Евка могла узнать, что в кисете лежит и сколько? Что там и ее и не ее?

— Ева, а получается, ты мне не всю правду говоришь. Откуда ты знаешь, что в кисете? Лаевская тебе сказала убедительно, что червончики куда-то запроторила по своему усмотрению, а ты видишь кисет и заявляешь, что тут твое. Ну? Не говоря про то, что ты еще у Довида клянчила, когда кисет при нем был.

Ева подняла голову. Выгаращила глаза.

— Не скажу, — одними губами и промямлила. Я не стал спорить. Знала и знала. Выплывет.

Напоказ начал собирать ценности. Складывал по одной. Особенно бережно перекалывал червонцы. Не бросал внутрь, а засовывал на самую глубину.

Евка не смотрела. Стягивала косынку на груди. Стягивала-стягивала, аж пока один конец дал трещину. То есть порвался. Старый платочек. Евка от такого конфуза очнулась. Содрала остатки и помахала в воздухе.

Я увидел ее плечи и отметил, что она поправилась.

— Ты, Евочка, главное, за фигурой следи. Кушай меньше. Ты от нервов кушаешь много. Платье свадебное готово, наверно. С мерки не сошло? Ничего, Полина расставит клинышками с боков.

Евка ощупала свои бока — машинально. Женщина.

Я резко продолжил:

— Где и кто показал тебе содержимое кисета?

— Не показывал никто. Довид словами сказал: тут, говорит, на важнейшее дело средства. И твоя доля, Ева, тоже тут. От твоего имени Лилия распорядилась — пять золотых монет царской чеканки. Так и сказал — «чеканки». Я б такого не придумала. Поверьте, Михаил Иванович. Я как с цепи сорвалась. Я с ними уже попрощалась. Не отдала мне их Лилька до своей смерти, я их с ней отпустила на тот свет. Даже спокойно. Простила долг умершей

родной сестре. А как же. А тут опять слышу как должное: от моего имени. То есть она забрала их у Лаевской и от моего имени в кисет засунула. А там знаете что? Там коронки еврейские. Из мертвых. Которых стреляли полицаи. И кольца тоже. И они, гады, туда же мои монеты. Лилька назло! Именно назло! Она и не такое могла придумать. Точно Лилька! Я сразу поверила и потребовала свою долю назад. Довид отказал. Я Зуселя приволокла на себе, можно сказать, одолжение Лаевской сделала. А оказывается, мои денежки там, вместе с этой гидотой, с мертвецами заодно, чтоб я руки свои туда совала и потом век не отмыла.

Евка задрожала спиной и плечами. Не рыдала. Тряслась, как цыганка. Я в Венгрии видел. Из лагеря несколько старух-цыганок плелись, мы им хлеба дали. Одна начала танцевать для нас. И свалилась. А плечи дрожали ходуном.

— Не надо, Ева. Отмыла б ты руки свои красивые. Отмыла б. И не от такого отмывают. И жениха ты получила. Хорошего. Ты думаешь, сама его заарканила, а может, его тебе Лаевская подсунула и по скромности не объяснила, что он от нее. А?

Евка тряслась и икала.

Уже когда уходил, с порога прокричал:

— Зусель пропал. Не объявлялся тут?

Евка не ответила.

За ближним углом простоял минут пять.

Евка выскочила из калитки и припустилась бегом куда-то. Под мышкой сверток. Газета в неко-

торых местах прорвалась и сверкала белая материя. Или шелк, или что. И не куда-то она бежала. Я не сомневался — к Лаевской.

Спокойным большим шагом я шел по переулку по направлению к горсаду.

Особых дел в городе не предстояло. К Лаевской я не собирался. Хотелось спокойно подумать.

На любимой скамейке я взял себе для размышлений Еву Воробейчик.

Что Суньку нагуляла и в чужие руки отдала — рассказала сразу.

Что сестра у нее преступно червонцы фактически украла — рассказала, несмотря что про покойных не надо говорить плохого.

Что по своей дурости доверилась Лаевской в смысле жениха — выложила.

Что в кисете еврейские коронки из могил — растрепала. Это ей язык повернулся.

Ни стыда ни совести. Только что рыдала навзрыд до икоты. И тут — к Лаевской побежала свадебное платье мерить. Клинья расставлять.

Со всего нашего с ней разговора в ее куриных мозгах и осталось — толстые ее бока.

Я подумал также о том, что Малка, как только Евка с ней перебралась в дом Лильки, взялась за старое — мацу печь на просторе.

Когда я в первый раз зашел — застал их на горячем. Евка перепугалась и срочно убралась обратно в Остер. И готовую мацу с собой не забрала. Поломала крупно и раскидала на заднем дво-

ре — для моих глаз. И я увидел. А что имел место обыкновенный испуг — не догадался.

Куда курей дели? Живых не унесли б, шуму много. Чтоб Евка сама им головы рубила — навряд. Малка — тем более. Специальный человек у евреев есть. Чтоб кровь спустил и так далее по их закону. Бросить такое добро, чтоб соседи растащили, — не в Евкином вкусе. Там штук восемь кудахтало. Не меньше. Может, Зусель и резал. Призвала его Малка — он тогда в Чернигове ошивался. Он зарезал, Малка в мешок засунула, евреям продала.

Для кого-то ж она мацу пекла. Вот им кошерных курей и продала. Вот откуда у нее грóши. За эти грóши и разговор был. Эти грóши она Зуселю в пиджак и засунула. И эти грóши Гришка спер. И Суньке отдал. А Сунька — мне.

Малка определенно мне кричала:

— Отдай грóши, мне детей кормить!

Вот это и есть несказанное Малкино богатство. Из-за этого пропавшего богатства она и в могилу сошла. От переживаний. А зачем Зуселю эти грóши давала — неизвестно. И теперь неизвестно навек.

Иногда я слишком много внимания уделяю взгляду внутрь, а поверхность остается без должного оперативного досмотра. Ищу сложность там, где ее нету. Старшие, более опытные товарищи мне на это указывали, что сильно кручу. В том числе и Евсей. Я иногда учитывал. А иногда упускал возможность простоты.

И накрутилось, как на шпулю, на обыкновенное слово «грóши» в исполнении разных людей у каждого свое: у Малки свое, у Довида свое, у меня свое. Смешнее всех я. Придумал про хабар. А Штадлер что мне имел в виду, когда плевался из последней смелости? За какие именно грóши?

Только за кисет он мне мог плеваться в лицо. И Довид тоже — за ракушку хватался. Только за кисет. С еврейскими коронками и кольцами-цацками могильными. Евкины и Лилькины червонцы — довесок. Не они главные.

Видеть Штадлера не хотелось. Но есть такое: надо. И через надо я пошел.

Штадлер выглядел хорошо.

На мое приветствие ответил: головой кивнул четко.

Я молча положил кисет на стол. Развязал, вывалил содержимое.

— Ну, Вениамин Яковлевич, за это ты мне в лицо плевался?

Штадлер резко спрятал руки за спину. А в глаза мне не смотрел. Смотрел на стол. Не определенно в одну точку, а вроде скользил взглядом и всей головой вдоль и поперек.

Я схватил его за руку и потянул к золоту. Усилие я прилагал легкое, и рука не поддавалась. Штадлер не хотел. Я нажал. Когда его ладонь положилась на кучку, я ощутил, как он весь передернулся.

— Что, страшно? Почему страшно? Ты и страшней видел. И язык свой проглотить-откусить не

побоялся. И били тебя смертным боем. И кости тебе ломали. А ты побрякушек испугался. — И руку его прижимал и прижимал к золоту, и пальцы стискивал ему до хруста.

Он замычал с такой мольбой, что я отпустил. Я не зверь.

— Откуда это? Мучить тебя не буду. Кто хозяин? Имя, фамилия, где найти. Я уйду и никогда больше к тебе не появлюсь. Обещаю. Все знают, я как сказал — так и делаю.

Я подложил тетрадку прямо под руку Штадлеру. И карандаш вложил ему в пальцы.

Он написал: «Воробейчик Лиля».

Листок с написанным я вырвал. Сложил вчетверо. Засунул в нагрудный карман кителя. Пуговицу застегнул. На одной ниточке пуговица. Но ничего, подержит еще.

Собрал кисет, тщательно и аккуратно завязал.

— Прощай, Вениамин Яковлевич. Теперь никогда не приду к тебе. И при встрече узнавать не буду. И ты меня забудь. Спасибо. Про Довида Басина знаешь?

Штадлер кивнул.

— А что Зусель пропал, тоже знаешь?

Мотанул головой в отрицательном смысле.

— Что, не пропал? Живой хоть?

Штадлер подтвердил.

— Откуда сведения? От Лаевской? Не отвечай. А то ты совсем разговорился. А мы ж уже попрощались. Ты не обязан.

Штадлер махнул рукой. В свой адрес или в знак прощания.

Известия у Штадлера от Лаевской, конечно. От кого еще. А Лаевская от кого узнала? От Файды. Только он и мог. Остальным плевать и на Лаевскую, и на Довида. И на Зуселя, все равно — живой он, мертвый.

Две положенные недели за свой счет кончались в понедельник. В моем распоряжении оставалась пятница, суббота и воскресенье. Свадьба Евки тоже в воскресенье.

Значит, надо уложиться в два дня хоть бы с половиной. Так я для себя определил.

Дома Люба с Ганнусей производили генеральную уборку. Ёська бегал тут же с криками и смехом. Гришка с Вовкой на дворе выбивали дорожки.

Я попросил себе дела, но Люба ответила, что лучше всего — не мешать. Помощников и без меня хватает.

Я спросил, может, мне пойти с Ёской и хлопцами погулять?

Люба согласилась. Объявила, что будет нас ожидать с обедом к трем.

Я добавил, что и Ганнуса б с нами пошла для полноты команды, если б Люба отпустила главную помощницу.

Люба и тут не высказалась против.

Мне нужна была радость. И я ее себе устроил. Три часа мы гуляли по Чернигову, и я с теплотой отметил, что Гришка и Вовка не чувствуют себя чужими. Стараются идти ближе ко мне. Когда Ёська устал, несли его по очереди, а Ганнусе сказали, когда она тоже хотела, что это дело мужское, а ее дело особенно помогать маме Любе. Мороженое — хоть и остатки — Вовка и Гришка предложили Ганнусе. Сначала Гришка, когда увидел, что Ганнуса доела, а за Гришкой и Вовка. Оно уже сильно капало ему на руки, а он ждал, когда Ганнуса доложит Гришкино, потом вручил свое.

Ёська тянулся за добавкой, но я не разрешил.

До дома оставалось немножко, когда Гришка сказал:

— Михаил Иванович, дед папин дом продал?
И свой тоже?

— Да.

— А тот, где мы в Остре жили, наш?

— Ваш. Твой, Вовкин и Ёский. Дед купил.

— А тетя Ева говорила, что мы по ее разрешению живем. Она перестанет разрешать, и мы там жить перестанем. Опять в землянку к Зуселю пойдем. Вруха.

Я остановился.

— Когда она так говорила?

— Когда Зуселя хворого привозила. Когда приданое свое просила у деда, а он не дал. И мне посмотреть не разрешил.

Вот номер. Ну Евка, ну гадость! Брехня на брехне. Правду по капельке выдавливают, и ту раз-

мазывает, не соберешь. Говорить с ней получается в конце концов без смысла.

Я мирно сказал, чтоб Гришка не забивал себе голову чужой брехней. Тетя Ева была злая на деда и потому сказала неправду.

Обедать я не остался. Любе шепнул, что надо на службу срочно. Возможно, и даже скорей всего, с ночным выездом в район. Чтоб не волновалась.

Люба собрала в дорогу кое-что из еды. Молчала. Потом предложила:

— Миша, я те деньги, что ты нам в Рябину прислал, почти не тратила. Возьми.

Достала из кошелька мятые бумажки. Протянула далеко от себя в воздух.

Я не взял. Кое-что у меня оставалось. Все наши дети тут, а не где-то. Значит, тут и грóши нужней.

Я отбыл в Остер. И этот раз объявил для себя последним и решительным.

В моем вещмешке находилась еда, смена белья и проклятый кисет. Я оказался к нему привязанный.

Шофер попутного грузовика получился остерский. Взял меня до самого места назначения. Мужик в годах. Я спросил, или знакомые ему в Остере такие фамилии, как Мельник и Цегельник.

Он сразу ответил, что их знают и уважают все. Только Янкель Цегельник — бывший знаме-

нитый командир еврейского партизанского отряда пару лет назад неожиданно пропал без вести. Говорили, утонул в болоте. А Гиля Мельник, его заместитель по партизанской славе, живой и здоровый.

Я попросил подкинуть меня до хаты Мельника.

Хозяин находился дома один.

Я без предисловий сказал, что ему как бывшему партизану доверяю всецело и прошу ответить на несколько вопросов.

Меня интересуют две личности: Лилия Воробейчик и Полина Лаевская. Про гражданку Воробейчик я сходу заявил во избежание недоразумений и излишней сдержанности, что она на том свете. А Полина живая. Но лучше и про нее говорить одну правду и не приукрашивать. Никакого оформленного дела против нее органами не ведется, но интерес есть.

— Что рассказывать?

— Все интересно. Выводы я сам извлеку. Сначала про Воробейчик. Что их две сестры-близняшки — известно. Про отца с матерью — погибли в период оккупации — тоже понятно. Про Еву известно. Про Лилю — ничего. С Лили начинайте. С войны.

— Лильку убили?

— Ну, убили. Какая разница?

— Разница такая, что ее и должны были убить.

Я всегда знал: своей смертью она не уйдет. —

Мельник улыбнулся, можно сказать, ласково. Что улыбка припала на такие его странные слова, меня удивило.

Он заметил:

— Я потому улыбнулся, что она мне говорила как-то, в отряде: «Меня пуля не берет. А жить не хочу и не могу. Что мне делать?» Я ей ответил, что закончим расчет с фашистами, и потом она себе место найдет. И жить захочет. Сказал по должности. Так не думал. У меня вообще мнение, что человек сам должен определяться — или ему жить. Она раз и навсегда в какую-то минуту определила — не хочу. И мне понятно было, что после победы жить она перестанет. Победит — и перестанет. Я удивился только, что она после войны протянула так долго. Особенно сказать нечего. Воевала как все. Отчаяние у нее появилось после одного случая. Вы про Лаевскую вместе с ней спросили. Так с Лаевской это и связано. Полина перед войной уехала из Остра: ее мужа перебрали куда-то в Среднюю Азию. Он был хороший прораб. Или инженер. По всей Украине работал на больших стройках. Она за ним, по очередному назначению. И с детьми. Правда, у нас ее не любили. А с другой стороны — кого любят? Она одеться стремилась, деньги имела через мужа. Дети заметные. Красивые. На пятерки учились. Девочки. В сорок первом старшей было лет четырнадцать. Младшей и средней точно не помню. Но тоже школьницы. Ну и Полина их на лето с нового места сюда прислала. Погостить. Муж их привез

и намеревался сам с ними отдохнуть. Вроде у него в Средней Азии малярия или оспа началась. Или подобное. Остановились у Файды в Козельце. Его Сима — жена, двоюродная Полине. Файда сразу ушел на фронт. Сима с сыном — в эвакуацию. Для ответработников выделили транспорт. Для Полининых детей и мужа места не нашлось. Они туда-сюда. Остались. Мужа на улице немцы застрелили. Девочек кто-то спрятал. Короче, они оказались в Янове у местных старухи со стариком. Те их прятали, прятали, до зимы сорок первого прятали у себя. Потом кто-то донес. Обычная история. Пришли немцы с полицаями. Немцы стояли, а полицаи хату палили. Дети в окна старались вылезти, их обратно запихали. Старика со старухой раньше расстреляли перед всеми, чтоб сделать пример.

— Откуда известно? Кто видел своими глазами доподлинно?

— Доподлинно видела Лилия Воробейчик. Она в тот момент находилась на задании. В Янове. За хлебом ее послали. Или за чем дадут. Мы голодом сидели. Последнее сено с вареными ремнями доедали. Она мешок взяла и пошла в Янов. И Лилия видела своими глазами, как палили Полининых детей. После того она мне и сказала, что не может жить.

— Война. Что она, раньше фашистских зверств не видела?

— Видела еще и не такое. Но чтоб она рядом — а детей знакомых спасти не могла... Ну, что мог-

ла? Вылезти вперед, гранатой помахать — и то не успела б. Когда чужие гибнут, тем более в муках — сильно их жалко. А если близкие — невыносимо. Сам с ними и горишь, и шкуру с тебя сдирают, и в землю живым закапывают. По себе знаю. А она — молодая женщина. Ей самой еще детей рожать. А у нее внутри выжгли то место, где дети должны находиться. Так она мне говорила. Потом Лиля пропала. Мы ее заочно похоронили с почестями. А после войны кто-то ее в Чернигове встретил. Потом Евка к ней навевывалась. Я краем уха слышал. Живая — и ладно. А Лилю не Лавевская убила?

— Почему вы так подумали?

— Не знаю. Вы их вместе свели. Я подумал — Полина убила. Файда про нее рассказывал, что она на своих детях помешалась. Вы ее видели? Нормальная она сейчас?

— Нормальная. Здоровенная бабища. Губы красит, перманент делает. Не волнуйтесь. Нормальная. Пушкой не прошибешь. Откуда она про детей узнала?

— Кто-то в общих чертах рассказал. Из наших. Такое из уст в уста передается. Разнесли.

— И что, все знали, что Лилия своими глазами наблюдала смерть детей?

— Вообще сомневаюсь. В том и дело, что никто с отряда не знал, куда я ее послал. Тем более что в Янов и не отправлял. Лилька должна была направиться в другое село. А она пошла в Янов. Вернулась, задание фактически не выполнила.

Вместо выполнения рассказала про девочек. В военное время, хоть в армии, хоть в партизанах, такое сильно не приветствуется. С меня, правда, слово взяла, что я никому — про то, что она видела. Я обещал. Обещание выдержал. Сама высказалась в том роде, что готова понести заслуженное наказание. Но я для нашего командира — Янкеля Цегельника — придумал. Выгородил девку. Чтоб она еще с кем-то обсуждала? Навряд. Через месяц примерно она исчезла. Пошла на очередное задание и пропала без вести. А кто ее убил? Нашли?

— Нашли.

— А за что?

— Товарищ Мельник, вам интересно, а у меня времени нету рассказывать. К тому же это к данному разговору не относится. Вы не обижайтесь.

— Понимаю.

Мельник спросил между прочим:

— Вы с Файдой же знакомые? В Остре секретов нету. Все на виду. Спросите у него. Он может еще рассказать. Он много знает. Только напуганный теперь. К нему Лаевская налетает. Бегает, места себе не находит. Не часто, но бывает тут. Я лично ни разу не видел ее после войны. Люди говорят. И, имейте в виду, единогласного мнения нету: она в себе или не в себе. Конечно, с Файдой и Симой у нее хорошо. Они — напуганные, она пришибленная. Да.

— А вы не напуганный?

Гиля неопределенно покачал головой. И спросил:

— А вы, товарищ капитан?

К Файде шел кругами. Чтоб дольше.

Присел перекусить в роще. Хорошая полянка с высоченной травой. Ниоткуда меня не видно.

Еще не темнело. А мне надо, чтоб наступила ночь и точно вся семейка Мирона была в сборе. В постелях. Теплые.

Я ел Любочкину еду и думал ни про что. И такая пустота сквозила во мне, что я ощущал ветер и на костях, и на крови.

Задремал. Вещмешок под головой. Через брезент сначала сильно чувствовался кисет. Потом, когда окончательно провалился в сон, особых неудобств не испытывал. Дрых как убитый.

В доме Файды не светилось ни одно окно.

Постучал без стеснения.

Открыл Мирон. Если б не в трусах и майке, я б решил: дежурит возле двери.

— Здравствуйте, Мирон Шаевич. Объявляйте подъем. Общий. Немедленно. Все дома?

Мирон быстро и четко ответил:

— Все.

Расселись вокруг стола.

Сима в хорошем платье. Видно, не первое попавшееся схватила спросонок. Сунька в штанах

и безрукавке. Ремень на штанах затянут на последнюю дырочку. Не там, где виднелась привычная для него отметка от пряжки. Значит, со значением штаны подпоясывал. С твердостью и решительностью. Мирон в брюках, пиджаке. Рубаха застегнута на все пуговицы. Даже под горлом.

Сидели как не у себя дома. Руки на коленях.

Я начал:

— Ну, что, ждали? Меня ждали?

Мирон сказал за всех:

— Вас, Михаил Иванович.

— Вот и хорошо. Тогда сами знаете, для чего ждали. Рассказывайте, Мирон Шаевич. Про Лаевскую и так далее. Про ее дела с Лилькой Воробейчик, Довидом, Евсеем. Семья ваша в курсе, наверно. Иначе б не вырядились так.

Я обвел всех пристальным взглядом и каждому взглянул в глаза.

Сима опустила голову. Сунька откинулся на спинку стула и положил ногу на ногу. Второпях сандалии обуть не успел. Тапок упал. Хлопец смутился и опять сел смиренно.

Я ему лично сказал:

— Вот так, Сунька, и бывает. На мелочи горись. Готовился, готовился встретить меня со всей отвагой. А тапок — шмяк, и от тебя мокрое место осталось. Не бойся. И вы, Сима, не бойтесь. Я в гости пришел. Мне надо знать подробную правду. Чистосердечную. Знать, чтоб навек похоронить в себе. Для выяснения с Лаевской. Она сама нарывається. Я ее первый не трогал.

Все переглянулись. Сима тихо заплакала. Сунька погладил ее по плечу.

Мирон сказал за всех:

— Не нужно комедию ломать. Мы готовы. Сима вещи собрала, вы лучше скажите, что можно взять, а что нет. Чтоб лишнее не тащить. Спасибо, что пришли ночью. Меньше интереса соседям. Дом опечатаете? Если понятых надо, лучше обратитесь через два дома, номер восемнадцать. Там люди хорошие.

Только тогда я обратил внимание, что возле окна, за этажеркой, стоит чемодан, узел и портфель. Они вещи собрали. Ждали ареста. Бебехи на три персоны.

Я подошел, этажерку отодвинул. А она из лозы, не крепкая, упала от потери равновесия. Я поднял. Книжки собирать не стал.

Рукой показал:

— Сколько ждете?

Мирон ответил:

— Как вы с детьми уехали. Недолго. Вы не мучитель. Через день, считай, явились.

Я расхохотался.

— Мирон Шаевич, Сима, Сунька! Какого беса выкаблучиваетесь! Какой арест? За что? Я и в мыслях не имел. Но теперь подозреваю, конечно. Надо ж себя выдать с головой! Чемоданы они собирали. Понятых им надо. Я русским языком сказал: вы мне выкладываете все вплоть до я не знаю чего, а я слушаю внимательно и ухожу. Ну, завтраком покормите, если долго говорить буде-

те. И все! Вы мне все трое даром не нужны. Я вам наперед обещаю. Хотите, расписку напишу? Мне нужно знать про Лаевскую и ее дела с Довидом, Евсеем и Воробейчик Лилией. Если она еще с кем-то дело имела — и про тех скажете. Ваша роль — в стороне. Она никак не учтется в будущем. Ясно?

Я кинулся к чемодану, раскрыл его и стал вышвыривать мотлох на пол. Женское белье, платье, теплая кофта, боты. Закончил с этим, выпотрошил узел и портфель — там Сунькино и Мирона.

Тряпки летели и падали где попало. Никто с них их не ловил. Никто не кричал.

Я кричал:

— Отвечайте мне все трое: есть у вас мозги или нету?! Живые мозги есть, я вас спрашиваю, как людей?!

Кричал я, кричал — и устал.

Сел на подоконник, ноги упер в пол, локти отвел назад, руки засунул в карманы галифе. Сколько молчал — не почувствовал.

Первой заговорила Сима.

— Самуила отпустите отсюда. Ему слушать наши разговоры не надо. Он и не знает ничего. А нервы потратит. И так уже сильно много пережил. Мы думали, его как члена семьи. А раз по-другому, значит, по-другому. Пускай идет. Как вы решите, Михаил Иванович?

— Иди, Сунька. Погуляй. Когда тебя еще мамаша ночью гулять выпроводит. Иди. — Сунька сидел на месте. Я строго приказал: — Иди, Саму-

ил. Ты мне не нужен. У меня к тебе вопросов нету. Не рассиживайся. Ну?

Сунька осторожно поднялся. Потом опять присел на край стула.

— Родителей не брошу.

— Не брошу! Я сейчас тебя через закрытое стекло брошу, если сам не уберешься! Поведение твое я оценил. Молодец. Иди. За родителей не беспокойся. Ну?

Мирон сказал голосом, которого я у него не слышал раньше:

— Самуил, иди. Переночуй у своих кого-нибудь, кто пустит. Скажи, загулял, домой боишься показываться. Не мне тебя учить.

Когда Сунька ушел, Мирон расстегнул пуговичку на воротнике, покрутил шеей. Встал, собрал вещи, которые я раскидал. До одной. Подряд. Свалил в кучу на диване.

Обратился к Симе:

— Симочка, прибери тут. Мы с Михаилом Ивановичем побеседуем. Ты чай нам организуй. — И обратился ко мне своим привычным голосом, с сахаром: — Мы к Суньке пойдем, в его комнату. Я за всех скажу. И отвечу за всех, если надо.

Мирон ждал, что я ему скажу ободряющее. Не дождался.

Показал он следующее.

Полина пробилась в Козелец в сорок четвертом. Сразу после освобождения. Еще эвакуиро-

ванным не разрешали возвращаться без особого вызова, а она уже тут землю рыла, искала детей и мужа. То есть сначала надеялась, что они выжили, затерялись в тылу, уехали в эвакуацию и прочее. Но ей рассказали, как Сима с Сунькой грузились на подводу, а девочек и мужа Полины — Зиновия — не взяли. Некуда.

В период войны он, Файда то есть, Лаевской не писал, так как получил от Симы письмо с ясным намеком на то, что она с сыном добралась до города Уфы, а что с остальными — не знает, а только плачет и плачет. Потому Мирон Лаевской и не писал. Однако Симе посоветовал оповестить Полину про неизвестность судьбы ее семьи. Но или именно это письмо затерялось, или Сима не учла совет — от стыда и раскаяния, но Полина всю войну ничего не знала, а впустую надеялась.

И вот ей описали, как мужа убили, а девочки — Рая, Соня и Мила убежали. Раз убежали — Полина начала искать дальше. В Остре кто-то что-то видел, а больше — слышал, посылали туда-сюда. Тогда слухи размножились — то в одном месте украинцы прятали аж десять еврейских детей, то в другом сами дети несколько лет прожили в лесу. Одним словом — легенды. Прятали — правда. Полина нашла такого хлопчика и девочку. Еще кого-то из спрятанных обнаружила. Но не своих. Наконец, по чьей-то подсказке, поехала в Янов. Там ей рассказали: действительно, трое еврейских девочек скрывались в украинской семье. Но погибли. И дети, и их спасите-

ли. Полина опросила весь Янов — и все в один голос говорили, что дети точно сгорели. На просьбы описать внешность девочек свидетели отвечали сомнительно. Их видели уже когда горела хата, в копоти и дыму. Какая может остаться внешность? Волосы сильно горели. Много волос, значит. Потому и уверены, что девочки. При жизни их если кто и видел, так теперь Полине не признался, чтоб не получился вывод: кто видел, тот и выдал.

И костей потом не было. Чистый пепел. Чистисенький. Огонь стоял до неба.

Полина от горя усвоила одно: внешности никто достоверно не наблюдал, костей не нашли. Значит, во-первых, это могут быть и другие дети. А если и ее — то есть возможность спасения. Костей не нашли.

Полина прожила в Остре несколько месяцев, без передышки ездила-ходила по селам. Никаких следов, которые ей бы хоть чуть-чуть понравились, — не нашла.

Встречалась с Цегельником — тот ей никаких утешений не добавил.

Стали возвращаться эвакуированные. Людей, которые в войну жили в Козельце в доме Файды, Полина попросила дать знать в Остер, если появятся хозяева.

И вот в Козелец вернулась Сима с сыном. В общем, состоялась встреча. Сима как могла оправдывалась, но оправдаться не могла. Нажимала она на то, что считала: в крайнем случае девочки и муж

Полины останутся под немцами и как-нибудь муж найдет при них работу, а не будет мыкаться по чужим углам в неизвестном далеком краю. Тем более что на глазах пустел Козелец: много домов стояли брошенные на честном слове. У Симы муж — коммунист и начальство. Ей обязательно надо было уехать. Полина сказала только, что ее Зиновий тоже коммунист. И нечего тут говорить. Он погиб ни за что. А девочек ее хоронить на тот свет еще рано. Полина их разыщет. Только Симу не простит. С тем и уехала.

Когда демобилизовался Мирон — в конце срок пятого, Сима ему рассказала про Полину, про ее детей и так далее. Мирон хотел ехать по старому Полинину адресу — в Среднюю Азию, и на коленях вымаливать прощение. Но жизнь закрутила. Вокруг столько обнаружилось горя — вздохнуть нельзя.

Ко всему его взяла в оборот Евка. Искала свое имущество. Он с ней ходил не только потому, что она — Евка. Он со многими ходил. Дома разграбили — тех, что в эвакуации. Кто-то и тут остался, их поубивали, мужья и сыновья с фронта возвращались — а хата занята. Или нету ее. Или голая до основания. Надо ставить людей на места. Успокаивать. Искать подход. А какой подход — полицаи и партизаны на одной улице живут домами стенка в стенку. Всех не посадишь. И мертвых не поднимешь.

А примерно через год в Козелец приехала Полина. Зашла к Мирону на работу. Спокойно ска-

зала, что домой к нему, где Сима, ни ногой, а его ни в чем не винит. Попросила прогуляться в парк. Там изложила просьбу. По манере Мирон понял: надо исполнять во что бы то ни стало, иначе в семье настанет плохое время. Сунька узнает про свое происхождение, а с хлопцем как раз тогда наступили трудности в связи с плохой компанией.

Полина наплела такое. Партия и правительство поручили ей распределять по семьям еврейских сирот с детдомов. По еврейским семьям именно. В связи с большой потерей еврейского населения в результате изуверства фашистов. Конечно, в детских домах детям хорошо. Они ни в чем не нуждаются. Но партия и правительство решили, что еврейской нации после войны осталось мало как таковой, а в детских домах еврейские дети могут уже не записываться еврейскими. Без злого умысла, а потому что разницы нету. Все нации равны. Но тем не менее надо для отчетности, чтоб количество показывалось достаточное. Вопрос политический перед всем миром.

Мирон, конечно, смутился. Но внешне не показал. Уточнил, что требуется от него.

Полина поручила выяснить и снабдить ее адресами детских домов по Черниговской области. Всех — до самого маленького сельского. Временного или постоянного — всех подчистую. И на бланке каком-нибудь, например райисполкомовском, где Файда работал, написать ходатайствен-

ное письмо с просьбой о содействии гражданке Лаевской Полине Львовне в ее делах.

Мирон прикинул в уме, что бланк он сможет украсть, но писать письмо и ставить свою подпись — сильно слишком. В изложенную Полиной историю про задание партии и правительства Файда, конечно, не поверил. Было б задание — не нужно просить письмо из Козельца. К тому же что получается? Евреи усыновляют евреев, татары — татар, в то время как мы идем к интернационалу. Но встречно, для усыпления напора Полины, предложил: он дает чистый бланк, и Полина сама туда вписывает что хочет. И любую подпись ставит под свою ответственность.

Полина согласилась. Бланк Файда передал ей через час, в укромном месте. Полина уехала. Оставила свой новый адрес: Чернигов, Пяти Углы, дом 7.

С той минуты Мирон потерял покой. Но все оставалось тихо. И год, и другой. Файда решил, что Полина вспыхнула и погасла. Затмение прошло, жизнь дала ей что-то другое.

После того как в связи с линией партии на еврейскую нацию Файду выгнали из райисполкома и из самой партии, волнение его поднялось с новой силой. Он считал, что опасность усугубилась и неизвестно, где гуляет украденный им бланк. И неизвестно, где машет этой бумажкой Полина в состоянии, тоже неизвестно каком.

Мирон с семьей перебрался в Остер. Тут Евка Воробейчик сообщила ему, что Лилька живая-

здоровая проживает в Чернигове. Сильно дружит с Лаевской. Полина живет богато, шьет на дому, Лилька работает на обувной фабрике, и все у нее есть.

Затишье было до известия о смерти Лильки.

Полина стала наезжать часто, но в остерском доме Файды не останавливалась. Забегала. Про свое партздание молчала. Мирон не напоминал.

Однажды приехала с милиционером и кисетом. Потом — на минутку буквально заскочила, когда товарищ Цупкой ночевал в доме Мирона. Недавно. И с тех пор — ничего.

Чая нам Сима не принесла.

Я напомнил.

Мирон крикнул, чтоб жена покормила чем-нибудь.

Сима отозвалась из-за закрытой двери.

Я быстрым рывком дернул дверь на себя — Сима подслушивала.

Обратился к ней:

— Что можете добавить к сказанному, Сима Захаровна?

— Ничего, — не мне ответила. Мужу.

Я поел, лег на Сунькину кровать — поверх покрывала, сказал, что посплю.

Сима предложила мне раздеться, а если я сомневаюсь, так могу быть уверенный — постель Сунькина чистая, только вечером Сима сменила белье, а сын и не ложился.

Сказала:

— Вот как вы сейчас — поверх лежал. Я думала — будут обыскивать, так надо, чтоб чистое. Неудобно ж.

Я расстелил постель и лег, вроде у себя дома.

Утром меня разбудил Мирон.

Первое, что я спросил, еще с кровати не поднялся:

— Евка не продала дом Довиду? Он там сторожем жил?

Мирон насупился и промямлил:

— Не продала. У них договор был устный. Он живет и сторожит. Он ей гроши давал. Ей мало. Не взяла. Сказала, что когда найдет покупателя лучше, известит. А до того пускай живут.

— А где гроши Довида за его черниговскую хату и за хату Евсея?

— Как где? В кисет он их засунул. Те, трубочкой. Вы когда вываливали на стол — трубочка была. Я думал, вы знаете. Две тысячи. Он при мне эту трубочку Евке в руки совал. Резинку порвал. Потом связал. При мне. Потому я их и узнал. Когда кисет у меня находился — там советских грошей не было. А когда вы принесли — были. Довидовы. Точно. Имейте в виду. Довида нету. Значит — гроши хлопцам принадлежат. Ну или как решите.

— А вы, Мирон Шаевич, вроде надсмотрщика над Довидом. Тоже Евка поручила?

Мирон обиделся.

— Лаевская. Она у Довида ошивалась в приезде. Она и просила меня присматривать за ним и Зуселем.

— На какой предмет?

— На человеческий предмет! На человеческий!

Мирон сорвался на крик. Терпел-терпел, а сорвался-таки. Молодец.

Теперь настало время из него вытянуть последнее.

— И чем же Лаевская занималась все годы? Кроме шитья за большие гроши? Говорите, Мирон Шаевич. Последнее говорите. Не можете вы не знать. У вас закалка есть. Вы б свои нервы в пустоту не тратили. Вы выяснили, на что они идут, нервы ваши. Семья ваша за что может пострадать. Вы выяснили — и в себе сдерживаете. А от меня мелочью откупиться надеетесь. Вы не сидели сиднем, не ждали каждую минуту, что вас за шкурку возьмут. Вы сами к Лаевской ездили. И вытрясли из нее, за что вам надо готовиться пострадать. Смотрите: Малки нету, Довида нету, Евсея Гутина нету. Зусель неизвестно где, подружки Полининой Лильки Воробейчик нету. Кому вы навредите, если расскажете? Вы у себя в уме накрутили. Давайте вместе раскрутим. Вам легче — и мне легче. По-товарищески.

Мирон думал. Стоял и думал.

Я его не понукал. Сейчас он или сам расскажет, или уйдет в глухую несознанку. И захочет потом выложить все с-под ногтей — а что-то в моз-

гах у него замкнется, и не сможет. Вроде заморозится.

Вдруг он крикнул в окно — я перед тем, как лечь, раскрыл настежь для воздуха.

— Сунька, беги отсюда! Беги!

Я захватил Мирона поперек живота, повалил на себя — на кровать, потом подмял. Он бессильно вытянулся подо мной. Как Зусель. Я отвалился вбок.

Через несколько секунд Мирон разлепил глаза. В мою сторону голову не повернул. Хоть, конечно, чувствовал, что я рядом. Впритык. Между ним и стенкой.

Я перелез через него, как через колоду, сел с краю.

На улице слышались голоса Симы и Суньки. Сунька хотел зайти в дом, Сима не пускала.

Мирон лежал и говорил. Медленно, как картину пересказывал своими словами.

Он вытерпел неделю после того, как отдал бланк Полине.

Явился к ней в Чернигов с твердой уверенностью: надо бланк изъять обратно, и пускай она делает что хочет дальше. Одно — Сунька и его, Мирона, ошибки молодости, другое — официальный бланк на сомнительные цели. Что касается Симиной неискупаемой вины перед Полиной — так она, вина, и есть неискупаемая. И что ж, всю жизнь за нее быть виноватым? Неискупаемую

вину надо или прощать, или забывать, не простивши. А жить с ней невозможно. И Полина обязана или простить, или дать забыть.

Лаевская открыла дверь, поздоровалась тихим голосом, даже радостно, попросила обождать немножко. Шила детское платье. С бантиками, ленточками, оборочками. И всего на платье было уже много. А она все тулила и тулила в разные места украшения. Наживит — встряхнет платье, отпорет бантик и опять пришивает. В другое место.

Мирон смотрел-смотрел и сказал: «Полина, у тебя срочная работа. Я, может, не вовремя. Мне в облизполком еще надо. Когда к тебе зайти?» Полина быстренько свернула шитье и сказала: «Ничего, ничего. Не срочно. Я как начинаю бантики тулить, так остановиться не могу. Даже хорошо, что ты меня остановил. Я меры не знаю. Хочется красиво сделать. А если лишнее — уже не красиво. Я сама лишнего не люблю. Но детское — сам понимаешь. Оно манюсенькое. Трудно определить, лишнее или кажется».

Полина скомкала материю, тесемки, кружево. С-под стола выволокла большой клунок, развязала и стала запихивать платьице туда. Скользящий шелк разворачивался и выскользывал, Полина запихивала и запихивала. До такой степени, что разворошила весь тюк. Мирон увидел, что платье не одно, а по меньшей мере их десять. И все небольшие. Детские. Готовые, на его взгляд. Только сильно помятые. Что и понятно — находились в скомканном состоянии.

Он сказал: «Что ты мнешь? Говорю, не спеши. А то всю работу насмарку. Мамаша забирать придет — платить откажется». Пошутил. А Лаевская ответила: «Не волнуйся, Мирон. Я и есть мамаша. Я себе плохо не сделаю». Окончательно запихала в тюк платья, убрала под стол. Победно взглянула на Мирона.

Речь свою Файда репетировал-репетировал, но тут понял — ни слова ей сказать поперек не сможет. Спросил, как идет выполнение задания по детским домам.

Полина ответила, что еще вплотную не приступила. Надо хорошо подготовиться. Черниговскую область она себе обеспечила с помощью бумажки Мирона, но еще остальная страна не охвачена. Хоть она надеется, что закроет выполнение плана в пределах Черниговской области.

Мирон слушал Полину, и до него дошло окончательно, что никакого особого задания нет. Есть вывих Полины в сторону своих безвременно погибших девочек. И историю с детскими домами она придумала лично для Мирона для выманивания у него бланка. По правде она намерена обыскать все детские дома Советского Союза для обнаружения своих детей. И мало что детские дома. Она всю страну намерена обыскать. И связи налаживает с такой целью.

Мирон решил устроить провокацию. Спросил, может ли чем-то помочь. Кроме бланка. Потому что он считает, что задание Полине дали, а способствовать не хотят. Даже письмаца завалящего

на солидном бланке не выдали. Пришлось Полине обращаться к нему. Удивительно, какая безответственность. Раздают задания — и делай как хочешь. Получается, Полина на свои заработанные средства будет ездить, а это на самом деле — командировки. Положены и командировочные, и суточные. Не говоря про то, что надо детей из детских учреждений везти к новым родителям или родителей к ним. Расходы огромные. В общем, трещал-трещал Мирон, вроде на собрании, и руками махал, и ногой топал, что пускай Полина как хочет, а необходимо ей поставить перед уполномочившими ее органами вопрос, чтоб подкрепили ее материально и специальными удостоверениями, и странно, что Полина при ее деловых качествах сразу не потребовала, а теперь вынуждена крутиться. Речь идет о детях! Мало того что к ним национальность и политику прикрутили, так еще и поручили беззащитной женщине. И под конец вырвалось у Мирона про «и ладно б только, что беззащитной, но и самой пострадавшей, потерявшей семью».

Опомнился, прикусил язык. Но поздно.

Полина сказала: «Молчи, Мирон. Ты думаешь, я помешалась? Немножко есть. Немножко. Вот настолько. — Полина показала ноготь мизинца. — Там, где мои девочки у меня внутри живут, — да, я помешалась. Остальное место здоровое. И много места. Видишь, какая я. Ты против меня сморчок. А в голове у тебя никого мертвого нету. У тебя все живые. И Сима, и Сунька. — Полина поднялась на

цыпочки, потянулась, развела руки в стороны, потом свела, выгнула спину и задрала подбородок. Засиделась над шитьем. Устроила себе по привычке производственную гимнастику. — Еще неделку назад у меня надежда была. Я и правда думала — найду своих девочек. А вчера надежда кончилась. Ты Лильку помнишь? Евкину сестру? Конечно. Она придумала тебе Суньку подкинуть. Так слушай. Лилька живая. Страшнющая, худая, затравленная, но живая. Волосы торчат рыжие, не волосы — патлы. Встретила ее вчера на базаре. Неизвестно чем живет, по углам, работы нету. Нищая. Я б ее не узнала. Она первая подошла. Привела ее к себе, отмыла, накормила. И послушала. Всю ночь слушала. За язык не тянула...»

Полина перевела дух, и Мирон увидел, какая она большая, высокая. Раньше не замечал. Он укордкой кинул взгляд на ноги — не на каблуках ли Полина. Нет.

Полина заметила: «Слушай, Мирон. Нечего меня оглядывать. Мои дети — Рая, Соня и Мила — погибли в огне. Это видела лично, своими глазами, Лилька. Вот так. И партзадание мое теперь можно засунуть в задницу. Я его себе придумала. Я его отменяю. А ты, Мирон, свободный. Бланк у себя оставляю. Ты не сильно за него пекись. Мало ли как он у меня мог оказаться. Ну уже если дойдет до отпечатков пальцев — тогда не знаю. Отбрешешься как-нибудь. С Симой по советуешься — и отгавкаешься». Полина во время разговора пришла в себя, закончила речь сво-

им обычным голосом. До такой степени обычным, что Мирон усомнился, или она ему сейчас выложила правду.

Мирон вышел замороженный. Шел нетвердо. Зацепил локтем бабу, которая двигалась навстречу. Фуфайка расстегнута, мужские ботинки без шнурков, платок сбит на затылок. Рыжие патлы торчат во все стороны. Прошла, а Мирон только сообразил — Лилька Воробейчик.

«К Лаевской, — подумал Мирон, — как на казнь шкандыбает». Хотел позвать, а не позвал.

Про то, что видел Лильку, Мирон никому не рассказал. Но когда Евка доложила ему, что виделась с сестрой в Чернигове, что Лилька в полном довольстве, не удержался. Обувная фабрика в Чернигове — единственная, найти не составило трудностей.

С первого взгляда Файда узнал когдатошнюю Лилю Воробейчик. И притом еще более красивую и видную. Одетая по моде, губы накрашены. Туфли на кабучках. Мирон подошел, разыграл случайное столкновение. Лиля не смутилась. Без радости ответила на приветствие и заспешила дальше.

Мирон ее остановил: «Надо поговорить. На счет Лаевской. Считаю, я в курсе. Меня она помимо моей воли втянула. Я так понимаю, она и тебя к себе привязала. Поговори со мной. Ты тоже заинтересованная». Лиля переменялась во всем облике. Сквозь пудру даже проглянуло бабское лицо — то, что Мирон видел и не забыл. Буркнула: «Пошли».

Повела Мирона в Марьину рощу недалеко от фабрики. Сели на поваленное дерево. Летал тополиный пух. Мирон чихал. Не знал, с чего начать таким образом, чтоб вывернуть на нужное русло.

Спросил: «Лиля, ты видела, как погибли дочки Полины?» А она сказала: «Не ваше дело». — «Полина мне сказала — ты сама призналась. Неправда?» — «Правда». — «И что?» — «И то. Не могла я не признаться. Я виноватая. Вот и призналась. Вам хорошо. А я жить не могу. Полина меня кое-как оживила. Буду жить. Так всем можете и передать». Мирон сказал, что никому ничего передавать и разносить не намерен. Не для того он хочет откровенности. «Лиля, пойми, Лаевская — хорошая женщина. Но она тебя может втянуть. Ты пожалеешь ее сейчас, потому что виноватая перед ней. А она тебя втянет. Я тоже поддался». — Вот что сказал. «Вы что, тоже виноватый?» — Лиля спросила равнодушно, с неожиданной насмешкой. Мирон помедлил, но ответил: «Тоже». Лиля неприятно засмеялась. Некрасиво. Пух набивался ей в рот, а она хохотала. Сквозь хохот и сказала: «Мы все, получается, кругом виноватые. А если все — так и не стесняться можно? Вы так думаете?» Мирон сказал, что так не думает, но все ж таки.

Лилька отдышалась. Собралась что-то проговорить, но не начала. Вроде сильно заикнулась и проглотила первую, так и не сказанную букву. Наконец сказала: «Ладно. Не волнуйтесь. Ничего страшного Полина не делает. Она вроде переезжей свахи. Это по закону не преследуется?»

Нет. Для фининспектора — шьет на дому. Налог платит. Чего вы переполошились? Не понимаю».

Лилька старалась улыбаться. А не получалось. Мирон нажал на больное: «Ну, рассказала ты ей, что видела, как ее дети умирали. А она что?» Лилька тряхнула головой так, что волосы из заколок по бокам выскользнули и прикрыли лицо. Сквозь волосы она и ответила: «У меня граната с собой была. Я б ничего не смогла. А Полина упрекнула: “Как не смогла? Могла в окно кинуть, чтоб дети не мучились”. Повела к себе. Я не пойти не могла. Я перед ней, как собака виноватая. Навек. Сто раз ей рассказывала за ночь, как ее дети горели и как я гранату в кармане щупала. Она мне платья показала, что девочкам своим шьет. Говорит — обязательно нашла б, если б они остались тогда живые. И еще раз заставила меня рассказывать. Не верила и не верила. Полина — помешанная. С виду здоровая. Сильно здоровая. И разговор у нее, и ходит, и с людьми заигрывает. А на самом деле — нет. Это я сейчас понимаю. Тогда не разобрала. Сама находилась близко к такому же». — «А теперь?» — «Теперь — нет. Теперь рассказываю Полине — а сердце спокойное». — «До сих пор рассказываешь?» — «Она просит. Как я могу отказать?»

Мирон подступил к главному, сказал: «Она мне когда-то наплела, что имела план объездить все детские дома — девочек своих найти. Отменила план?» — «Почему? Ездит. И ездит, и ездит». — «Что она ищет, их же нету». — «Ну нету.

А она ездит. Выспрашивает, может, были такие и такие по описанию. Может, их кто-то уже удочерил. Всех вместе или по отдельности. И кисет с собой возит. Там коронки золотые и кольца. Если вдруг окажется, что их уже пристроили, — обменять на золото».

У Мирона поползли мурашки по спине: «Какие коронки, какое золото?» — «Я дала. В одном селе мы полиция расстреляли, знаменитый полицией лично евреев в землю живыми закапывал, а перед тем снимал с них ценное, что было. И коронки драл. Он вроде разъездной был. И в Киеве отметился, и в Ромнах, и в Сумах. Он с немцами на запад и двигался. Мы его в селе под Хмельником взяли. Он нам этот кисет совал. Просил не стрелять его. Нас послали с одним моим товарищем. Я уже не у Цегельника была, а в отряде Медведева. Мы полиция ликвидировали. На обратном пути товарища убили. Меня ни одна пуля не задела, гадство. Живая осталась, — Лилька сказала это с злостью. Не на пули, а на себя, что не задела. — Кисет у меня остался. Я подумала — сейчас поймают, золото полицейское при мне, а он этим кисетом хвастался перед всеми. И не нужен мне этот кисет. А бросить — не могу. Это доказательство, что полиция мы ликвидировали. Задание выполнили. Золото на Большую землю отправят, там найдут применение — на вооружение нам же ж. Петляла, петляла. Мороз страшный. Думала, хорошо б замерзнуть. И не больно. Легла и жду, когда придет мое избавление. Думала: “Дети горе-

ли, им жарко было, а мне пускай будет холодно до смерти”. И говорю про себя – молитвой: “Забери меня, пожалуйста, дорогая моя смерть. Я на все согласная. И на ад согласная. Только отсюда забери, с земли этой проклятущей”. И уже упала куда-то вниз или наверх, не поняла. Провалилась наверх. Да. Наверх. Точно. Очнулась в сельской хате. Баба меня растирает самогонкой, потом гусиным жиром. Долго болела. Меня, наверно, списали. Как без вести пропавшую. Старуха, конечно, кисет при мне обнаружила. И мне же его вручила, когда я очухалась. Говорю: “Оставьте себе. На хозяйство”. Отказалась. Это, говорит, не мое, чужого мне не надо. Я ей колечко оттуда хотела оставить. Оставила. На подоконник положила, чтоб она после моего ухода увидела. Кисет закопала в огороде. А надо искать партизан. Тут фронт приблизился вплотную к местности, где я бродила. Меня обнаружили наши армейские разведчики. Довоевала в регулярной. После победы куда идти? Где только не шаталась. В начале сорок шестого доехала до Чернигова. Как кто-то меня гнал сюда. Встретила Полину. Рассказала ей и про кисет. Поехали мы с ней. Старуха в той хате не живет. Запущено все. Села нету. Спалено. А кисет я откопала. Вот, Мирончик дорогой мой, и сгодится проклятый кисет».

На что Мирон сказал: «Лилька, хоть ты с ума не сходи. На что сгодится? Нету детей, нету! Комедию не ломай! Не перед Полиной. Приходи в себя немедленно, а то совсем плохо будет».

А Лилька улыбнулась: «Нету детей. Так Полина их и не ищет. Она похожих ищет. Чтоб как две капли воды на ее девочек похожи. Вот двойники — и у Гитлера был, и у Сталина, говорят. И артисты иногда бывают — так похожи, так похожи на кого-то, кого надо для исполнения, если немножко переодеть или прическу перечесть».

Лилька воодушевилась. Что окончательно повергло Мирона в страх. Он попрощался и пообещал сохранить в секрете все, что наговорила ему Лилька. Ну, потом ее загадочная смерть, появление Лаевской с милиционером и кисетом.

Мирон замолчал и перевел дух.

Заученно проговорил:

— То, что рассказывал вчера, подтверждаю с нынешним дополнением.

Я спросил, в чем же его преступление, по его мнению.

Файда с готовностью ответил:

— Кроме бланка — не знаю.

— Но в тюрьму приготовились? И семью приготовили?

— Бланк — это факт. Вы охотитесь за Полиной. Вы и накрутите остальное, что захотите.

— Ничего я не накручу, Мирон Шаевич. Вставайте. Будем прощаться.

Мирон медленно встал. Размял ноги.

Я подал ему руку.

Он пожал.

Напоследок я достал кисет, вынул оттуда деньги Довида.

Протянул Миرونу:

— Если со мной что случится, передайте Любе, скажите, это Довидовы. Для детей.

Мирон кивнул.

Сима сделала вид, что не заметила моего ухода.

Про Зуселя я не заикнулся. Как не было его на свете. Если живой — пускай живет. Если нет, что я могу? Мирон первый не начал — и мне ни к чему.

На Десне помылся, переоделся в чистое. Начинаясь дождик. Потом полило страшенно. С громом и молнией.

Была суббота. День, на который я назначил себе встречу с Лаевской.

По дороге в Чернигов промок до основания. Сменил три попутки — загрузили в грязюке. Мысль о переодевании отбросил.

Явился к Полине в чем был.

Лаевская открыла дверь, улыбнулась, пригласила пройти.

— Мокрый! А я печку как раз топлю. Терпеть не могу сырости. У меня дрова всегда в порядке. В сарайчике. Садитесь, а лучше стойте. Или я вам сухое дам. Вы меня не стесняйтесь.

Свет горел еле-еле. Настольная лампа. Хоть и день — а пасмурно.

— А что вас стесняться, Полина Львовна. Портниха, как врачаха, — под одеждой человека видит.

Полина хихикнула.

— Хоть простыню дайте, завернусь, как в бане. Я к вам надолго, и обсохнуть успею, и погреться. Не против?

Полина из другой комнаты, где у нее, видно, хранилось барахло, ответила, что всегда мне рада.

Вынесла простыню. Не ушла, когда начал снимать форму. Я ей нарочно отдал португую — сильно тяжелую от воды. Кожа толстенная. Тем более промокшая. В кобуру еще на речке засунул кисет.

Говорю:

— Пистолета не взял. Не бойтесь. Тут только кисет ваш. Посмотрите.

Полина расстегнула кобуру — заглянула. Не увидеть кисета не могла. Но не сказала ничего. Обвела глазами комнату — куда пристроить. Кинула на пол.

Переодевался без стеснения. Она смотрела, как, правда, доктор. Вроде я не живой мужчина, а больной, и она ищет глазами, где может располагаться особенно вредное для жизни место. Дошла до пояса и отвернулась.

Я закутался в простыню.

Перенес мокрое к печке, подвинул пару стульев, развесил. Пристроил сапоги, портянки.

Стал возле печки.

Дым оттуда шел неприятный. Не дровяной, другой.

Открыл заслонку, посмотрел.

— Чем топите? Тряпок накидали. Хвалились, дрова хорошие.

Полина ответила из-за моей спины:

— Дрова сейчас добавлю. Пускай на тряпках разгорится. Материя быстро горит, а едко.

Полина держала возле груди несколько платьев, рассматривала их. Потом быстро скомкала, отодвинула меня с дороги, стала шуровать, заталкивать вглубь огня ворох.

— Вы грейтесь, обсыхайте, Михаил Иванович. Тут быстро сгорит, и запах пройдет, потом дров положу. Я чтоб не смешивать. Чтоб отдельно. Чтоб точно знать, что сгорело.

Из печки вылетали искры, бился огонь, Полина обжигала руки, но внимания не обращала.

— Ну вот. Теперь дрова кину. В сарайчике у меня дрова. Я схожу, а вы посидите. Не стойте. Вы ж босой. На ноги вам у меня нету ничего. У Лильки ножка большая была, у нее рост. На вас, конечно, маленькие будут, но не свои ж вам давать. У меня ножка небольшая. А у Лилечки большая. Как для женщины большая. Я сейчас принесу вам Лилечкины, она на ножки свои одевала, когда приходила. А вы Лилечку убили, Михаил Иванович. Ей же тапочки не надо. Не надо?

Я стоял неподвижно.

И Полина стояла.

И двигались у нее только накрашенные губы.

Бурмотела и бурмотела. Слов не разобрать. Потому что они не сходились со смыслом. Я их пытался соединить, а слова со смыслом не соеди-

нялись. Никак. Хоть я их у себя внутри миллион раз повторял все время после 18 мая 1952 года.

Выходит, Лаевская знала. Знала — и гоняла меня, как волка. Туда-сюда. Я чувствовал, что она знает окончательно и бесповоротно. Но надеялся.

Лаевская присела на краешек стула с моим кителем. Из-за ее спины виднелись погоны. Халат с драконами в саже. Руки багрово-бурые, в пепле.

— За дровами надо. Я б сходил — в простыне неудобно. Сходите?

Полина пошла.

Вернулась с охапкой дров. Скинула их с себя, как ненужный груз.

Опять села.

— Ну и что вы, Полина Львовна, столько времени молчали, дурака валяли. Что вы мне прямо не сказали. Или написали б куда надо. Меня б за шкирку и на солнышко. Вы б довольные остались.

Полина откинулась на спинку стула, но тут же отклонилась в сторону — мокро. Передернула плечами.

— Мне не надо за шкирку. Мне надо, что теперь получилось. Вы ж, Михаил Иванович, сами пришли. Не в первый раз. Но в последний. В окончательный раз. Я — баба. Я печенкой чуяла каждый раз: этот — не последний. Еще побегаёт. Еще помучается. А сейчас знаю — последний. И вы знаете.

— Знаю.

— Ну так что, товарищ дознаватель, согрелись?

— Нет. Подложите дров, пожалуйста.

Полина подложила. Огонь там еще был, но слабый. Она не ворошила, чтоб разгоралось. Само занялось. Смотрела и смотрела.

— Садитесь, Полина Львовна. Давайте сведения сводить вместе. Ради последнего раза.

— А что сводить? Лильку я в таком виде нашла возле помойки, вспомнить гадко. Взяла к себе в дом. Вы про девочек моих знаете? Должны знать уже по моим расчетам. Выспросили по капельке. Точно?

Я кивнул.

— И у Гиля Мельника были?

— Был.

— Ну вот. Лилька мне так и доложила: только Гиля знает полностью. Рассказала мне, значит, Лилька, я ее у себя оставила жить. Привела в чувства. Призвала брат пример с меня. Без примера нельзя. Я ей говорила: вот у меня троих детей убили, не считая мужа, я злая должна быть, с ума сойти. А я — держусь. И ты, Лилька, держись. Заставляла ее одеваться, волосы в прическу собирать, а не лахудрой ходить. Ну, чем-то мне надо было ее держать. Я ей внушала: ты должна мне помогать в жизни, я без тебя пропаду, ты последняя, кто моих живых детей видел. Ты мне вместо них. Одна за троих. Конечно, увеличивала ее роль, чтоб поддержать. Потом за свои деньги ей хибарку купила. За копейки. Но постепенно мы с ней не-

множко довели до ума, перестроили, не текло сверху — и хорошо. А дальше Лилька очухалась. Я посоветовала говорить, что хатка ей досталась от старушки, которую она доглядывала. Люди всякие, вопросы б стали задавать: «Чего это Лаевская на свои грóши Воробейчик хату покупает?» А мне грóши — мусор. Мне за одно платье платили, как у вас, Михаил Иванович, оклад за месяц. Женщина без хлеба сидит — а платье сделает. Сильно мне надо было, чтоб Лилька у меня находилась под боком. В свой отпуск она всегда со мной ездила — по детским домам. Детей с ней наблюдали. Она говорит — вон та похожая на Милочку. А я смотрю — нет, не похожая совсем. На Раю, старшую мою, как-то нашли девочку сильно похожую. Поговорили с ней даже. Лилька аж за руку меня щиплет — похожая, вылитая. А я по голосу слышу — нет. На следующий день приехали опять — на свежую голову посмотрели. И Лилька согласилась — не похожая. На среднюю мою Сонечку вообще ни однисинькой не попалошь хоть на капелюшечку похожая. Вы представляете, Михаил Иванович. За столько лет. Лилька четырнадцатого года. В сорок седьмом, когда вы с ней встретились, ей тридцать три исполнилось. Вполне могла родить. Я ей сказала — я ж понимала, хоть и делала вид: не найду себе девочек, чтоб как мои. Я ей говорю — роди, Лилька. Пускай наполовину от кого захочешь, а наполовину твой. А на тебе мои девочки отражаются. Вырастим этого ребенка. Хорошо б тоже девочку. Но если и маль-

чик — ничего. К тому же у близняшек часто близняшки и рождаются. Я надеялась. Лилька выбрала вас. Вы, Михаил Иванович, мало того что сами по себе красивый мужчина, так еще и на моего Зиновия похожие. У вас, украинцев, иногда такие лица попадаются, что вылитый еврей. Не обижайтесь. Я посмотрела на вас как-то, мне Лилька подсказала, когда ждет вас к себе. Посмотрела — и решила окончательно. То, что именно надо. Лилька по-женски советовалась со мной по всем вопросам. Так что вы имейте в виду, что я с вами третьей рядом находилась. Для контроля. Но — не получалось у нее и не получалось. А вы к ней прикипели. Вот вашего припека Лилька и не выдержала. Пожаловалась: «Смотрит Цупкой, вроде убить хочет. Я ему поперек всей его жизни. Он примеряется, как лучше от меня избавиться». Бесповоротно вы ее, Михаил Иванович, покалечили своим отношением.

— Я покалечил? А вы не калечили? Привязали девку незнамо чем к себе. Держали на цепи, можно сказать. С ума ее сводили. А Лиля сама не понимала, что совершает, что я тоже живой человек — не понимала? Делаете с Лильки мать Божью. Моисеенко у нее зачем обретался? Вся улица знала — любовник. Только я и не знал.

Лаевская захохотала как раньше:

— Моисеенко! Он же артист. Навязался к ней на улице, стихи читал, проводил до калитки. Потом приходил, под окнами песни горланил. Лилька, чтоб себя отвлечь, пустила его. Накормила, по-

хмелиться дала. Между прочим, рассудила ради вас: пускай для отвода глаз Роман ходит открыто. Чтоб людям разговоры дать соответственные. На случай ее от вас беременности. Готовый папаша будет. Рома! Рома мог три часа поэму читать. Другого ему в голову не приходило. Раз напился и «Василия Теркина» зарепетировал. Память он не пропил. Наизусть шпарил. До какой-то строчки дошел, Лилька как ужаленная подскочила. Кричит: «Повтори!» Он наотрез отказывается. От вредности. Я, говорит, эту главу про минутную душевную слабость бойца читать перед людьми не буду. И тебе повторять не намерен. Она его — хрясь по морде. Он ее. Она: «Читай!» Он: «Не буду!» Если б я в ту минуту не пришла — наделали б делов. Лилька в синяках осталась. Он тоже. Думаю, прибил бы ее. Или она его. Ей иногда надо было пар спустить. Она внутри кипела. Я спрашиваю: «Что там такого, чтоб за слова, пускай и в рифму, за космы друг друга таскать?» Лилька мне говорит: «Он со сцены не хотел читать, там про смерть бойца, причем бойцу надо только дать согласие — и всё, и покой ему настанет. А Ромка бойкот объявил. “В книжке, — говорит, — пускай написано как написано, я уважаю, что человек лично сочинил, а со сцены читать такого не буду. Если на смертный покой только личное согласие надо, так, получается, многие согласятся. А соглашаться нельзя. Это против присяги”. Дурак Ромка. Понимал бы хоть, что в смерти. Тем более на войне». И так Лилька разошлась, так взбесилась...

Взрывная, конечно, была. Моментами, а взрывная. Честно говоря — бешеная баба. А вы говорите — Моисеенко! Вам Моисеенко золотой оказался. Вы на него свернули дело — и конец. Если б он не повесился, я б, конечно, вывела вас на чистую воду. Для справедливости. Но он же сам? А, Михаил Иванович, честно скажите — сам?

— Сам.

— Хорошо.

Помолчали.

Лаевская еще вышла за дровами. Я скинул простыню, напялил вареную одежду. Китель не стал.

Под кобурой образовалось мокрое пятно, я подвинул ближе к печке.

Вошла Полина.

— Что, обрядились? Пускай бы сохло еще. Ну, как хотите. Смотрю на вас, Михаил Иванович, вы везучий. Если б вы не такой везучий оказались — не представляю, как бы ваша жизнь сложилась дальше. В тюрьме б сидели. А вы Зуселя зарыли — он откопался. Моисеенко опять же повесился сам собой.

— При чем тут Зусель? С чего вы придумали, что я его закопал?

— Так он сам рассказал. Говорил, вы его тащили и закапывали. А он воскрес. Он у меня несколько дней отлеживался. Днем и ночью ему вдалбливала в голову его дырявую, что вы его не закапывали. А откапывали. Он все забыл, ну, не все, а что к вам приходил, что Довида защищал.

Мне Штадлер рассказал письменно. Я Зуселю так в голову вложила, что мне надо. Что его бандиты закопали, а вы отрыли своими руками лично. Ну, конечно, меня можно осудить словесно. Но я для его пользы. Чтоб хипежа не устраивать. И так вся Лисковица гудела. Мне надо, чтоб вы только по моему делу проходили. Только по моему! Я в стороны не хотела вас отпускать. Мало ли что вы еще кому наделали. Вы только передо мной ответить должны.

Я перетерпел.

Спросил мирно:

— Гроши Зуселю Малка давала. На что гроши? Он ко мне ехал с грошами. Не довез до меня. Малка голосила на весь Остер.

Что Гришка эти гроши фактически украл и только завертку оставил в кармане у Зуселя, я не добавил. Детей нельзя вмешивать. Никогда.

Лаевская засмеялась:

— А-а-а, были-таки гроши? Зусель, когда в себя пришел, тут у меня заводил рассказ про то, что он от смерти откупился. Он говорил: «Я хабар дал. Меня с того света отпустили». А он Малкины гроши профукал? И откуда у нее? На маце работала? Святое-святое, а денег сто́ит. За все люди платят, чтоб себя чувствовать. И не жалуется, между прочим. Она копила на Тору, мечтала прямо. Чтобы на русском языке. Жаловалась, что хлопцы — Гришка и Вовка — ленивые, настоящего языка не постигнут, Тору не будут читать как положено. Как у евреев положено. Пускай, гово-

рит, хоть по-русски, может, сойдет. Правда, сомневалась. У кого-то еще до революции видела — по-русски. Я ей обещала достать. Не попадалось. После войны мало что попадалось из такого. Пропало, как не было. Ну, Малка додумалась — Зусе лю поручение давать! На Тору, точно. Больше не на что.

— Как не на что? А детей кормить, одежду им, так далее и тому подобное?

Лаевская отмахнулась.

— Ой, Малка про такое не думала. Тем более если у нее грóши завелись. Дала б мне в руки — я б сохранила. А насчет кормить — она повторяла, что Тора именно научит Гришку с Вовкой. Тора, мол, накормит. Ёську она отторгла. С мясом, а отторгла от себя.

— Ладно, Полина Львовна. За Табачника вам спасибо. Допустим. А за Евсея? Что вам за Евсея положено?

Полина сжала губы. Не сердечком, вроде обычного, а прямой толстой линией.

— Горячо, Полина Львовна? Печет? Как Лильке? Откуда вы взяли нож, от которого Лилька погибла, догадываюсь. А зачем вы его Евсею притащили?

— Довид рассказал? А кто еще. Довид. Если б сам Евсей — со мной у вас другой разговор был бы. Я его принесла, чтоб иметь на вас управу, Михаил Иванович. Я его принесла с Лилиной кровью и вашими отпечатками, потому что вы мне нужны были. Вы у меня Лильку отобрали. Украли. Вы мне

от нее ничего не оставили. От детей моих вы мне ничего не оставили. Я подумала так. Я хоть и не молодая. Но и не старая совсем. Сарра родила когда? Когда ей под девяносто стукнуло. А у меня еще по-женски кровь идет по срокам. Вот что я хотела. Вот для чего я нож Евсею принесла. Не кривитесь, Михаил Иванович. И легли б со мной. И все такое. А Довид затею мою испортил. Нож проследил и Зуселю отдал. Зусель — обратно мне. Принес чистенький. Он у меня управу на вас забрал. Ножик почистил — и все. Не стало на вас управы. Осталось мне вас только гнать и гнать, гнать и гнать. Я вам честно признаюсь, даже плакала над ножиком этим. А Зусель! Принес, дурак, причем с обидными словами, что я людей пугаю, а надо в покое держать для дальнейшего. А для чего — дальнейшего? Дальше только яма все равно. Не говоря про Евсея, который вообще навредил до основания — убил себя наповал. Наповал! Представляете, до чего дошел! Но надо про другое сказать. Я с мертвыми не считаюсь, кто больше виноват. И вот. Я удивлялась, почему у вас с Лилькой ребенок не зачинался. Может, подумала, Ганнуся у Любочки вашей нагулянная? Сидите, сидите, всякое бывает. Я с Любочкой познакомилась, разговоры с ней говорила про это самое. Как баба с бабой. Нет. Ваша Ганнуся. Про Лильку я со зла болтанула Любочке. Признаю. Но вы поймите мое положение. У вас и Любочка, и Ганнуся. И Ёську вы тогда забрали. А у меня — пшик. Пшик! Вы представляете?

И тут Лаевская улыбнулась. И сложила губы сердечком.

Я спросил:

— Почему к Евсею побежали? Мне Довид рассказал, у вас с ним делишки крутились. И Бэлка подтвердила. Евсея я вам, Полина Львовна, не прощу. Как хотите. Евсей — отдельно.

Лаевская сложила руки на груди. Растопыренные пальцы прижала, вроде хотела что-то выдавить с-под халата наверх.

— Вы мне зубы не заговаривайте, Михаил Иванович. У нас честный окончательный разговор. Евсей знал, что вы с Лилькой крутите. Евсей мне хорошо помогал. Я ж, когда по детдомам ездила, видела и по документам читала — мне давали, я с людьми умею в доверие входить, — есть еврейские дети. Некоторые свои фамилия знают, некоторые — нет. Но если мальчик обрезанный — вопроса нету. А ему и фамилию другую, и имя другое. С Евсеем я познакомилась по поводу его тестя — Довида. У меня клиентка обшивалась — соседка Евсея. В годах, как раз Довиду под пару. Тоже вдовая. Еврейская женщина. Культурная. Попросила меня сосватать за Довида. Я в подобных случаях ответственно подходила. Речь о человеческом семейном счастье. Познакомилась сначала с Евсеем, у него расспросила про Довида, про его настроения насчет женщин. Евсей отнесся с пониманием. Я клиентке пересказала. Говорю, подтвердите свое решение — и я напрямую закидываю удочку к Довиду. Она на попятный. Говорит, подумала-поду-

мала, зачем мне на старости лет за кем-то ухаживать. В общем, Довид отпал, а с Евсеем я дружбу не оставила. Рассказала ему про еврейских детей. Без умысла. От души. Он говорит: «Да, сколько евреев в войну просто так, ни за что поубивали». Я говорю: «Как — ни за что? За то, что евреи. Отцы с фронта вернулись — а жен-детей нету. Или матери, допустим, живы остались, а детей уничтожили фашистские гады и их прихвостни. Надо поправлять положение». Евсей выразил мысль, что если б наше правительство поставило такой призыв перед еврейским народом, то не было б отбоя от желающих усыновлять-удочерять. Именно евреев — еврейками. Чтоб восстановить историческую справедливость. А там бы и другие народы подтянулись. И разобрали б всех детей подчистую. Назло фашистам. Хоть они и без того побежденные. Он сказал в порыве. Но я мысль уловила крепко. И подключила его к своим поискам. Человек в милицейской форме — большое дело. Он сдуру рассказал Довиду. Довид — Зуселю. Зусель подхватился, как зарезанный, пошел по еврейским домам предлагать детей. Забирайте, говорит, из детдомов и так далее и тому подобное, нужно, чтоб народ Израиля жил. Спрашивается, при чем тут народ Израиля? Сразу получилась религиозная окраска. А в 49-м — сионистов накрыли. Тогда ни в какие ворота Зуселевы бредни уже не лезли. Евсей притих. И Довид притих. Но Зуселя-то не остановишь. У него в голове один Израиль, больше ничего. Думаю, когда я нож Евсею принесла и сказала, что вы, Михаил Ивано-

вич, убили Лилю, которая моя помощница, и с Евсеем не раз по детдомам ездила, — он подумал, что вы раскрыли нашу организацию по распространению еврейских детей в еврейские семьи. И Лильку на этой почве убили. Во время ареста, например. Что вы в курсе с самого начала и вообще к ней пристали в оперативных целях. И не сегодня-завтра придете к нему — и сами, как другу, предложите: «Лучше стреляйся сам, чтоб сохранить доброе имя и имущество семье, в противном случае — громкое дело с последствиями и близким, и дальним». Он вас крепко уважал и любил. Поэтому и застрелился. Превозмогал в себе неизвестность — надорвался. Не смог больше. Я думаю так.

Лаевская рассуждала толково, обдуманно заранее. Все у нее раскладывалось по отдельным полочкам и ложилось, как постельное белье в шкафу хорошей хозяйки.

— И сколько детей таким образом взяли?

Лаевская ответила нехотя:

— Ни одного.

— И золото не помогло?

— До золота даже не доходило.

— А Довид не раскололся. Мне про ваши настоящие дела не рассказал. Придумал что-то идиотское. Он газеты обожал читать. Склеил что-то у себя в уме и выдал мне. А настоящую правду не открыл. И Штадлер не раскололся. Он в курсе?

Лаевская твердо сказала:

— Нет.

Но как раз настолько нажала, что я утвердился в своей догадке — в курсе.

— Полина Львовна, зачем вы мне все рассказали? Я б и самостоятельно дошел. Я уже дошел. Кое-что у меня не сходилось. Теперь сошлось. Что касается ваших беспочвенных обвинений в мой адрес, так они поддаются разрушению. — Я щелкнул пальцами: — Раз — и пшик, как вы выражаетесь. Через Зуселя дознались, что у него в Рябине знакомый дружок, а Рябину вы на примету взяли из моего личного дела — не раз и не два вам его Светка таскала, значит. Давненько вы с ней знакомство вели. Запасались знаниями на всякий случай. Вы письмо Диденко зачем писали собственноручно? Специально, чтоб я понял — ваша работа. Я сразу додумался. Демонстрацию мне устроили: охотитесь за мной, гоняете. Записочку Довида заставили написать, чтоб он меня в Остер вызвал. Я поддался. Поехал. Единственный раз, когда я вам поддался. Но повезло мне — не дошел я к Довиду. Поехал в Рябину. И опять в вашу ловушку чуть не попал. Вы изучили, высчитали, что я на родину поеду, если тут растеряюсь. А куда еще человеку? Чтоб и места знакомые, и все такое. Слава богу, письма вашего я тогда у Диденко не нашел. А то б сторяча с этим письмом к вам явился и еще чего доброго придумал. А потом я успокоился. Особенно когда письмо у меня лежало в кармане. Вы его украли, а мне наплевать. Клубочек разматывался. Ниточки тянулись. И вот. Послушайте. Я беру Мирона, и он подтверждает, что украл по вашей просьбе бланк. Вы

с этим письмом ездили по детдомам с покойным ныне Евсеем Гутиным в целях выявления и сбора еврейских детей. Но на практике — как еврейских, так не еврейских. Чтоб как можно больше записать в евреи путем усыновления их еврейскими родителями. Пойду по списку имеющихся детдомов. Вас вспомнят, что приезжали. И с Евсеем, и с Лилькой. В вашей преступной группе также состояли покойные ныне Малка Цвинтар, Довид Басин, живущий ныне Вениамин Штадлер, ну, само собой, Мирон и Сима, и Суньку туда же подстегнем, и Евка Воробейчик следом тоже. Тем более по фотографиям Лильки никогда не скажешь — она это или Евка. А еще известный мракобесный сионист Зусель Табачник. Его многие вспомнят, как он приходил и уговаривал брать детей. Бэлка тоже не лишняя. А что против меня? Нож ваш хваленый, которым якобы я Лильку убил? Смылили вы его, Полина Львовна. Как мыло смылили. Заодно с Довидом и Зуселем. Если там что и было — если, допустим, было, хоть ничего и не было, — так теперь нет. Таскали его туда-сюда. Теперь вот надраили до блеска. Чисто. Сами понимаете. Что скажете?

Лаевская недоуменно глядела на меня. На меня всего: от головы до ног. Охватывала взглядом. И глаза ее расширились и сужались попеременно.

Она как смотрела на меня, так и смотрела, рукой дотянулась до кобуры, открыла ее, достала на ощупь кисет, откинула чугунную заслонку и бросила в огонь.

Дознаватель

Уставилась туда. И не проронила ни слова.

Хотел вернуть ее на землю и сказать, что все равно золото не сгорит. Но промолчал. Какое мне дело.

Шел под дождем и подводил результат. Искал свою промашку.

Никогда я не являлся к Лильке в форме. Кроме самого первого раза — но то глубоким зимним вечером. Это раз.

Одевался всякий раз пускай с незначительными, но изменениями. Это два.

Через переднюю калитку не входил. Задолго сворачивал на зады и стучался в окно со стороны огорода. Это три.

Когда твердо в последний раз направлялся к Лильке, по улице Куличика, которая упиралась прямо в Цеткин, по другой стороне мне навстречу двигался Моисеенко в сильно нетрезвом состоянии. Жевал большую горбушку. Отковыривал корочку, как малой хлопец. Понятно, шел он от Лильки.

Я видел его в театре в спектакле «Шельменко-денщик» и по насмешливым рассказам Лильки знал, что она водит с ним близкое знакомство как с артистом.

Лиля валялась на диване. Сказала, что только сию минуту убрался Роман. Явился голодный, попросил есть. Лилька принципиально отказалась вставать. Он отхватил полбуханки и ушел.

Посмотрел на стол: лежало полбуханки ржаного и наверху — нож в налипших крошках.

Мне пришла в голову шальная мысль, про осуществление которой я заранее не думал и не мечтал.

Уточнил:

— Сам хлеб кромсал? Пьяный с ножом — мало что ему б стукнуло. А вдруг он не хлеб порезал, а что другое. Не боишься?

Лилька ответила равнодушно:

— Не боюсь. Буду я еще всяким пьяницам хлеб резать. А и порезал бы меня — так и слава богу. Только чтоб насмерть.

В ту секунду понял — сейчас или никогда.

Лилька поднялась на локте и спросила:

— Что мне сделать, чтоб ты сюда не ходил? Может, умереть? И сама мучаюсь, и тебя мучаю.

Я ответил, что думал:

— Умереть, Лилька. Мне нельзя. У меня жена, дочка. А ты одна. Тебе все равно жить не надо. Ты сама твердишь до посинения.

Она встала, скинула ночную сорочку, одела крепдешинное платье в горошек, причесалась.

Потом спохватилась, что не умылась. Ополоснула лицо под ручкой в коридорчике.

Сказала:

— Пошли. Не нужно в доме. Людям тут жить.

Я обернул рукоятку ножа бумажкой — оторвал от газеты шматок.

Лилька не видела.

Дознаватель

Стала ко мне спиной.

Говорит:

— Ну, как ты часовых снимал, чтоб не пикнули.

Лилька подставила мне шею. От шеи много крови. Я мог запачкаться фонтаном.

Ударил ее со спины, снизу — под лопатку. Как надо.

Орудие убийства бросил возле трупа, так как на ноже оставались следы пальцев Моисеенко.

Ушел скрытно. Мог утверждать со всей ответственностью: никто меня не видел.

Но получается, видел. Лаевская видела. Может, заметила, как я пробираюсь от дома Лильки, может, в соседней комнате сидела. С нее станется, пришла и поджидала, когда я приду и в кровать с Лилькой лягу.

Но что нож я специально оставил с отпечатками Моисеенко — на это у Полины оперативных знаний не хватило. И она думала, что я свои пальчики оставил на рукоятке. Она нож сразу за мной схватила, а в милицию не сообщила. Нож вечером отнесла к Евсею. На сохранение.

Дальше разворачивалось так.

Я ждал на работе, когда поступит сообщение о трупе гражданки Воробейчик. Меня, как дознавателя, конечно, на убийство не послали б. Это дело следователя. Но я сразу как пришел — устроил крик у Свириденко, что меня затирают, а я хочу учиться дальше, дойти до следователя. А тут черт знает что творится. Следователи такие

же, как я, считай, без образования, а при должности, и я у них на побегушках.

Свириденко сам заорал:

— Следователи завалены по горло, двоих арестовали, остальных трясут, меня к стенке прижимают, шьют заговор прямо на рабочем месте. Ну что им надо? Что? Гитлера им надо, чтоб успокоились, занятие себе нашли? Короче! Если что поступит — твое. Бери и проявляй себя на полную катушку. Раскроешь — учиться направим в Харьков. Учти. Я кадры ценю.

Через четыре часа поступило сообщение.

Я выехал на расследование.

Был и за оперативника, и за дознавателя, и за следователя. Поручений никому не давал, всюду бегал сам вместо опера.

Потом Моисеенко покончил с собой. Дело закрыли.

Дальше — как было, так было.

Евсей, бедный, видел — расследование веду я, тем более под видом бытовухи, в МГБ дело не передается, всюду я сам, никого не подключаю, держу режим секретности, с ним не делюсь. Тем более — я по сути дознаватель, а не следователь. Уже странно и вызывает кривотолки и подозрения. Евсей же смотрел внутрь этого дела, а не на поверхность, как все. На поверхности — убийство из ревности, плевка не стоит. А Евсей знал — любовь ни при чем. Хоть задавись — ни при чем. Лилька перед ним насквозь предстала в своем истинном све-

Дознаватель

те — дети и прочее заодно с Лаевской. Не то что передо мной. Гутин и укрепился в мысли, что выхода у него другого нету, кроме как стреляться из табельного оружия. Не ждать, пока за ним придут.

В первый раз за долгое время я не думал про Лаевскую и Лильку.

Думал про Евсея.

Если б он поделился со мной своими сомнениями. Если б он своим ко мне недоверием не предал нашу дружбу.

Лаевской я никогда больше не видел и не встречал, как говорится в подобных обстоятельствах места и времени.

Я долгие годы чувствовал нутром, что расскажу эту историю — или письменно, или устно. Устно не пришлось — надежный слушатель не встретился. Голосом, глаза в глаза, конечно, было б лучше и наглядней. К тому же нельзя исключать вопроса навстречу, который способен столкнуть рассказчика на другой лад. Или вспомнить забытое.

Я начал описывать данный случай как пример работы. Не для того, чтоб замаскировать свою роль в происшествии далекого пятьдесят второго года. А для того, чтоб освободиться от предвзятого к себе отношения с первого слова. Для объективности. Которая и есть главная цель правосудия.

Маргарита Хемлин

Пример раскрывают исключительно на достоверных фактах. Я так и излагал. Но постепенно выяснилось: и факты порой обманывают, если их пристально осмотреть со всех сторон. В данном случае некоторые факты выступают якобы против меня. Но даже если это и так, я не виноват.

Жизнь решается не здесь. Я раньше думал — здесь. А потом переменил свое мнение, несмотря на то что в 1959 году с хорошими показателями закончил Харьковский юридический институт заочно и долгие годы работал следователем.

Остальное — своим чередом.

КОНЕЦ

Литературно-художественное издание

Хемлин Маргарита Михайловна

ДОЗНАВАТЕЛЬ

Роман

16+

Заведующая редакцией *Е.Д. Шубина*

Редактор *Д.Э. Хасанова*

Литературный редактор *А.М. Цитриняк*

Технический редактор *Т.П. Тимошина*

Корректоры *М.Ю. Музыка, И.Н. Волохова*

Компьютерная верстка *Е.М. Илюшиной*

ООО «Издательство АСТ»

129085, г. Москва, Звёздный бульвар, д. 21, строение 3, комната 5



<http://facebook.com/shubinabooks>



<http://vk.com/shubinabooks>

Отпечатано с готового оригинал-макета
в ОАО «Издательско-полиграфическое предприятие «Правда Севера».
163002, г. Архангельск, пр. Новгородский, 32.
Тел./факс (8182) 64-14-54, тел.: (8182) 65-37-65, 65-38-78, 29-20-81

Редакция Елены Шубиной

Маргарита Хемлин ПРО ИОНУ



Прозу Маргариты Хемлин, автора романов «Дознаватель», «Клоцвог» и «Крайний», называют приключениями в недрах советской эпохи. Она мастер головокружительных сюжетных пересечений и мистификаций, вплетенных в предельно точно историческую канву. Место действия ее рассказов, повестей и романов — Украина, Россия, Израиль. Время — XX век.

В книгу вошли циклы повестей «Живая очередь» и рассказов «Прощание еврейки» (шорт-лист премии «БОЛЬШАЯ КНИГА»), а также роман «Клоцвог» (шорт-лист премии «РУССКИЙ БУКЕР»).

Маргарита Хемлин — автор романов «Клоцвог», «Крайний», сборника рассказов и повестей «Про Иону», финалист премий «Большая книга», «Русский Букер», лауреат премии «Инспектор НОС».

В романе «Дознаватель», как и во всех ее книгах, за авантурным сюжетом скрывается жесткая картина советского быта тридцатых–пятидесятых годов XX века.

1952 год. В провинциальном украинском городе убита молодая женщина. Что это — уголовное преступление или часть политического заговора?

Подозреваются все. И во всем.

«Дознаватель» — это неповторимый язык эпохи и места, особая манера мышления, это судьбы, рожденные фантазмагорическими обстоятельствами реальной жизни, и характеры, никем в литературе не описанные.

«Дознаватель» Маргариты Хемлин — чистейшей воды детектив, с психологией вполне в духе Достоевского...

И еще он, пожалуй, сопоставим со знаменитым «Выбором Софи» Уильяма Стайрона.

Мария Галина. «Новый мир»

ISBN 978-5-17-086986-2



9 785170 869862

